А. Вятский

Лидка-чапаенок



А. Вятский Лидка – чапаенок

А. Вятский



Лидка-чапаёнок

ПОВЕСТЬ

Куйбышевское
книжное
издательство
1986

84Р7
В99
Р2

Вятский А.

В99 Лидка-Чапаенок: Повесть.— Куйбышев: Кн. изд-во, 1986.— 320 с.

Повесть Андрея Вятского рассказывает не только об удивительной судьбе главной героини, прототипом которой стала наша замечательная землячка Лидия Григорьевна Ягунова, в неполных 14 лет уже ставшая бойцом легендарной Чапаевской дивизии. Это повесть о людях поколения, про которое говорят: «Они были первыми». Первыми среди юных борцов за Советскую власть, первыми комсомольцами, первыми молодыми строителями новой жизни в молодой Стране Советов.

Книга адресована ребятам среднего и старшего школьного возраста.

В $\frac{70803-050}{М148(03)-86}$ 38—86 4803010102

84Р7
Р2

Андрей Вятский встретился с нею на одной комсомольской конференции.

Не вошла, а влетела на сцену седая женщина в красной косынке. И, не доходя до трибуны, прямо с края сцены стала говорить. Она говорила быстро и сердито. И зал, который явной скучал, потому что выступавшие комсомольские секретари и активисты произносили очень похожие одна на другую речи, не отрываясь от бумажек, насторожился, умолк.

А седая женщина в красной косынке говорила без всяких бумажек, горячо и страстно. Она действительно была сердита. Сердита потому, что на комсомольско-молодежном субботнике по благоустройству городской набережной пенсионеров было больше, чем комсомольцев. Потому что выступавшие с трибуны участники конференции больше отчитывались об успехах и достижениях, а ошибки в своей работе обходили стороной.

Она так и сказала:

— Если бы у нас на собрании комсомольской ячейки в Чапаевской дивизии кто-то выступал по-казенному, бездушно, мы бы его освистали и стащили бы с трибуны. Если есть что сказать, есть чему научить людей или поставить острый вопрос — говори. Нет — лучше посиди, помолчи.

А потом она рассказала, как работали, чем занимались первые комсомольцы-чапаевцы. Как учились элементарной грамоте и науке побеждать прямо в боях и походах и в коротких перерывах между ними. Как в селах, где останавливались красноармейцы, комсомольцы проводили дни красной помощи: пахали и засевали поля и огороды солдатским вдовам и многодетным семьям, у которых не было своих лошадей. Как экономили и складывали вместе свои хлебные пайки, чтобы отослать их голодающим пролетариям Москвы и красного Питера.

И все переменилось после выступления старой комсомолки. Делегаты поднимали руки и шли выступать, говорили о том, что хорошо знали, что наболело, о чем заставляла говорить сама жизнь. И почти все, сходя

со сцены, смотрели на седую крупную женщину в красной косынке: как она отнеслась к их словам? А она одобрительно кивала головой и азартно, молодо хлопала. А иногда говорила:

— Молодец!

Это была известная в Куйбышеве коммунистка бывший боец легендарной Чапаевской дивизии персональная пенсионерка Лидия Григорьевна Ягунова.

Андрей Вятский и Лидия Григорьевна подружились. По вечерам часами просиживали за разбором документов, писем, фотографий, которые составляли архив старой большевички. Она рассказывала о своей боевой юности, а он записывал ее рассказы.

Потом были долгие месяцы работы в архивах, встречи с бывшими чапаевцами, жившими в городах и селах Поволжья.

И вот вышла в свет повесть «Лидка-Чапаенок», которая быстро стала одной из самых любимых книг куйбышевских школьников. Куйбышевских — потому, что издана она Куйбышевским издательством.

Не надо думать, что главная героиня повести Лидка Лагунова — буквальный портрет Лиды Ягуновой, юной чапаевской разведчицы. Да, в основу образа своей героини писатель положил многие события из ее жизни. Но что-то автор внес в него и от других чапаят, которых в дивизии было довольно много. Им тоже хватало дела. Выполняли обязанности порученцев, связных, ездовых, помогали поварам, автомеханикам, шорникам. А когда им приходилось участвовать в боях, храбростью своей и мужеством ребята не уступали взрослым воинам.

Каждая революция, каждая война рождает своих Гаврошей. Лидка Лагунова представляется мне Гаврошем гражданской войны. Вот такие они и были: смелые, решительные, находчивые, с распахнутой настежь душой, щедрые на добрые чувства и отзывчивые на доброту других людей. Их вело в бой классовое сознание. Ведь они были плоть от плоти, кровь от крови своих отцов-пролетариев. Их вел вперед пример старших братьев, которые вышли на последний решительный бой с капиталом и поклялись победить.

И в то же время Гаврощи, та же Лидка, оставались еще детьми. Лидка могла уснуть во время дежурства у телефона, могла сварить непотрошеную курицу. Как же, разве она может признаться, что до сих пор никогда

кур не варила и даже не ела? Да ни за что! Ну и случился, как можно было предполагать, большой конфуз.

Да, они были детьми. И в то же время — бойцами великой и справедливой армии Страны Советов. Бойцами, уже понимающими свое место в строю этой армии. Уже знающими: возврата к той рабской, беспросветной жизни, которой вдоволь хлебнули их отцы и матери, нет.

Как же здорово тринадцатилетняя девчонка в главе «Задушевный разговорчик» провела свой первый в жизни политический диспут с белым агитатором на реке Боровке! Да за одну только эту удивительную речь я бы простила и непотрошеную курицу. И даже обман, на который она пошла, прибавив себе года, чтобы не отказали в приеме в комсомол.

Лидка становится не только маленьким солдатом революции, умеющим стрелять во врагов, но и политическим бойцом, сознающим свой долг перед Советской Родиной.

Мне по душе, мне все нравится в Лидке-Чапаенке. Я за нее. А значит, и за книгу Андрея Вятского. Думаю, что со мною согласятся все юные читатели нового издания этой интересной и нужной книги.

Мария Прилежаева,
лауреат Государственной премии РСФСР
и премии Ленинского комсомола

ОТЕЦ

Отец приходит с работы поздно. Лидка каждый раз ждет его с нетерпением. Большой, шумный, веселый, он еще с порога спрашивает:

— Ну, как тут мое королевство поживает?

И сразу в тесном, полутемном подвале становится просторнее. У отца русая мягкая бородка, пушистые усы, большие серые глаза и белые ровные зубы. Когда он смеется, Лидке кажется, что вокруг все светлеет.

Отец работает столяром в железнодорожных мастерских. Зарабатывает мало, а детей — девять человек. Хватает только на хлеб, да и хлеба не всегда вволю. Но отец не унывает, не жалуется. Только когда все засыпают, он о чем-то долго шепотом разговаривает с матерью, она тяжело вздыхает, а порою и плачет.

Если вы хотите представить себе Лидку, то как только увидите девчонку с отчаянными серыми глазами, с мальчишескими непокорными вихрами, с задорно вздернутым носом и ссадинами на коленках — знайте: это и есть Лидка. Правда, есть у нее еще одна примета. Примета такая: руки всегда согнуты в локтях, а кулаки сжаты. Это у нее от того, что она постоянно в ожидании схватки с соседскими мальчишками.

Но так она выглядит на улице. А дома? Дома вполне по-домашнему. И ждет отца, как и все в доме. Только вот почему-то считает, что имеет прав на отцовскую любовь больше, чем ее сестренки и братишки. Когда отец, умывшись, садится за стол, она прыгает к нему на колени и начинает теребить за усы и бороду. Следом за ней бегут к отцу и другие маленькие Лагуновы: Борька, Женька, Настя. Отец шутливо отбивается от них:

— Ах вы лешачонки, дери вас фуганком! Что я, медом намазанный, что ли?

Старшие тут же. Но они уже взрослые, материны помощники, и потому стесняются так открыто выражать свои чувства. Только Сашка, который всего на два года старше Лидки, подходит к отцу и бодает его стриженой головой, а тот шутливо щелкает сынишку по лбу, приговаривая:

— А бодливому Сашке-бычку на каждый рог по щелчку.

Живут Лагуновы на Троицкой. За квартиру не платят. Подвал, который они занимают, принадлежит вдове церковного старосты, мещанке Иродиадовой, костлявой высокой даме с угреватыми щеками, всегда одетой в черное шерстяное платье с длинными узкими рукавами, отороченными белыми кружевами. На шее у нее большой золотой медальон.

Она пустила Лагуновых на квартиру, чтобы не разоряться на дворника. Они должны следить за чистотой двора, убирать грязь и снег с дороги, скалывать лед на тротуарах и делать ей «мелкие одолжения». Поэтому она не берет с них денег.

Когда на улице гололед, отец встает зáдолго до света, берет пешню и идет скалывать лед. Вместе с ним уходит и Сашка, закутанный в мамин платок и обутый в старые опорки от валяных сапог. Лидка просыпается от гулких ударов. Стекла маленьких подслеповатых окошек дребезжат. Она соскакивает с полатей и прижимается лбом к стеклу. Страшно хочется в такие минуты быть вместе с отцом и Сашкой. Но не во что обуться и нет зимней одежды. Опорки носят по очереди.

Мадам Полина Андреевна — так звали домовладелицу,— пуская на квартиру Лагуновых, поставила еще такие условия: детям не бегать по двору, не кричать и с уважением относиться к хозяйским собакам, которых было великое множество.

Иногда хозяйка заставляла Сашку или Лидку мыть собак и расчесывать им шерсть. Давала за это по копейке или по паре карамелек в бумажке. Собаки кусались, царапались, пачкались.

Однажды большой лохматый пес крепко цапнул Лидку за палец. Сашка ударил собаку по голове медным тазиком. Собака заскулила. На крыльцо выскочила хозяйка. От злости она не могла говорить и только шипела. Когда Сашка и Лидка вернулись домой, уши у них были похожи на красные подушки.

И тут впервые Лидка узнала, каким решительным и сердитым может быть ее отец. Узнав от матери о происшествии, он схватил Лидку и Сашку за руки и потащил их к флигелю Иродиадовой. Был уже вечер. В окнах домовладелицы горел свет. Отец громко постучал. Хозяйка, видимо, только из-за стола. Щеки то опадают,

то раздуваются. В руке кусок недоеденного пирога.

«С луком и яйцами»,— угадала Лидка, глотая слюну.

Отец подождал, когда хозяйка дожует. Когда она вытерла рот шелковым платком, вытянутым из-за обшлага, он сказал вежливо и спокойно:

— Давайте договоримся, мадам: собаки — это собаки. Дети — это дети. А вы,— сказал он Лидке и Сашке,— больше ни за какие деньги не подходите к этим собакам. Не ваше дело — собачьи хвосты расчесывать...

И вдруг как ветром снесло хозяйку с крыльца. Она взвизгнула и завертелась по двору. Кулаки ее летали под носом отца. Он какое-то время с удивлением смотрел, как беснуется Иродиадиха, потом плюнул себе под ноги и повернулся. Но хозяйка не дала отцу уйти, она преградила ему дорогу и закричала:

— Вот благодарность за мою доброту! Я его даром держу на квартире. Даю его оборвышам заработать. А он на меня же плюет. Посмотрите, люди добрые, на что это похоже! Нет уж, видно, от острожников да бунтовщиков благодарности ввек не дождешься! Знать, мало секли тебя в пятом году? На каторгу надо было!

Во дворе собирались зеваки. На истошный крик хозяйки из распахнутых окон высовывались головы любителей скандалов.

При упоминании о девятьсот пятом годе у отца заходили желваки под крутыми скулами, он как-то очень внимательно и недобро посмотрел на Иродиадиху и, ни слова не говоря, повел ребят домой. Лидку поразило молчание отца. Неужто такого большого и сильного человека кто-то мог высечь, как нашкодившего мальчишку? Этого она не допускала. Но тогда почему же отец ничего не ответил хозяйке?

Оказывается, Сашка знал больше ее:

— Папку царь отлупил в пятом году. Да не одного — и братьев его: дядю Сашу, дядю Егора, дядю Ваню, дядю Дмитрия, дядю Сергея — всех.

— Розгами? — замирая, спросила Лидка.— А за что?

— Против царя пошли. Хотели свалить, а он не дался...

А потом Лидка видела сон. По пустому Троицкому

базару около церкви друг за другом бегают двое: отец и царь. Отец в рабочем пиджаке, в пыльных сапогах, с молотком в руке. Зубы у него стиснуты. Он гоняется за царем и бьет по царской башке молотком. Потом на помощь отцу прибежали все его пять братьев. Стали ловить царя вшестером. Уже несколько раз они хватали его за железные ноги. Вот-вот, еще немного, и повалят его на землю. И вдруг все переменилось. Царь стал расти. Голова у него раздулась, руки вытянулись, ноги стали раздвигаться все шире и шире. Вот он уже ростом с колокольню Троицкой церкви. Теперь царь сам стал бегать за отцом и его братьями.

Он переловил их всех, связал ременными вожжами и вдруг закричал:

— Розог мне, розог!

И тут Лидка увидела, как из открытых ворот церкви заспешила на царский зов их хозяйка, Иродиадова. Она кряхтит и сгибается. Глаза у нее злые и красные. Она несет громадную вязанку розог. И каждая, как огородная жердь.

Вот царь взял одну из этих жердей и занес ее над головой отца... Сейчас ударит. Лидка хватается за свободный конец розги. И... чувствует, как поднимается в воздух.

Она закричала от страха и... проснулась. Сердце билось часто-часто.

— Что с тобой, доченька? Не заболела ли?

Над Лидкой склонилось встревоженное лицо отца. Одной рукой он держит коптилку, другою трогает лоб дочери.

Лидка облегченно вздыхает и погружается в самый обыкновенный, совсем нестрашный девчоночий сон.

МАТЬ

Мать целыми днями орудует ухватом около печки или стоит в клубах пара с засученными по локоть рукавами над деревянным корытом. Она едва успевает кормить, обстирывать и обштопывать свою ораву.

Худенькая, подвижная, с тугим узлом русых кос на затылке, мать кажется моложе своих лет. И никто не верит, что у нее столько детей...

Улыбается мать редко. Но и слез на ее глазах дети

не видят. Плачет она только по ночам, на отцовском плече. И то тихо-тихо, чтобы ребятишки не слышали. А уж когда в доме совсем невмоготу — ни крошки хлеба, ни щепки для плиты,— обращает свое худое бледное лицо к тусклой иконе, что висит в углу, под потолком, и молится. Но молится она недолго и торопливо. Больше для того, чтобы отвести душу. И бежит после молитвы к соседям, которые побогаче: у кого белье постирает, кому полы помоет. К вечеру она достает денег, и к приходу отца в чугунке всегда что-нибудь булькает.

Бедствуют Лагуновы очень. Вся их мебель — грубый дубовый стол, навечно сколоченный отцом из нескольких плах, скамейка, низенькая деревянная кровать, полати.

На полатях постелен широкий толстый войлок. На нем и располагается все лагуновское потомство. Те, которые постарше,— поближе к стене. Поменьше — поближе к печке. Зимой часто стена покрывается инеем. Дрова для Лагуновых — всегда проблема. Сколько ни заготавливай их летом, все равно на зиму не хватает. И мать посылает старших на Волгу с салазками за щепками и соломой. Самая теплая амуниция «заготовителей» — старая ватная телогрейка отца, дырявый материн платок, опорки и большие солдатские башмаки. Чтобы ноги не мерзли, в опорки и башмаки ребята набивают сено, бумагу и даже мелкие перья. Чаще других за дровами ходят Лидка и Сашка.

Под крыльцом хранится ледянка. Ребятишки захватывают и салазки и ледянку. Катают друг друга по очереди. На улице холодно, метет поземка, то и дело приходится хвататься за нос и за уши. Набрав и увязав в маленький возок ворох заснеженной щепы, надергав с проезжающих возов сена и соломы, возвращаются домой, распевая во весь голос сочиненную Сашкой песню:

> —Из Саратова мы сами.
> Наши кони с бубенцами.
> Мы с товарами купцы.
> Мы лихие молодцы!

Мать встречает их скупой улыбкой, поспешно раздевает и отправляет отогреваться на печку.

Лидке исполнилось девять, когда началась война. Называлась она германской.

По улицам ходят солдатские команды с залихватскими песнями. Вечером отец, устало разглаживая бороду, говорит матери:

— Сегодня у нас еще двоих забрили. Как в пропасть народ кидают. Не сегодня-завтра очередь Дмитрия.

Дмитрий — самый старший брат Лидки. Он тоже работает на железной дороге.

— Не допусти, господи,— испуганно крестится мать. Крестится, а сама сушит сыну сухари, из лоскута цветной кожи шьет кисет. Отец засыпает туда махорку — делают запас для солдата. Знают: все равно не минует их первенец серой шинели. Забреют.

И Дмитрия действительно скоро забрили.

Перед уходом эшелона его отпустили из казармы на несколько часов домой. Лидка, опустив голову с полатей, смотрит, как он ходит широкими твердыми шагами, поскрипывая половицами, и говорит матери, которая сидит в углу на сундуке за ситцевой занавеской и держится за сердце:

— Ты не горюй, мать. Я ведь не один. Всех берут. И потом, не беспокойся — дуриком под пули не полезу. Размышлять обучен...

Брат торопился. Нужно было еще попрощаться с родственниками. Лидка увязалась за ним. Куда Дмитрий, туда и она. Сначала отправились к дяде Коле. Он уже побывал на войне.

Лидка помнила дядю веселым кудрявым красавцем. А увидела сейчас и не узнала.

Его отправили на фронт с первым грохотом пушек. Вернулся оттуда умирающим от ран. В госпитале ему прямо сказали — не жилец, и он попросил перевезти его домой. Куда делись его молодецкая сила, русые кудри! Перед Дмитрием и Лидкой лежал старый, измученный человек с острым щетинистым подбородком, прямыми, прилипшими к желтому черепу прядками волос. Он все время кашлял и натягивал одеяло на подбородок худыми негнущимися пальцами.

— Ты вот что, Митя,— с трудом выдохнул дядя Коля,— береги себя! Хватит одного меня с лагуновской фамилии.

Лидка удивляется: «Как же так! Идти на войну и беречь себя? Что же это за война?»

Она представляет войну по-своему. Идут солдаты с

барабаном, со знаменем, под музыку, ноги высоко выбрасывают. А на них идет точно такая же команда. На ходу они достают ружья и стреляют друг в друга. Кто упал — значит, убит. А те, кто остался, на саблях спор решают, кому победа достанется. Весело и интересно!

На вокзале от отца она услышала совсем непонятное:

— Ты, значит, учти сынок: за веру и царя голову не стоит складывать. А отечество еще завоевать надо... Не маленький, помнишь, как меня и дядьев твоих в пятом году при людях в народном доме пороли?

Дмитрий огляделся и сказал отцу:

— Мне бы только винтовку дали...

Матери же, которая надевала ему на шею ладанку и наказывала, чтобы он слушал начальников и не лез на рожон, он говорил весело:

— Не полезу на рожон, мать! А начальников буду глазами есть!

Мать вздрагивала и крестилась:

— Да что ты, бог с тобой. Разве можно про начальство такое говорить? Это, чай, не лепешка, не жмых...

— Только это и можно, мать, солдату. Начальство очень любит, когда его глазами едят. Даже крест можно получить.

...И он получил его. Но сам об этом не писал. Сообщили другие.

Однажды около дома Лагуновых остановилась сверкающая лаком пролетка. Из нее вышел пожилой господин в котелке и белых перчатках. В одной руке у него была трость с собачьей головой на набалдашнике, в другой — записная книжка. Он посмотрел в книжку, потом на ворота, где на эмалированной жестянке значился уличный номер дома, удовлетворенно кивнул головой и вошел во двор.

Был воскресный день. Отец сидел дома.

Гость снял котелок. Голова его засияла громадной желтой лысиной, обрамленной по краям пухом белых волосиков.

— Полковник в отставке князь Бергосян. Имею честь видеть господина Лагунова?

Губы у полковника толстые и лоснятся. Прежде чем что-нибудь сказать, он несколько секунд шлепал ими, только потом произносил слова.

Лидка смотрела на пришельца с полатей со страхом

и любопытством. Такие богатые, хорошо одетые люди еще ни разу не заходили в их подвал...

Сашка шепнул ей:

— Я его знаю... На Дворянской живет... У дома ворота железные...

Отец подвинул к полковнику табуретку. Тот вытянул большой клетчатый платок, постелил его под себя и сел.

— Армейская привычка,— оправдывался гость,— в бою на барабанах, знаете, приходилось...

Лидке все было непонятно в пришельце. Если он полковник, то почему без погон, кокарды и сверкающей, как у пристава, сабли?

Непонятным было и поведение отца. Почему это он вдруг заговорил таким необычным языком с чужим человеком?

— Чем могу служить?

«Ага, вон зачем пришел этот толстогубый,— пыталась догадаться Лидка,— отца на новую службу нанимать».

И опять ошиблась.

— Имею честь поздравить вас, господин Лагунов, с наградой, которой от высочайшего имени удостоен защитник отечества, ваш сын, рядовой Дмитрий Лагунов.

Мать выскочила из-за занавески, куда спряталась, когда в дверях раздалось покашливание чужого человека.

Руки матери были в муке. Она месила тесто.

— От Мити весточка, господи! — обрадовалась она.

Полковник обстоятельно и подробно стал рассказывать о том, как его сын, поручик Аршак Михайлович Бергосян, окончил юнкерское училище, как его лично поздравлял с успешным окончанием курса великий князь Николай Николаевич, как он изъявил желание отправиться в действующую армию.

Лидка не понимала, какое отношение сын толстогубого имеет к брату Дмитрию, и толкнула в бок Сашку, который лежал рядом на полатях. Сашка, видимо, думал о том же и не выдержал. Он высунул на свет голову и спросил:

— Дядь, а Митька-то как же?

На него цыкнула мать, и он тотчас же замолк.

Сашкин вопрос нарушил плавное течение рассказа. Гость недовольно поморщился.

Мать чуть ли не на колени хлопнулась перед полковником:

— Да вы не обращайте на них внимания, господин хороший. Рассказывайте, что дальше-то. Значит, как вы благословили вашего сына на ратное дело...

Полковник смягчился.

— ...Назначен он был командиром четырнадцатой маршевой роты восемьдесят шестого полка. И в списках его солдат числился рядовой Лагунов из самарских мастеровых.

Армянский князь-полковник стал читать письма своего сына Аршака, в котором говорилось, как он во время ночного боя совершал героические подвиги в австрийском тылу и как потом корпусной генерал раздавал им кресты. Вот тут и получил Дмитрий Георгиевский крест четвертой степени за то, что взял в плен вражеского офицера да еще заставил этого офицера притащить в наши окопы пулемет.

Сашка больше не перебивал князя. Он и Лидка смотрели ему в рот, боясь пропустить слово. А мать сидела, обессиленно опустив руки на колени, и только глаза у нее сияли от счастья.

Отец почему-то не радовался сообщению о награде.

— Жив ли? — тревожно спросил он.

Полковник обиженно пошлепал губами и стал прятать письмо в большой кожаный бумажник.

— Я счел долгом, господин Лагунов, первым поздравить ваше семейство... Взял адрес в воинском присутствии. Сейчас не время для разделения между слоями общества. У нас единый лагерь защитников отечества... Я всегда хорошо относился к простым людям.

Лидка видела — у отца подрагивают уголки губ. Это значит, у него кончается терпение.

Понял это и полковник:

— Жив ваш сын милостью божьей.

Теперь повеселел и отец.

— Вот это добрая весть! — сказал он и, сделав какой-то знак матери, спросил: — Может, в честь такого случая по рюмочке, ваше благородие?

Его благородие поморщилось, но отказаться не успело. На столе уже стоял шкалик водки и принесенное матерью блюдце квашеной капусты. Отец наполнил две выточенные им на токарном станке

деревянные рюмки и одну из них подал полковнику.

Полковник выпил, но закусывать отказался.

Сашка шепнул Лидке:

— Ишь, нос воротит от капусты. Они, наверно, яблоками да арбузами закусывают.

Лидка согласилась. Она тоже считала, что вкуснее яблок да арбузов на свете ничего не бывает. Вот, говорят, еще шоколад какой-то есть. Но его Лидка не пробовала. Ей показывала что-то коричневое в золотой бумажке из-за забора поповская дочь Нинка. Показывала и дразнила:

— Лидка, Лидка — нищета...
Нет в кармане ни шута:
Ни копейки, ни гроша,
Ни соленого шиша...

Лидка вспоминала об этом и на минуту забыла о знатном госте. Захотелось выбежать во двор, отыскать Нинку и оттаскать ее за жиденькие желтые косички с громадными голубыми бантами.

Гостя провожали до пролетки всей семьей. Увидев себя окруженным босоногим гомонящим воинством, полковник удивился:

— Все ваши, господин Лагунов?

— Так точно, мои.

Полковник полез в свой толстый бумажник. Долго рылся, перебирал какие-то радужные, синенькие, желтые бумажки и, наконец, так ничего и не вытащив оттуда, покраснел и спрятал обратно.

— Ах, господи, какая жалость! Не захватил с собой серебра... Впрочем... Ефрем! — громко крикнул он кучеру.— Я, кажется, давал тебе на хранение какую-то мелочь. Подай ее, голубчик. А в другой раз тебя вознагражу.

Ефрем недовольно скривился и кряхтя полез за пазуху, выскребая оттуда свои чаевые. Полковник сел в бричку, подозвал к себе ребятишек и стал им раздавать пятаки и копейки.

Отец нахмурился и хотел было ударить Женьку по рукам: тот первый потянулся за монетой. Но его удержала мать, не спускавшая глаз с полковника. Она пожелала ему счастливого пути, долгих лет и даже сняла пушинку, приставшую к плечу его сюртука.

Отцу это не понравилось, и, когда пролетка скрылась за углом, он сказал ей:

— Нельзя рабочего достоинства терять, Марья...

Мать, обычно во всем и всегда соглашавшаяся с отцом, вдруг рассердилась:

— Человек нам радость принес, а мы и отблагодарить-то его по-настоящему не сумели.

Переругиваясь, родители пошли домой, а ребятня устроила совещание. Ведь не каждый день выпадало такое счастье: целых тридцать четыре копейки! Богатство! Тут же, у ворот, сев в кружок, и договорились: на пятак — каленых орехов, за шестнадцать копеек — резинового льва «с ревом», а остальные деньги — мамке. Сначала о льве никто не хотел и слышать, но Лидка так его расхваливала, что даже самая старшая, Сепка, и то загорелась:

— Неужто ревет?

Лидка божилась:

— Вот те крест! Хвост покрутишь — и на весь базар!

Сепка пожевала губами, отсчитала из общей суммы шестнадцать копеек, зажала в Лидкин кулак и скомандовала:

— Айда за львом! Только смотри не вырони!

И Лидка, невероятно гордая и довольная, повела всю ватагу к базарному ларьку с игрушками.

Счастливая пора настала в доме Лагуновых. Но только на ребячьей половине. День и ночь возились они со своей первой настоящей игрушкой. До сих пор играли только стружкой да бумажными корабликами, которые делал отец.

Зато родители были чем-то встревожены. И чуткое ухо Лидки не раз слышало, как отец с раздражением говорил:

— И за каким чертом понадобился ему этот крест? Ума не приложу.

Мать возражала:

— Ведь он не хуже людей. За веру постоять надо.

Отец распалялся все больше:

— Ох, тяжелый у тебя рассудок, мать! Пойми ты — ведь большевик он... большевик, дери его фуганком...

И каждый раз, когда отец произносил слово «большевик», разговор опять переходил на совсем неслышный шепот.

Лидке очень хотелось узнать, кто такие большевики

но у отца спрашивать было неудобно — скажет: подслушиваешь.

От самого Дмитрия по-прежнему ничего не приходило. Мать уже давно порывалась сходить к полковнику, узнать, не написал ли чего нового про Дмитрия полковничий сын-поручик. Но полковник внезапно явился сам. Только на этот раз без пролетки, без белых перчаток. Лагуновы ложились спать, когда он постучал в дверь.

Лидка смотрела с полатей на гостя и не узнавала его. Он согнулся. Губы шлепают чаще обычного, глаза бегают.

— Господин Лагунов, я вынужден взять обратно поздравление с наградой вашего сына.

Отец, еще ничего не понимая, пожал плечами:

— Пожалуйста. Ошибка, наверное... Может, не грудь в крестах, а голова в кустах?

Мать, как была простоволосая, так и выскочила из-за занавески. Вцепилась в рукав полковника:

— Неужто убили Митю?

Полковник растерялся, потом поднял глаза к потолку и сказал с расстановкой:

— Пожалуй, для вашего дома и лучше была бы честная смерть. Подальше от позора. Но, увы, ваш сын запятнал себя изменой престолу. Связался с большевиками. Призывал к братанию с немцами. Военный трибунал приговорил его к расстрелу.

Мать, прикрыв рукой рот, мягко опустилась на табуретку. У отца непонимающе заморгали веки. Он тихо спросил:

— Расстреляли?

— Государственному преступнику удалось бежать из-под стражи.

К щекам матери приливала кровь. Спокойнее стало дыхание отца.

— Вот за это спасибо...

Полковник замялся...

— Э... видите ли, господин Лагунов, вполне возможно, что у вас будут производить обыск... допрашивать, так я хотел бы... Будем считать, что мы незнакомы... Лишние неприятности... Все-таки я верой-правдой государю тридцать лет... а тут скажут — поздравлял семью беглого большевика... Мне о карьере сына надо, знаете, думать...

— Ох и мелкая душа у вашего благородия,— вдруг сказала мать.— Оттого, видать, при дневном-то свете и испугались прийти.

Отец с удивлением посмотрел на мать и, сводя к переносице рыжеватые брови, заверил гостя:

— Нам что, мы детей вместе не крестили. Да и какое может быть знакомство у кнута с лошадью...

Полковник надел шляпу и направился к двери. Но на пороге все-таки остановился:

— У вас большое семейство, господин Лагунов. Так я бы хотел, чтобы плохо не подумали обо мне, помочь вам по возможности...— И он, шагнув к столу, положил смятую десятку. Она, видимо, давно была заготовлена и лежала под рукой.— А когда заявится беглый большевик, для вашего же спокойствия лучше сразу заявить о нем в полицию... А то ведь могут осудить за подозрение в соучастии...

Лидка видела, как сжались отцовские кулаки, как он сделал шаг к попятившемуся полковнику. Но раньше чем отец успел сделать то, что замыслил, мать схватила десятирублевку и бросила в лицо вечернему гостю.

— Подавитесь вы своими деньгами! Богатые, так думаете, измываться можно над беднотой? Мы своими детьми не бросаемся. Он и большевик, да родной.

Простоволосая, разгневанная, она, придерживая одной рукой кофточку на груди, размахивала другой в воздухе, наступала на полковника.

— Иди, иди, поганая душа, трус несчастный! А я всю улицу соберу. Покажу, какие такие князья есть.

Лидка завозилась от восторга на полатях. Вот здорово! Ей с первого раза не понравился этот толстогубый. Только бы успеть. Она шарила в темноте, расталкивая спящих сестренок. Искала резинового льва. Нашла. И, схватив его, полезла с полатей.

— Куда? — спохватился отец, когда дочь шмыгнула мимо него.

В сенцах Лидка наткнулась на мать, которая пошла запирать ворота. Мимо нее Лидка выбежала через калитку на улицу. Нет, еще не ушел. Согнутая фигура полковника с поднятым воротником поравнялась только с соседним домом. Лидка, не добежав несколько шагов, размахнулась и с наслаждением бросила надутого резинового льва в спину князя.

САШКА

Весной, когда из-под снега появлялись черные пятачки земли и просыхали тротуары, ребята собирались шумными стайками и играли в бабки.

Игра эта чисто мальчишечья. Но Лидка ни в чем не уступала мальчишкам. Они даже боялись с ней связываться. Ловкая, гибкая, она легко вырывалась из рук противников. И если не брала силой, то могла и укусить. А при случае и хороших «пилюль» надавать, если привяжется кто. По игре в бабки она числилась в сильнейших игроках улицы. Есть у нее бита — свинчатка. За двадцать шагов кон разносит. Не было случая, чтобы домой возвращалась без выигрыша. Восемь-десять пар панков обязательно приносила и складывала в сарайчике под поленницей.

Один раз конопатый сын лавочника Анисимова Гаврюшка подговорил ребятишек после игры отобрать у Лидки выигрыш. Лидка бесстрашно приняла бой. Помятая, с синяками и ссадинами, вернулась она домой, злая, но без единой слезы. Сколько мать ни спрашивала, в чем дело, ничего не сказала ей Лидка. Вечером отец допытывался — тоже промолчала. Только одному Сашке призналась и попросила его:

— Саш, а Саш, давай вместе ходить на улицу.

Хотя Сашка был старше сестры, согласился:

— Ладно. Только ты сама не задирай. Я тебя знаю... А полезет кто другой — всегда тебя поддержу.

Шупленького, сероглазого, с острым худеньким личиком и сухонькими, но твердыми кулачками, веселого и гораздого на всякую выдумку Сашку уважали мальчишки всей улицы. И Лидка любила его сильнее всех братьев и сестер. Толстомордому Гаврюшке, к удовольствию Лидки, Сашка дал добрый подзатыльник при первой же встрече и пообещал: если еще раз обидит Лидку — накормит сажей.

Гаврюшка, хотя и ростом выше Сашки, и телом крупнее, расхныкался и поклялся не обижать маленьких. Он помнил, как хохотали мальчишки со всей улицы, когда в прошлом году Сашка заставил двух барчуков-гимназистов с соседней улицы глотать разведенную в воде сажу, которой они пытались выкрасить лагуновскую кошку. Сашка тогда снял с обоих брюки и не отдавал их, пока барчуки не слопали всю сажу.

Летом Лидку и Сашку домой не загонишь. Целыми днями на улице. Возвращаются с ободранными коленями, порезанными стеклом пятками, пыльные, взъерошенные.

Мать к воскресенью обычно мыла ребятишек. Лидка не любила эту процедуру. Ей больше по душе была Волга. Но мать все-таки сажала ее в корыто с горячей водой, терла мочалкой худую спину и говорила:

— И в кого ты, Лидка, такая уродилась! Ни кожи ни рожи. Одни ноги голенастые да глаза. И на девку-то не похожа. Парнем бы тебе быть.

Лидка же радуется:

— Вот и хорошо. Я что, разве хуже мальчишки?

А на следующий день показывала язык какому-нибудь десятилетнему Федьке, который ревел оттого, что было жаль проигранных панков, и говорила:

— Эх ты, плакса-вакса! И на парня-то не похож. Тебе бы девкой быть.

Росла Лидка незаметно. Не первая, не последняя среди лагуновских дочерей носила она то, что оставалось от старших или из перешитого материного.

Цвет волос ее летом разобрать было невозможно, так выгорали на солнце два ее крысиных хвостика. Ела, что и все. Мать и побаловала бы, да нечем. Но болела Лидка редко, еще реже жаловалась на что-либо, и Мария Федоровна говорила соседкам:

— Не сглазить бы. Растет девка — один бог ведает как. Болезнь ее не берет никакая. И в обиду себя не даст. Я за Лидку спокойна. Вот только жизнь-то у нас такая, что праздником не назовешь. Неужто и у детей наших такая будет?

Соседки сочувственно вздыхали:

— Да уж какой там праздник, Федоровна. Не до жиру... у нас один праздник, когда в гроб положат.

Но что бы там ни говорили, а у Лидки праздник был. В этот день она не знала, куда себя деть от радости. Ей сшили платье. Яркое, хрустящее, из совсем нового ситца. И, как назло, не перед кем было похвастаться. Только одна Иродиадова гуляла по двору с собаками. Лидкино самолюбие было удовлетворено немного лишь тогда, когда через щелку поповского забора завистливо блеснули глаза Нинки. Чувствовала себя Лидка в новом платье маленькой принцессой.

Мать разрешила выйти в новом платье только во

двор. Но как только Нинкины глаза исчезли, на дворе снова стало неинтересно. И Лидка, пренебрегая запретом, выскочила на улицу. Но и улица была пустынна. Только в самом конце ее шли две согнувшиеся старушки.

Куда теперь? И, недолго думая, Лидка побежала на Волгу. У берега стояли плоты. На берегу плотогоны из большого закопченного котла деревянными ложками ели кашу. Лидка невольно потянула носом. Утром она съела маленький кусочек хлеба с солью и выпила кружку кваса. Но это было давно-давно. А вот теперь пустой желудок давал себя знать. Лидка закружилась около обедающих плотовщиков: то подходила к ним, то удалялась. Делая вид, что ей нет до них никакого дела, бросала мелкие камешки в воду. Ложки все медленней и ленивей ходили из котла к жующим ртам. Плотовщики уже насытились. Один из них, высокий и сильный старик с рыжей курчавой бородой, уловил в глазах девчонки завистливые голодные огоньки и поманил ее пальцем:

— Хочешь каши, стрекоза?

Лидка не из привередливых. Не раз ей приходилось брать кусок из чужих рук. Она присела к котлу. Старик с красной бородой, перекрестившись, отдал ей свою ложку.

— Как звать-то?

— Лидка!

— Ну вот, давай садись за наш стол. Каша с маслом коровьим, горячая.

Позабыв обо всем на свете, жмурясь от удовольствия, Лидка ела густую, пахучую, необыкновенно вкусную кашу. Наевшись, блаженно прикрыла глаза. И вдруг испуганно, вытянув шею, посмотрела на дно котла. Осталось ли? Ведь дома-то ребятишки который день одни щи из щавеля да крапивы едят. Показалось, что из-за штабеля бревен, выловленных в половодье, выглядывают остренькие мордочки Женьки и Борьки, которые тянут тоненькими голосками: «Сама наелась, а нам-то?»

Заглянула Лидка на дно — осталось! Да еще как много-то осталось!

И так захотелось угостить этой кашей своих, что даже слезы на глазах навернулись.

— Ну вот, накормили, а она куксится,— упрекнул ее краснобородый и положил свою тяжелую руку на

гладко расчесанную по случаю обновки Лидкину голову.

«Они добрые,— подумала Лидка,— может, и дадут остатки? Куда им? Все равно выкидывать... Попрошу».

— Мне Борьку с Женькой жалко! — призналась она.— Им бы такой кашицы. А то все крапиву едят. Уж больно худенькие они.

Плотовщики понимающе переглянулись.

— Эк ведь ты какая жалостливая! — Краснобородый рассмеялся. Зубы у него такие же белые и чистые, как у отца.— Нам ведь что! Дадим. Только как понесешь-то?

За спиной Лидки хрипло загудел пароходный гудок: плотовщики заторопились. Обед кончился. Прибывала новая партия сплавного леса.

Артельный кашевар — мужик в грубых брезентовых штанах — быстро отобрал у товарищей ложки, сунул их в мешок и, схватив за ушки котел, крикнул Лидке:

— Ну, востроглазая, куда тебе? А то на землю вывалю. Право слово, вывалю!..

Лидка растерянно огляделась вокруг. Хоть бы какой-нибудь поломанный горшок попался! Но вокруг — только камни, бревна да песок. Тогда она решительно подняла подол нового ситцевого платьица.

— Я в платье, дяденька, донесу.

Лидка шла в гору, высоко задрав платье, и масло капало ей на босые ноги.

Мать стирала во дворе белье. Сашка отжимал его и развешивал на веревках.

— Где пропадаешь, егоза? — спросила мать, едва Лидкина голова показалась в вырезе калитки.

— Я, мам, каши принесла,— сказала Лидка, переступая с ноги на ногу в ожидании похвалы.— Смотри какая.

Мать тыльной стороной ладони отбросила с глаз прядку волос, выпрямилась и вдруг, разбрызгивая с рук пену, хлопнула себя по бедрам.

— Ты что, с ума сошла? В новое платье — кашу?

Она схватила мокрую тряпку из корыта и стала больно хлестать ею Лидку по спине. Лидка стояла, нагнув голову, и по-прежнему держала в руках края подола. Она не плакала, хотя было больно и обидно. Не понимала одного: ведь хотела сделать доброе дело — накормить всех вкусной, душистой кашей...

Потом мать ударила Лидку по рукам, и то, что та так бережно и осторожно принесла из котла добрых плотогонов, рассыпалось комьями по земле, смешалось с пылью. Вот теперь Лидка заревела. Она увидела на подоле платья громадное масляное пятно. Ни каши, ни платья!

— Мам, не тронь Лидку, лучше — меня!

Сашка загораживал сестру, принимая удары на себя. Мать опомнилась. Бросила тряпку в корыто, огляделась. Ну конечно, проклятая Иродиадиха тут как тут. Сидит на крыльце, расчесывает шерсть белой болонке и жует сухие вишни. Из окон второго этажа тоже головы свесились. Кто-то подзуживает:

— Так ее, так ее, Федоровна. Они, ребятишки-то, от битья мягчают...

Мать укоризненно и печально смотрела на детей. И такой измученной, уставшей, обиженной показалась она Лидке, что от любви и жалости к ней захотелось совершить что-то необыкновенное, чтобы сразу сделать мать счастливой.

Но что же можно совершить? И Лидка, почувствовав себя совсем маленькой и бессильной, размазывая по лицу вновь хлынувшие слезы, убежала в дом. Забралась на полати, свернулась калачиком и долго беззвучно плакала.

На полатях появился Сашка. Он подождал, пока Лидка успокоится, потом сказал:

— Ты не горюй, Лидушка. Вот работать пойду, я тебе не такое платье куплю. Красивее. Шелковое, как у Иродиадихи...

Лидка не откликалась. Ей было жалко не платье, а мать. И Сашка, словно угадав ее мысли, продолжал:

— А на мамку не обижайся. Она ведь у нас хорошая. Только трудно ей. Вон нас сколько! Все жилы из себя вытянула. Она же от горя тебя побила.

И у Лидки легче стало на душе. В этот день они уже никуда не выходили из дому. Лежали на полатях локоть к локтю и говорили шепотом о том, как будут ухаживать за отцом и матерью, когда те станут старенькими, а Лидка и Сашка вырастут и сами будут зарабатывать деньги. В мечтах все выходило легко и просто.

...Сколько мать ни стирала новое Лидкино платье, ничего не получалось. Оно было испорчено. Зато дружба брата и сестры стала еще крепче. Сашка брал ее в свою

[illegible] И [illegible], чтобы Лидка подел[illegible] А она поверяла ему все свои маленькие и большие тайны, зная, что Сашка никогда не будет над ней смеяться и, если надо, всегда поможет.

Однажды отец, вернувшись с работы, сказал матери:

— [illegible] стриги и рубаху пости[illegible]рай. [illegible] мастерскую. Хватит ему [illegible] учится, дери его фуганком...

На следующий день [illegible] причесанный, чистый, одетый в [illegible]ую, без заплат, сатиновую рубашку, [illegible] рядом с отцом. Он старался [illegible] широкий шаг. Лидка едва [illegible]. Она завидовала Сашке. Он будет [illegible]! Лидка не раз носила в [illegible] отца, и ей очень нравилась его ра[illegible] — море кудрявой ароматной стружки, [illegible] можно играть и прятаться, желтые [illegible]ками деревянные брусья и доски, [illegible]щие инструменты.

Вот ей бы, Лидке, [illegible] учеником столяра! «Ведь смогла бы?» — [illegible] она себя. И сама же отвечает: «Конечно, [illegible] бы». Но скажешь об этом — засмеют. И Лидка молчит.

У проходной Лагуновы на минуту останавливаются. Затем отец и Сашка входят в проходную. А Лидка остается на месте. Отец уходит не оборачиваясь, а Сашка оглядывается и машет Лидке рукой.

СХВАТКА НА ДВОРЯНСКОЙ

В жизни старших произошли большие перемены. Они стали часто шептаться, уходили куда-то по ночам. Посылали Лидку друг к другу с записками. Однажды отец несколько дней подряд не приходил домой. Лидка таскала ему на работу в узелке обед. Там впервые услышала непонятное слово: «Бастуем».

Оно ей чем-то правилось. И когда ребятишки из соседних дворов спрашивали у Лидки, что она делает, куда бегает, она отвечала им гордо и коротко одним словом:

— Бастуем!

А потом появились надписи на заборах. Раньше

жде и за такие слова стегали плетьми, тащили в участок. А теперь по Садовой улице, на глазах у Лидки, прошел маляр в забрызганной красками робе и, окуная кисть в ведерко с зеленью, вывел: «Ура! Царю дали по шапке!..»

Люди на улицах обнимались, целовались, пели запрещенные песни, разбрасывали печатные листки.

Как-то внезапно вырос в глазах Лидки отец. Он стал появляться дома совсем редко. Теперь все соседи — и даже домовладелица Иродиадова — называли его уважительно: «Григорий Андреевич».

Мать тоже повеселела. Она говорила Лидке, что отец у них стал большим начальником. Но странное дело: хлеба в доме не прибавилось, сахар так совсем исчез, обувки новой тоже не предвиделось. И Лидка с недоверием относилась к словам матери. Да и как же иначе? Уж кто-то, а Лидка знает, как живут начальники! Вон через улицу дом чиновника Букреева. Его тоже зовут начальником. Так у них, у Букреевых, говорят, только птичьего молока нет. На золоте едят. Мало — золото на глазах носят. Идет Букреев, так очки-то его просто горят на солнце. А от Букреихи так приятно пахнет, когда мимо проходит, что хочется идти за ней и идти. Говорят, духи какие-то есть... Нет! Тут что-то не так. Совсем по-другому начальники живут...

Тому, что царю дали по шапке, Лидка, конечно, была очень рада. Сон никак не выходил из ее головы. И теперь можно было спать уже спокойно. Хоть и крепкая чугунная башка была у царя, а все-таки ее расколотили.

Радовалась Лидка и тому, что не стало на углу усатого городового Семеныча, который, не спрашивая разрешения, запускал на базаре руки в корзинки торговок и набивал полные карманы жареными семечками. При случае он больно крутил уши ребятне, не разбираясь, девчонка перед ним или мальчишка. Когда жильцы задерживали плату за квартиру, Иродиадова шла к нему и просила:

— Будьте ласковы, Семеныч, примите меры...

И Семеныч принимал меры. Он шел к Иродиадихе, выпивал рюмку водки, закусывал малосольным огурцом и направлялся на квартиру неплательщика.

Если у неплательщика находилась для него еще одна рюмка, то Семеныч долго раскачивал перед его носом

толстый пухлый палец с дешевым серебряным кольцом и увещевал:

— Я тя счас не трону, но ты заплати хозяйке... Чтобы все по закону.

Если же неплательщик его не угощал, Семеныч брал первую попавшуюся на глаза вещь и тащил во двор, произнося только одно слово:

— Конфискую!

Теперь Семеныч ходил без формы, без сабли. Когда-то лихо закрученные усы его повисли. Вдавленный посередине лоб, казалось, совсем раздвоился. Городовой стал вежлив и предупредителен, а Лидкиному отцу даже уступал дорогу.

Полицию и жандармов сменила милиция. Семеныча туда не взяли, хотя он и просился.

На площадях и улицах кипели митинги. Чаще митинговали в центре города. Большевики же предпочитали Постников овраг. Туда сходились рабочие Трубочного завода и железнодорожники. Лидка любила шумные и крикливые сборища в овраге. Люди здесь то собирались в одно место, то разбивались на кучки. Полюбившихся ораторов поднимали на руки, болтунов освистывали. Часто в овраге выступал отец. Говорил он не особенно складно, но люди слушали его с уважением, и, когда кончал, хлопали его по плечу, жали руки, говорили спасибо. И Лидке это было очень приятно.

Мать каждый раз, когда узнавала о митинге и о том, что там от большевиков будет выступать отец, говорила Лидке:

— Иди, Лидушка! Следи за ним. Случись что плохое — беги домой, дай знать...

Чем могла помочь маленькая худенькая мать, если отец попадет в беду, Лидка не знала, но выполняла поручение матери охотно.

Внезапно невесть откуда появился Дмитрий — черный, осунувшийся, в старенькой солдатской шинели без погон, но веселый и разговорчивый. В день его приезда в квартире Лагуновых была целая сходка. Кроме отца и Дмитрия, за столом сидел знакомый Лидке слесарь депо — бритоголовый и улыбчивый Федор Петров, железнодорожный фельдшер Иван Хрисанфович и еще какие-то молчаливые, незнакомые Лидке люди, которые мало говорили, но зато беспощадно дымили своими самокрутками. Лидке особенно понравился

солдат в аккуратной гимнастерке, с умными веселыми глазами. Его звали все не по имени, а по фамилии — Миронов.

И, странное дело, Лидке показалось, что Дмитрий, который так давно не был в родном городе, знал о городских новостях лучше остальных. Он знал даже, что будет завтра.

— Надо предупредить рабочих. Эсеры делают ставку на бабушку Брешковскую. Завтра в одиннадцать провезут ее по Дворянской...

Лидка из разговоров поняла одно: эсеры и меньшевики крепко надеются на какую-то бабушку Брешковскую. Они говорят, что бабушка лучше всех знает, какие порядки надо заводить без царя. Недаром полжизни провела на царской каторге.

Лидка уже знала, кто такие эсеры. Еще когда на заборах первый раз надпись прочитала про революцию, спросила Сашку.

— Ну кто, кто? Враги номер три — вот кто. Первый номер — буржуи. Второй — помещики. А третий — эсеры. Потом уж меньшевики идут.

Отец, узнав о классификации Сашки, потрепал его за отрастающий чубчик:

— В общем-то верно, дери тебя фуганком. В политике разбираешься. Если услышишь, кто кричит: «Война до победного конца!», «Спасение России в хозяйственном мужике!» или «Подождем Учредительного собрания!» — значит, эсер.

На следующее утро Лидка, натянув на ноги старые стоптанные ботинки, чуть свет обежала своих друзей. Не забыла даже Гаврюшку, хотя он и не входил в их число.

На место митинга ватага ребятни Троицкой улицы подоспела раньше солдат, которые, по соглашению эсеров с командованием гарнизона, должны были первыми прибыть на встречу знаменитой бабушки. Устроились кто где мог: на заборах, на деревьях. А Сашка забрался даже на каменные ворота садовой ограды.

Солдаты выстроились вдоль улицы шпалерами. Потом стали подходить рабочие, чиновники, женщины, гимназисты. Они стояли за спинами солдат, глядели через их плечи на середину пустого квадрата и громко переговаривались. И все чего-то ждали.

Лидка не успела заметить, откуда выскочила на

[illegible] красивая тонконогая лошадь с молодым и стройным всадником. Всадник картинно кланялся во все стороны и кричал:

— Граждане свободной России! По приглашению Самарского комитета рабочих и солдатских депутатов к нам приехала бабушка русской революции Брешко-Брешковская. Она имеет желание обратиться к вам с речью.

За всадником медленно двигался открытый легковой автомобиль. В нем стояла высокая старуха с морщинистым лицом. Ее поддерживали под руки женщина и мужчина. Старуха трясла головой и бросала в толпу дребезжащим натужным голосом:

— Великая народная революция победила. Поздравляю вас, граждане свободной Самары! Но у революции есть враги... Есть опасные авантюристы, способные отнять у вас великие права и свободу! Бойтесь и опасайтесь их!

Сначала люди слушали бабушку с почтением, молча. Но когда она зло и визгливо стала поносить большевиков, море человеческих голов заколыхалось. Ее перебивали выкриками и вопросами. Ровные линии солдатских шеренг стали ломаться. Кое-кто из солдат бросал строй и уходил назад, сливаясь с толпой гражданских.

Брешковская поносила большевиков и расхваливала эсеров. Она требовала верности Временному правительству, войны до победного конца и Учредительного собрания.

— Лидка, вон наши! — крикнул с ворот Сашка и показал пальцем в толпу.

Действительно, совсем неподалеку от автомобиля стояли кучкой все, кто вчера сидел в квартире Лагуновых. Они то и дело бросали реплики и вопросы, которые смущали и злили старуху.

— А как насчет земли-то, бабушка, мыслишь? Получит ее наш мужик или нет? — басом спрашивал высокий чернобородый рабочий, которого вчера Лидка видела в своем доме.

Видно было, что вопрос не очень-то устраивает Брешковскую. Она пожевала сухими губами и недовольно ответила:

— Будем уповать на Учредительное собрание. Оно решит земельный вопрос.

Черный мужчина продолжал:

— Ай и брешешь, бабка. Учредилка-то еще когда будет да когда рассудит, а у мужиков брюхо не терпит — есть хочет.

Кругом одобрительно загудели.

— Чего ты, старая, зря большевиков хаешь? — раздался высокий женский голос.— Ты нас на войну гонишь, а хлеба не обещаешь. А большевики землю готовы хоть сейчас дать да и штыки требуют в землю воткнуть.

— Правильно! — кричали с разных сторон.

— Ты своих эсеров на фронт-то пошли. Да меньшевиков вместе с ними. А то вон какие гладкие выплясывают перед народом.

Эта реплика относилась к красивому, с гордо вытянутой шеей всаднику, медленно ехавшему впереди автомобиля. Лидка позднее узнала, что это был главный самарский меньшевик Кабцан. Он зло крутил головой и, видно, хотел что-то сказать, но ничего не сказал, лишь пошевелил губами и, хлестнув нагайкой по конским ушам, поскакал вдоль улицы, потом свернул в переулок и исчез из виду.

Эсеры были в замешательстве. Бабушка еще что-то пыталась сказать, но ее не слушали. А ребятня принялась свистеть, как только Брешковская раскрывала рот.

Самый сильный свист лился со стороны губернаторского сада. Сашка, сидя на воротах, заложив три пальца правой руки в рот, левой подавал команду. И когда его рука резко опускалась вниз, Лидка, Гаврюшка, Федька-шорник, Петька-булочник и еще с десяток сорванцов с Троицкой дружно надували щеки и раздирали воздух таким могучим свистом, что люди, стоящие вдоль забора, затыкали уши и пытались схватить свистунов за ноги.

— Прекратить свист! Кому говорят, прекратить!

Несколько молодых людей в гимназической форме полезли на забор, чтобы утихомирить Сашкино войско. Один из них схватил за валенок Гаврюшку. Тот испуганно завизжал. Но гимназист все сильнее и сильнее тянул его вниз.

Кончилось тем, что гимназисты забили отбой и отступили от изгороди, захватив с собой в качестве трофея Гаврюшкин валенок. Впрочем, в руке у Сашки тоже

оказалась фуражка, которую он успел стащить с головы зазевавшегося гимназиста.

Сначала Гаврюшка плевал в сторону похитителей валенка, показывая им язык и распевая:

— Гимназисты — сопляки,
Соломенны кулаки,
Если только захочу,
Я вас всех поколочу.

Потом у Гаврюшки стала мерзнуть босая нога, и он захныкал. Лидка прикрикнула на него. Но Гаврюшка не обратил внимания на ее увещевания и заревел во всю мочь.

Гимназисты, видимо, решили пожертвовать фуражкой, рассудив, что они в большем выигрыше. Без фуражки до дому можно еще добраться, а вот без валенка по снегу — попробуй! И напрасно Сашка кричал им, махая в воздухе фуражкой. Гимназисты даже не оборачивались на его крик.

Теперь ребятишкам было уже не до бабушки. Нужно было спасать валенок Гаврюшки.

Впрочем, до Брешковской сейчас не было дела никому. Солдаты, руша строй, расходились, разыскивали друзей, земляков, оживленно переговаривались, угощали друг друга махоркой. И зря офицеры уговаривали их вернуться в строй. Торжество, задуманное эсерами, провалилось.

В одной группе солдат, стоящей спиной к автомобилю бабушки, Лидка узнала вчерашнего гостя — Миронова. Он что-то говорил своим товарищам, ожесточенно жестикулируя и пританцовывая.

«Замерзли ноги, наверное»,— решила Лидка. Она перекинулась парой слов с Сашкой, стукнула рукавицей по спине Гаврюшку, и, обрывая пуговицы на кацавейке, сползла на землю. Бегом бросилась к Миронову. Он, оказывается, стоял перед офицером, который тонким женским голосом выкрикивал:

— По какому праву бросили строй? Для вас митинг устроили, великую революционерку привезли... а вы нос воротите. Где дисциплина?

Но Миронов и его товарищи не особенно огорчились разносом. Вслед за Мироновым они все стали пританцовывать и потирать уши.

— Да ведь холодно, господин поручик,— смело отвечал Миронов за всех.— На ветру встали. И потом,

мы эти песни который год слушаем. Война до победного конца... Помещиков прогнать не смей — жди учредилку. Нам бы хорошего большевика послушать...

Офицер стиснул зубы и, резко повернувшись, бросил через плечо:

— В казарме поговорим, негодяи.

Лидка подбежала к знакомому солдату:

— Дяденька Миронов, помоги нам с гимназистами справиться.

Через минуту Миронов вплотную подошел к низенькому краснощекому гимназисту, который держал добычу под мышкой, и потянул валенок за голенище.

— Ты что это тут, гимназия, барахолку разводишь? Продаешь, никак?

Гимназисты уставились на солдата. Они готовы были все обернуть в шутку, но увидели вьющуюся под ногами Лидку и поняли, что дело принимает серьезный оборот. Однако продолжали хорохориться.

— Этих оборванцев проучить надо. Пусть босиком по снегу попрыгают,— огрызнулся толстяк.— Они в революции ни черта не смыслят. Такого человека освистали...

Но Миронов так посмотрел на краснощекого, что тот сам выпустил валенок из рук.

Лидка с гордым видом победительницы шествовала впереди. Следом шагал солдат. За ним плелся гимназист с непокрытой головой. Ему тоже пришлось несладко. Поднятый воротник шинели прикрывал уши только наполовину. Холодный резкий ветер со снегом трепал его каштановые волосы.

Получив свой валенок, Гаврюшка перестал реветь и закричал Сашке:

— А фуражку не отдавай! Мы в нее летом сорочьи яйца будем складывать.

И Сашка согласился с ним.

— Иди, барчук, домой. У тебя дома, чай, денег куры не клюют. Новую сошьют или купят.

Гимназист исподлобья взглянул на Сашку:

— Какой я тебе барчук. Отдай. Денег у нас дома не больше, чем у тебя. Богат был бы, так бы не ходил...— И он вывернул подошву своего ботинка.— Видишь, каши просят.

Сашка медлил. Солдат, заинтересованный разговором подростков, строго взглянул на Сашку и приказал:

— Чего ждешь, парень? Отдай ему фуражку! Не все гимназисты — миллионщики. Есть среди них и наш брат — голытьба. — Потом он обратился к гимназисту: — А ты, что же... влюблен в эту бабушку? Из-за чего на ребятишек полез?

Гимназист потер уши дырявыми перчатками, нахлобучил фуражку на самые брови и спокойно, без злобы, ответил:

— Плевал я на [illegible] в компанию полез. Давай, говорят, свистунов [illegible]! И [illegible] куда мне от своих? И полез.

В НОВОЙ КВАРТИРЕ

Следом за царем скинули какого-то временного Керенского. Когда это произошло, отец, хотя и не верил в бога, сказал матери, тяжело [illegible]:

— Ну, слава богу, от Николашки избавились, Сашку Керенского свалили. Теперь держись, Федоровна! Не выпускай из рук рабочую власть. Держи ее во как! — И отец, крепко сжав два кулака, потер их друг о друга.

Лидка несколько дней подряд приглядывалась к матери — как та будет держать рабочую власть. Но так и не заметила. Мать по-прежнему варит борщ, стирает белье, чинит одежду. Ей явно не до власти. Революция победила, а она никак не переменилась. Зато отец с каждым днем становится все интереснее. Правда, ходит в старой косоворотке, но вместо ватника носит кожанку, а под ней на бедре висит маузер в деревянной коробке. Называют его теперь «товарищ комиссар». Оказывается, рабочие-железнодорожники выбрали его начальником второй дистанции пути. А так как отец партийный, то это все равно что комиссар. Приходит домой поздно. Вынимает из карманов какие-то бумаги. Сашка как-то робко предложил ему:

— Ты бы, пап, портфель купил. Бумаги-то мнутся. Ведь все-таки начальник.

Отец покраснел и рассердился:

— Поговори у меня. Чтобы я, пролетарий, да портфельчики чиновничьи носил — шалишь. Хорошо и в карманах. По-рабочему...

Появилась у отца новая привычка. В минуты задум-

чивости жует бороду. Мать не раз ругала его за это. А он отвечает смущенно:

— Ты понимаешь, какое положение, Федоровна. Доверили мне людей и машины. А у меня по этой части ученой (он стучал себя по лбу) кот наплакал. Уж очень не хочется, чтобы дело-то шло хуже, чем при царском режиме. Вот и крутишь мозгами и бороду кусаешь, дери его фуганком...

В один из зимних вьюжных дней Лагуновы получили новую квартиру. Дмитрий принес какую-то желтую бумагу, сложил ее вчетверо и щелкнул твердым углом по носу каждого из ребятишек.

— Ордер! — поднял Дмитрий бумажку над головой.— Переезжаем в буржуйский дом. С полной мебелью. Ясно?

Дом был большой, каменный. Во втором этаже пять комнат. И все Лагуновым. Сбежавший хозяин — жандармский полковник — забрал только одежду и легкие вещи. Осталась старинная мебель, кухонная посуда, картины, иконы, ковры.

Мать с непривычки первые дни ходила сама не своя, всплескивая руками, дивясь неожиданному богатству. Зато малыши сразу оценили достоинства новой квартиры и откровенно выражали свой восторг, катаясь по разостланным на полу коврам.

Три дня прожили, как в сказке. Каждый спал, где считал удобным. Хватало и кроватей, и диванов. Ничего не убирали, не переставляли. На четвертый день отец сказал матери, показывая на стены, увешанные портретами и картинами:

— Эти генералы нам ни к чему. Иконы тоже не к месту.

Мать послушно сняла со стен портреты людей с эполетами и крестами. Но насчет икон сказала:

— Может, оставим, Григорий Андреевич? У нас ведь никогда таких не было. Ишь какие красивые да чистые.

Отец пожал плечами:

— Темная ты у меня еще, Марья... Дурман в голове...— И он покрутил около лба пальцем. Уходя, уже с порога сказал: — Вон с младшими комиссарами посоветуйся. Они в политике народ заостренный.

Младшие комиссары — Сашка и Лидка — тотчас же приступили к обсуждению вопроса. Сашка стоял за то, чтобы немедленно снять все иконы и сжечь их в печке.

— Срам, — сказал он. — Большевики в бога не верят. А у нас полон дом святых...

Лидка не раз слышала, как ругали бога отец и его товарищи, и ничего против того, чтобы считаться безбожницей, не имела. Но она полагала, что бог был. Только его скинули вместе с царем. Как только не стало Николашки, не стало и бога. И она ожесточенно спорила с Сашкой:

— Нет, был... Нет, был... Я во сне видела, когда царь папку розгами сек. Ему эти розги Иродиадиха еще подавала...

Сашка, опешив, смотрел на Лидку, раскрыв рот. Потом вдруг громко захохотал:

— Ой, уморила! Да когда царь папку пороли, тебя еще и в живых не было.

Лидка обиделась и прекратила спор, буркнув только:

— Больно умный.

Она смотрела на иконы и деловито снимала их одну за другой со стены. Вот Иисуса Христа распятого надо снять. Неприятно. Мучается человек, кровь течет по телу. А его напоказ. Богородицу с младенцем на руках тоже снять. Уж больно у нее лик скорбный. Нечего тоску наводить... И черному Николаю-угоднику со злыми глазами нечего тут делать. Страшный он. Смотрит на тебя, как будто укусить хочет. У Варвары-великомученицы такой вид, ровно месяц не ела. В такой светлой квартире, где все от сытости лопалось, не могли чего-нибудь другого, повеселее повесить.

Единственная икона, которую жалко трогать, похожа на цветную яркую картину. Она изображает красивого всадника на белом, выгнувшем шею коне. Всадник держит в руках длинное золотое копье и вонзает его в пасть громадному змею.

Ее Лидка не дала трогать. Мать, обрадованная поддержкой, сказала Сашке, который снимал иконы:

— Эту не трожь, вместо картины будет...

Сашка не стал спорить. Он отошел от двери, посмотрел на Георгия Победоносца оценивающим глазом и согласился:

— Вид-то у него в самом деле ничего. Только вот оклад золотой, буржуйский, вовсе ни к чему...

Так и осталась в новой квартире комиссара Лагунова икона с красавцем Георгием Победоносцем.

Со второго этажа на улицу имелось два выхода —

парадный и черный. Отец рассудил, что не дело иметь рабочей семье пять комнат, и приказал матери сгрудиться в трех, что поближе к черному ходу, а две с парадным отдал под штаб военным морякам.

— Ну чего ты насупилась? — уговаривал он вечером мать.— Куда нам такой дворец? Не натопишься! Раньше жили в одной, да и то ничего — не жаловались, все умещались. А теперь трех мало? Вот ведь как буржуйские замашки быстро у нас появляются. Может, тебе весь дом отдать? А?

Мать смущенно сморкалась в передник:

— Да ведь кому не хочется пожить-то по-человечески. Только было привыкать начали...

— Вот и хорошо, что не совсем привыкли! Потеснимся немного, тогда уж можно окончательно привыкать,— обрадовался отец.— А соседи у нас будут замечательные ребятки. Братишки... Моряки из финского города Або,— подмигнул он Клавдии и Септимии, которых давно уже в семье звали невестами.

Моряки пришлись по душе Лагуновым. Они были здоровые, рослые и веселые. За уши хватал мороз, а они ходят без шапок, в легоньких бескозырках с ленточками, в коротеньких бушлатах с блестящими медными пуговицами. Штаны у них не пузырятся на коленях, как у других мужчин, а всегда гладко выглажены. В комнатах, которые им отвели, часто дымно, но никогда нет грязи.

В одной комнате у них помещался штаб. В другой стояла пирамида винтовок, ящики с патронами и два пулемета в чехлах. В штабной на стене кнопками приколота большая карта. Когда Лагуновы вполне освоились с новыми соседями, старшие сестры — Клава и Сепа — отнесли к ним несколько горшков с цветами, повесили на окна занавески, и комнаты моряков сразу приобрели уютный обжитой вид.

Трудно сказать, на какой половине, на своей или матросской, Лидка проводила больше времени. Ее неудержимо тянуло туда. Все нравилось ей в штабе: и обстановка, и люди. Особенно по душе ей пришлись двое: командир отряда — широкоплечий рябоватый матрос Артем Почитайло и комиссар — стройный голубоглазый Ганс Гансович Луйк.

Оба частенько приходили пить чай к Лагуновым. А если отец возвращался рано, то шел к ним. Сидели,

разговаривали, пили чай и даже пели песни. Иногда отец брал с собой Лидку. Но чаще всего она вертелась уже там. Он не гнал ее. Сажал на колени и начинал выкладывать свои новости.

Однажды, когда на улице бурлила и ярилась страшная вьюга, отец вернулся в штаб и, скинув с головы кожаную замасленную фуражку, сказал:

— А ну, братва, угадайте, куда еду?

В это время шли бои с Дутовым.

— В оренбургские степи? — попробовал догадаться Артем.

— Бери выше!

— В деревню за хлебом для Москвы...— разрезая пайковый каравай на тонкие ломтики, сказал Луйк.

Отец приподнялся со стула, выпрямил грудь, одернул куртку и, надев фуражку, приложил руку к козырьку:

— Избран делегатом в Москву. На Первый Всероссийский съезд железнодорожников. Говорят, Ленин нас собирает. Вот так...

В комнате воцарилось молчание. Москва... Ленин... Моряки завидовали отцу. Завидовала ему и Лидка. Она первая нарушила молчание:

— Пап, возьми с собой. Я только разок посмотрю на Ленина. Одним глазком...

Отец любовно потрепал ее за ухо:

— Там у маленьких голова кружится. Того и гляди, дери тебя фуганком, под трамвай попадешь. Вырастешь, подучишься, ума накопишь — сама поедешь.

Отец совсем не больно, больше для виду, щелкнул Лидку по лбу:

— А теперь марш домой. У нас мужской разговор пойдет.

Днем моряки брали из пирамиды винтовки, перепоясывали себя пулеметными лентами и куда-то уходили: не то на учение, не то на обыски и облавы. Иногда в пирамиде оставалась одна-две винтовки. И тогда Лидка приставала к Луйку:

— Дяденька Ганс, дайте мне ружье... Я стрелять хочу научиться...

Эстонец Луйк, не совсем чисто говоривший по-русски, клал ей на голову сухую горячую руку и старательно, неторопливо подбирал слова:

— Рано, девочка. Очень рано. Твоя жизнь — цветы,

куклы, игрушки. Прыгай, веселись... Мы как-нибудь сами.

Лидка уходила обиженная. Шептала про себя:

— Куклы, цветы... Это поповской Нинке сказать... Небось была бы мальчишкой, сами бы попросили...

И все-таки Лидка добилась своего. Пусть не в матросском отряде, так в рабочей дружине. На Ярмарочном спуске, у самой Волги, учились владеть оружием молодые дружинники Трубочного завода. Лидка стала ходить туда...

«Здесь не прогонят, — думала она. — Тут и моложе меня есть. Пристану к командиру и не отступлюсь, пока не добьюсь своего».

Она немного кривила душой. Ребят моложе пятнадцати в ополченческую дружину не записывали. А девушек допускали только с семнадцати. Но когда стало ясно, что от Лидки так просто не отвязаться, командир дружины, давний знакомый Лидкиного отца, сказал ей:

— Ну ладно, не канючь... Обучу... Только боюсь, как бы и себя и нас не перестреляла.

— Вот тебе крест, Пал Палыч, только во врага. — И Лидка быстро перекрестилась.

Пал Палыч усмехнулся:

— Ну вот, Лидушка, условие. Стрелять я тебя научу. Только ты обязательно научись и перевязки делать. Нам ты как санитарка важнее, чем стрелок. Бои будут — раненые появятся. За ними уход нужен... Поняла?

Дома она сообщила об этой новости только Сашке. Он не высказал зависти: сам ходил обучаться стрельбе из винтовки в железнодорожную дружину. Но у него была своя новость, от которой Лидкины выгоревшие брови полезли высоко вверх.

— К папке тот полковник армянский приходил...

— Зачем?

— Просил заступиться. В его дом бедных вселяют.

Лидка засмеялась, вспомнив, как влепила в спину полковника резинового льва.

— Папка его выгнал?

— Нет, не выгнал... Сказал — если полковник согласится учить железнодорожников стрелять из пушки, так Совет еще посмотрит, теснить ли его.

— Согласился?

— Дайте, говорит, подумать. Ну, отец ему и дал два дня. Не согласится. У него буржуйская душа.

— Конечно, — подтвердила Лидка. — Буржуйская. Я поняла, когда он десятку отцу совал.

...Лидка лежит на бугорке ржавого ноздреватого снега, прижав приклад к плечу и прищурив глаз, целит в мишень. Мушка прыгает, и мишень прыгает. Когда Лидка выстрелила в первый раз, со страху закрыла глаза.

— В белый свет, как в копеечку, — огорченно махнул рукой Пал Палыч от мишени. — Не твое это дело, девка...

Но потом Лидка стала привыкать. Уже не жмурилась и не тряслась мелкой дрожью при выстреле. Даже стала попадать в мишень. Вот только тяжело переносила отдачу. Плечо болело, даже вспухло. Но постепенно и это прошло.

Сначала Пал Палыч сам заряжал Лидкину винтовку. А потом она попросила его:

— Я сама, Пал Палыч. Знаю как...

И оконфузилась.

Командир дал ей трехлинейку и обойму с патронами. Лидка отвела затвор назад. Вставила обойму и стала утоплять патроны. Пятый патрон никак не влезал в гнездо под затвор.

Пал Палыч, посмеиваясь в черные усы, наблюдал за ее бесплодными усилиями. Потом, когда она, покрасневшая, готовая от обиды и злости разреветься, спросила его, в чем дело, он взял у нее винтовку.

— Смотри, дурочка. Пятый совсем не утапливается. Он не под затвор идет. Туда влезают только четыре. А пятый в лапки затвора и раз... в ствол. Ясно? — И он закрыл затвор.

Лидка облегченно вздохнула, повторила — полу́-лось, и устало опустила руки:

— Ой, спасибо, дядя Павлик!

Одним усом ухмыльнулся Пал Палыч, другим грозно встопорщился:

— Ты что, не знаешь порядка? Где находишься? Как с командиром разговариваешь?

Но Лидка была уже далеко.

Она замучила всех и дома. Превратила квартиру в «лазарет»: укладывала младших братишек и сестренок на пол и делала им по очереди перевязки. Малышня не возражала. А Женька, например, так почти нату-



рально разыгрывал раненого. И стонал, и скрипел зубами, и даже просил пить. Лидка оказывала первую медицинскую помощь даже грудной Ленке.

Отец ничего не имел против ее увлечения медициной. А о том, что она учится стрелять в боевой дружине, он не знал.

Мать, как всегда, ворчала сначала, а потом махнула рукой и только посмеивалась:

— Ох, изведешь ты у меня на бинты все генеральские портянки. Приедет генерал, что я ему скажу, как оправдаюсь?

Мать звала сбежавшего полковника генералом.

Все, кажется, хорошо и мирно было в многолюдном семействе Лагуновых. И вдруг скандал: мать нашла под Лидкиной подушкой две пригоршни медных гильз. На этот раз она не стала защищать дочь и отдала находку отцу. Тот вечером при Дмитрии и Сашке устроил Лидке допрос:

— Где взяла?

Лидка хотела сказать, что выиграла в бабки, но язык не повернулся сказать неправду. Серые прищуренные глаза отца смотрели строго и требовательно. И Лидка рассказала все. Она думала, что он будет ругать ее за самовольный уход в дружину. Но его, оказывается, больше занимало другое:

— Ты что же это, не знаешь, вояка, что есть приказ — все гильзы стреляные собирать и отдавать дежурному по стрельбам?

Дмитрий думал о чем-то о своем, курил и ходил большими шагами по комнате. И Сашка, видимо, не сочувствовал Лидке: укоризненно покачивал головой. Но все-таки он высказал предположение:

— Может, у них не объясняли.

Лидка виновато опустила голову. Чуть не каждый раз Пал Палыч говорил: «Вы, ребята, гильзы не бросайте и домой не уносите. Они снова в дело пойдут. Патронов у нас мало. С металлом плохо, особливо с латунью да медью. А по всему видать, воевать еще ой как долго придется... А ты принимай по счету! — кричал он дежурному.— Сколько выстрелил, столько и гильз стребуй».

Но как ни строг был контроль, а Лидке каждый раз удавалось уносить в кармане одну-две гильзы. Так и накопилось. Да разве удержишься от соблазна! Ведь

во время игры в бабки за одну гильзу две пары панков дают... А если еще скажешь: «Моя гильза. Сама выстрелила»,— сколько удивления и славы-то будет!

Кончился разговор тем, что отец велел отнести назавтра все гильзы Пал Палычу и выпорол Лидку ремнем. Пристыженная, вся в слезах, выскочила она во двор и впотьмах налетела на Артема.

Моряк, почувствовав, как дрожат ее плечи и ломается голос, удивленно хмыкнул, прикрыл ее полой бушлата и повел к себе.

— Ты что же это соленую воду глотаешь? Смотри, ни один матрос такую замуж не возьмет. Моряки, они невест с сухими глазами любят.

Ганс Гансович Луйк тоже был в штабе. Он оторвался от своих бумаг и, взглянув поверх очков на Лидку, вдруг спросил:

— Неужели вот эта плакса, девочка с водяными глазами, собиралась ехать к Ленину?

И у Лидки мгновенно высохли глаза.

Моряки согрели ее, посадили за стол, напоили чаем, выслушали ее грустную историю.

Ганс Гансович вертел очки вокруг пальца.

— Кто же виноват, по-твоему?

Лидка тяжело вздохнула.

— Не знаю.

Ганс Гансович переглянулся с Артемом и сказал ему:

— Девочка обижена, устала. Расскажи ей сказку.

Лидка, вытирая рукавом слезы, приготовилась слушать. До сказок она великая охотница и готова слушать их днем и ночью.

Артем допил стакан чаю, вытер полотенцем красную шею и начал:

— В некотором царстве, в некотором государстве произошла революция. Это значит: царю по шапке, ба рам по затылку, панам по усам, а жандармам пол хлястик. Всем кому куда положено. Ну, не всем, конечно, дали. Кое-кто и спрятался, притаился, думает «Ничего, придет наш час, мы этой революции шею сломаем».

Лидке хотелось перебить его и поправить: да в каком же царстве, если это так и есть в нашей России! Но посмотрела, как внимательно, с задумчивой улыбкой слушает Артема Ганс Гансович, и тоже промолчала. Оружия при

— Слуги царевы ... народ хитрый.

[illegible] уйму. А заводы, где его делают, разрушили.

Долго ли, коротко ли Революция по стране той гуляла, вдруг у нее объявляется враг: буржуйский атаман Дутый.

«Да какая же это сказка? — с удивлением думает Лидка. — Это и не сказка вовсе. И никакой не Дутый атаман, а Дутов. Уж не смеется ли Артем? Нет, не смеется!»

— Вот и начал [illegible] с Революцией драться. Пальба идет — не [illegible]! Дым, огонь, пушки стреляют, сабли [illegible] рвутся. Гнется Дутый. Валит его Революция. И вдруг ему заморские буржуи патронов [illegible]. Обрадовался Дутый. «Теперь, — говорит, — я [illegible] всыплю». А командир, который [illegible] Революции командует, приуныл. Что делать? [illegible], сабли притупились, гранаты все [illegible], последние патроны остались. Сидит и горюет.

Вдруг звонит ему Ленин из Кремля: «В чем дело? Почему Дутый обрадовался?»

«Так и так, — отвечает командир, — оружия нехватка, патронов в первую очередь».

Ленин за бока оружейников: «Чтоб мне вмиг для фронта патроны были!»

А оружейники почесали головы и отвечают: «Мы бы всей душой, Владимир Ильич, да одна загвоздка вышла».

«Какая загвоздка?»

«Да вот у нас все готово: и пули, и порох, и капсюли, а вот гильз не хватает. На стреляных гильзах живем. Их используем. Чувствуем, что должны они быть, а вот не найдем. А куда они задевались — ума не приложим...»

Задумался Ленин, а потом говорит: «Ну, я сейчас. У меня аппарат такой есть. Посмотрю в него — сразу найду, кто виноват».

И верно. Посмотрел он в аппарат и выкладывает оружейникам: «Знаю, товарищи, кто гильзы схоронил. Есть в Самаре девочка одна, в рабочую дружину записалась. Так вот она стреляные гильзы домой таскает. Поезжайте к ней и быстро мне патроны делайте. А то Дутый уже близко. Вот-вот на Волге будет».

У Лидки широко открылись глаза. Стыд-то какой!

До чего дошло! Даже Ленин знает, что она украла гильзы.

Лидкина голова горела. Что же делать? И как за соломинку, она ухватилась за мелькнувшую спасительную мысль:

— Дяденька Луйк, а из золота нельзя патроны делать?

Ганс Гансович спрятал смеющиеся глаза в очки.

— Можно, только дорого. Но за золото всегда можно меди и латуни купить.

Лидка встала среди ночи. Поставила на стол табуретку, сняла со стены Георгия Победоносца и оттащила его на кухню. Орудуя тупым ножом, она чуть не до утра провозилась с иконой, отдирая золотой оклад. Теперь конь Георгия не так гордо выгибал свою шею, копье потускнело. Глаза у Победоносца стали какими-то мутными и безразличными. Лидка решила, что от такого святого мало проку, и он оказался за печкой.

Утром чуть свет, прихватив с печного шестка две медные кастрюли, набив карманы гильзами, тщательно завязав в старый ситцевый платок золото с иконы, Лидка помчалась к Трубочному заводу. Долго и настойчиво упрашивала сторожа в проходной вызвать Пал Палыча. Тот все отмахивался:

— Работа... Нельзя.

Но наконец не выдержал, позвонил по телефону, и Пал Палыч вышел за ворота.

— Ты что это в такую рань? — удивился он.

— Вот! — И Лидка стала всовывать в его большие руки гильзы, посуду, оклад. И опять было непонятно ей: что же это он такой равнодушный — Пал Палыч, как будто ему каждый день такие ценные вещи носят?

— Это ведь золото,— не выдержала Лидка, ткнув пальцем в тугой комок оклада.

Пал Палыч царапнул черным ногтем блестящую поверхность металла и повернул Лидке его обратную сторону.

— Держи карман! Чистая медь с позолотой. Ну да ничего — пойдет.

Когда Пал Палыч ушел, сторож ворчливо сказал Лидке:

— Надо было человека от дела отрывать. Отдала бы мне — не пропало бы. Видишь, сколько навалено... С утра до вечера несут.

Верно: весь угол будки был завален медной, латунной, оловянной посудой. И среди чайников, кастрюль и сковородок торчали желтые гвоздики гильз...

КРАСНЫЕ СЫЩИКИ

Очень хорошо жить в буржуйском доме. Тепло, просторно. А высунешь нос на мороз — и начинаешь приплясывать. Одежонка-то старая. Какая была при царе, такая и осталась. Но в разгар декабрьских метелей отец как-то вечером принес на плече туго набитый мешок.

Обрадованная мать кинулась к мешку, торопливо стала его развязывать. Должно быть, знала, что в нем.

— Ну, наконец-то позаботился о детях.

Отец опустился в плюшевое кресло, снял сапоги, долго оттирал окоченевшие пальцы. Потом, как бы спохватившись, поправил мать:

— Государство позаботилось. Рабоче-крестьянская власть...

— Чего же она, твоя Советская власть, о комиссаровых детях позже других заботится? У всех соседей ребятне и пальтишки и шапки выдали. Даже валенки и то кое-кто получил, — ворчала мать, возясь с тугим узлом.

Отец все делал на совесть. Даже узлы.

В другое время он давно бы, наверное, уже сам помог жене, а тут сидел в кресле и злился. Слова ее, должно быть, больно обижали и задевали его.

— Ох и темные же вы люди, бабы, дери вас фуганком. Революция пришла, просветила людям головы, а до ваших мозгов так и не добралась. А ведь это же при старом режиме каждый прежде всего о своей шкуре пекся. Хорош бы я был большевик, да еще комиссаром названный, если бы раньше, чем мои рабочие, на своих детей обувку да одежду получил. Не хватало еще, чтобы вылез на трибуну да гаркнул: «Давай мне в первую очередь! У меня заслуги, я революцию делал. Я начальство. А остальным — что останется». Так, что ли, Марья?

Но мать и сама поняла, что хватила через край... Она подняла на отца виноватые глаза. Отец сразу смягчился и повеселел.

— Эй, оравушка лагуновская, дери вас фуганком! Ну-ка налетай — расхватывай! Помогай мамке обновки вытаскивать.

Лидка не раз удивлялась, как это у родителей часто за одну минуту меняются отношения. Бывает, надутые, сердитые друг на друга целый день ходят, а вот как-то умеет мать так взглянуть на отца, что от его обиды никакого следа не остается сразу.

У отца тоже был свой способ. Злится она — не подходи, укушу! А он подойдет, проведет ладонью по ее голове, и сразу другой делается мать. Добрая, ласковая. И к отцу и к детям.

Ребятня сыпанула из всех углов и комнат на клич отца, окружила мать и потянулась руками к непокорным завязкам. Но так как всем сразу захотелось показать свою ловкость и проворство, то кроме толкотни, ничего не получилось. Тогда Лидка сообразила:

— Давайте проверим, у кого самые ловкие зубы! Ребятню это заинтересовало.

— Ну, значит, зубами развязывать?

Предложение было с восторгом принято. Самые ловкие зубы оказались у Женьки. Он ими, как острой пилой, перегрыз завязки мешка, за что получил право вытряхнуть на ковер его содержимое.

Радость получения зимних обновок можно было сравнить разве только с днем вселения в новую квартиру. Через пять минут Настя щеголяла в толстом драповом пальто с меховой оторочкой на воротнике и рукавах. Женька крутил на голове фасонистую финскую фуражку с ушами, которая застегивалась под подбородком медными кнопками, и притопывал мягкими-мягкими расписными чесанками. Такие белые чесанки с красными и синими волнистыми разводами носил до революции хозяин маленькой скобяной лавки на Троицком рынке. Ребятишки всегда восхищались ими и завидовали купцу. Теперь не надо завидовать. Каждый может погреть ноги в чудо-валенках.

Борька уткнул нос в меховую женскую горжетку, которая досталась по ордеру на Лидкину долю, и никак не хотел ее отдавать, до того она ему понравилась. От горжетки исходил незнакомый тонкий и очень приятный запах. Он-то и свел с ума впечатлительного Борьку. Ребятишки по очереди нюхали мех и, зажмурив глаза, удовлетворенно качали головами. Они, конечно,

ожидали, что Лидка сейчас коршуном налетит на младшего брата и отобьет у него то, что принадлежит ей по праву. И хнычь не хнычь Борька, упирайся не упирайся, а никуда ему не деться. Кто-кто, а уж Лидка умеет постоять за себя.

Каково же было их удивление, когда она даже не прикоснулась носом к горжетке, издали втянула в себя воздух, сморщилась и в тоске спросила отца:

— С какой-нибудь буржуйки, поди... Да?

Отец пожал плечами:

— Наверно. Советская власть еще своей одежды не шьет. Не успела. Выдают по ордерам, что в магазинах осталось и что в брошенных буржуйских домах найдено. А что тебе — не нравится?

— Не буду я буржуйские тряпки носить. Пусть Борька, если хочет, таскает... А я вот это пальто.

Борькино пальто было обыкновенным стеганым ватником. Лидка ловко подвернула его рукава, влезла ногами в поношенные фетровые боты. Боты, видимо, тоже из брошенной богатой модной обуви, но белый фетр давно уже потерял свой первоначальный цвет, каблуки были стоптаны, края голенищ пообтрепались. Это Лидку вполне устраивало.

Если, конечно, говорить честно, то сначала у нее было желание дать хорошего тумака этому прощелыге Борьке, чтобы знал свое место. Но она тут же представила себя в этой раздушенной горжетке среди дру жинников Пал Палыча, представила, какими взглядами ее встретят, как ехидно будут называть «барышней» или «гимназисткой», и у нее не то чтобы безразличие, а настоящая ненависть появилась к этой барской одежде.

Такое случалось с ней и раньше. После истории с армянским князем Бергосяном, например, Лидка смотреть не может на цилиндры. Не терпит узких рукавов, особенно когда из узкого рукава еще кружевной платочек высовывается. Это из-за Иродиадихи.

Мать с отцом смотрели на кутерьму с переодеванием, и творилось с ними что-то неладное. У отца часто-часто подрагивала правая щека, а у матери мелко дрожал подбородок. И время от времени отец клал свою большую руку на маленькую руку матери.

От этого мимолетного движения мать успокаивалась.

Первым гостем в доме Лагуновых стала Иродиадиха.

Она зачем-то пожаловала к Лагуновым, когда отец был еще на работе. Изменилась домовладелица так, что если в лицо не посмотришь — и не узнаешь. Сгорбилась, стала похожа на монашку. На плечах старая вытертая кацавейка. Ноги в растоптанных валенках. Сначала, когда она вошла в дом, робко поклонилась и спросила, дома ли Григорий Андреевич, Лидка думала, что под кацавейкой у нее все то же, что и раньше,— модное платье с медальоном. Нет. Ничего подобного. Когда мать предложила ей раздеться и подождать отца, оказалось, что нет на вдове ни платья, ни медальона. Старая юбка из какой-то дешевенькой материи да фланелевая кофта, точно такая же, какую носила кухарка чиновника Букреева.

Сначала Иродиадиха сидела чинно и смирно на уголке стула. Потом, когда ребята стали из соседней комнаты таращить на нее глаза, спохватилась и полезла в глубокий карман юбки.

— Совсем забыла... Ох, память стала... Я же вашим ребятишкам, Мария Федоровна, мятных лепешечек принесла... Ну-ка, дружочки, подходите сюда... Примите угощение от тети Фроси...

Глупые Борька и Настя, которые уже нарядились в свои обновки, чтобы идти на улицу, не выдержав искушения, подходят. Лидка моет на кухне посуду. Но двери из комнаты открыты, и она слышит, как Иродиадиха сладким, приторно-ласковым голоском говорит:

— Да, да. Я, знаете, всегда хорошо относилась к вам и вашим детям. И у меня давно мелькала мысль собрать что-нибудь из своих носильных вещей и перешить на ваших девочек. И, ей-богу, если бы я сегодня не увидела, как прекрасно они одеты, я бы завтра же это сделала... Но посмотрите, какое чудо эта опушечка на Настенькином драпе!

Лидка от злости даже посуду перестала мыть. «Вот жадина-говядина! Так и юлит. Жди от нее. Подарит... Пришла у отца, поди, что-нибудь выпрашивать».

Лагуновы жили на новом месте, но старых друзей не забывали. И Лидка стала бегать к своим дружкам и подружкам на Троицкую, где жили раньше. Бывала она и на своем старом дворе. Ребята рассказывали, что Иродиадиха теперь совсем переменилась. Выскочила однажды на улицу утром и завопила что есть мочи:

«Караул! Ограбили!» И в самом деле, из одного окна была выставлена рама. Соседи хотели вызвать милицию, но Продиадиха отмахнулась от них, закричала, что теперь поздно и все равно ей при новой власти умирать в нищете. С того дня она стала одеваться, как побирушка, и торговать жареными семечками у ворот своего дома. И на квартиру теперь пускает она не чиновников и офицеров, а простых рабочих. Вот уже три недели живет у нее человек в промасленной тужурке и старых латаных штанах. У него даже лицо перепачкано всегда машинным маслом, как будто никогда не умывается. И живет он [illegible] комнатах Продиадихи, входит и [illegible] парадного крыльца.

В доме чиновника [illegible] тоже появился квартирант. Ходит в [illegible], в шляпе, а под пальто у него костюм и [illegible], на руке — часы.

Генка Лозняков [illegible] Лидке при встрече:

— Чего это Продиадиха [illegible] к воротам и продает семечки, когда ее новый квартирант домой приходит? Может, он ее выгонит? [illegible]?

Лидка, недолго думая, дала свое объяснение этому факту:

— Она духу рабочего класса не переносит. Когда мы у нее жили, она отца тоже не переносила. Вот потому и уходит. А собак она оставила?

Оказывается, оставила только самых больших, которые умеют охранять дом и лаять на чужих людей.

Вот тут Лидка удивилась:

— А как же воры забрались, если собаки дом охраняют? Почему же они не лаяли?

Но этого никто из ребят объяснить не мог.

Лидка угадала: старостиха пришла просить у отца помощи. Едва он переступил порог, как она чуть ли не на колени хлопнулась:

— Очень прошу вас, умоляю, Григорий Андреевич, спасите беззащитную женщину. Вы же знаете, я всегда была добра к вашей семье... Спасите!

— Марья, что это за фокусы? — удивленно спросил отец, пятясь к двери и брезгливо отстраняясь от длинных когтистых пальцев Продиадихи, которые тянулись к нему. — Что ей надо? Зачем она пришла?

— Да я не знаю, Гриша. Говорит — несчастье, а какое — не открылась, — простодушно ответила мать.— Да ты бы выслушал. Сколько лет вместе жили...

— Вместе... — криво усмехнулся отец и хотел, видимо, добавить соленое словечко, но, заметив, что за ним с откровенным интересом следят глаза ребят, смягчился.— Ну хорошо. Что у вас за несчастье?

— Не выручите — по миру пойду! — запричитала старостиха и согнулась перед отцом, как перед иконой.— Буду за вас всю жизнь бога молить...

Отец начал терять терпение:

— Покороче и без причитаний нельзя, гражданка Иродиадова? У меня времени только на тарелку щей. Уходить надо.

Иродиадиха заторопилась. Захлебываясь словами и слезами, сообщила о том, что ее обокрали, «все до нитки вынесли», а теперь дом отнимают. Ей всего две комнаты отводят в нижнем этаже.

— Пусть хоть половину оставят. Я даром буду пролетариатов на жительство пускать. Пусть только оставят. А мне самой хватит и двух комнат...

Отец немного успокоился. Сделал матери знак рукой, чтобы подавала на стол.

— А зачем вам, мадам, половина дома? Ведь в половине-то комнат пять будет. Если говорить честно, вам одной-то и подвальчика, в котором мы жили, вполне хватит.

Клава только что вернулась с работы, но уже поняла, о чем разговор, и к восторгу Лидки с ехидной укоризной обронила:

— А про собак-то ты забыл, отец? Куда же собак-то?

Отец рассмеялся.

— Об этом не подумал. В общем, госпожа Иродиадова, все правильно. Считаю, что жилищная контора слишком добра к вам. А пролетариат в вашей милости не нуждается. У него теперь власть — он хозяин. Неужели, дери вас фуганком, непонятно?

Щи, хоть и без мяса, источали аппетитный запах распаренной кислой капусты. Отец махнул ложкой, давая понять, что разговор окончен, и принялся быстро есть.

У Иродиадихи по лицу пошли красные пятна. Глаза зло заблестели:

— Ну, спасибо, товарищ комиссар. Спа-си-бо за вашу доброту. Отольются вам мои вдовьи слезы. Ох, отольются...

Она, видимо, еще хотела что-то сказать гадкое и

угрожающее, но вовремя спохватилась и выскочила, громко хлопнув дверью, на лестницу.

Мать укоризненно качала головой, прижав к груди руки:

— Ну зачем ты ее так ошпарил, отец? Ведь у нее горе...

Тут свое слово сказала и Лидка:

— Какое горе? [illegible] сколько жило в подвале. И то ничего, [illegible] и подавно хватит. А что обокрали [illegible]. Почему же собаки на воров не [illegible]?

Отец [illegible] благодарил мать за обед и, проходя мимо Лид[illegible] [illegible] по голове.

— Тебе бы, дочь, [illegible] [illegible]щики записаться. Ишь как соображаешь! Значит, вор свой был, раз не лаяли.

— И я так же подумала.

Отец подал великолепную мысль. Красные сыщики... Это же здорово! И Лидка буквально на следующий же день приступила к вербовке отряда.

Метель кружит по улицам, загоняет бездомных собак в чужие подворотни. А [illegible] товарищам хоть бы что. Они выслеживают [illegible] врагов». Инструкцию на этот счет Лидка дала «красным сыщикам» довольно определенную:

— Значит, перво-наперво, которые в котелках... В них еще перчатки кладут... А если женщина в узком платье — тоже... И вообще, кто одет, как буржуй,— за тем и следить.

Через два дня Генка Лозняков заметил:

— Лид, а Лид... Зимой-то в котелках этих, или, как их, никто не ходит. Холодно, наверное. И платье тоже не увидишь сквозь пальто. Может, какие другие приметы есть?

Лидка задумалась. Но, не желая подрывать своего авторитета долгим раздумьем, тут же решила:

— Ладно. Давайте следить за теми, кто не похож на рабочих.

«Красные сыщики» согласились. Скоро в сфере их внимания оказался и квартирант чиновника Букреева.

Им занялась сама Лидка. Она заметила, что квартирант очень уж часто поглядывает на Иродиадиху, продающую семечки, а порой, непонятно зачем, прогу-

ливается и по двору ее бывшего дома,— бывшего потому, что больше он ей уже не принадлежал.

Гаврюшка напал на след какого-то подозрительного человека в пестром клетчатом шарфе. Человек встречался у газетных будок с пронырливыми молодыми людьми и что-то передавал им из рук в руки.

Гаврюшку принимали в «красные сыщики» не просто и не легко. Сначала решено было ему в приеме решительно и безоговорочно отказать, поскольку он есть представитель враждебного буржуйского класса. Но когда Гаврюшка от такого оскорбления заревел во всю мочь и заявил, что никакой он не класс и хочет быть сыщиком, ему устроили политический экзамен, который он с честью выдержал. Экзамен был сложный. Грамотный Генка Лозняков написал на бумажке: «Никакого бога нет, а ты, поп,— дурман для народа». Гаврюшка должен был аккуратно перерисовать эту фразу на поповский забор. Кроме того, Гаврюшке полагалось три раза крикнуть, чтобы все слышали, бывшему городовому Семенычу: «Где твоя селедка, царский холуй?»

А теперь вот Гаврюшка выследил какого-то заговорщика в цветном шарфе и доказал, что среди «красных сыщиков» он далеко не последний человек.

Когда Лидка убедилась в том, что поднадзорный Гаврюшки действительно встречается с разными людьми и о чем-то шепчется, она сообщила о нем Пал Палычу. Тот выделил из дружины бойца. Боец накрыл человека в пестром шарфе во время одной из тайных встреч. Оказалось, что это крупный спекулянт, который торгует каким-то особым сортом папирос, от которых человек пьянеет больше, чем от вина. Пал Палыч потом говорил, что его судили и посадили в тюрьму.

«Красные сыщики» выследили еще двух воришек. Мало того, что выследили, но даже узнали, где у них тайник. Жулики сделали его в стене под аркой ворот бывшего дворянского собрания. Лидка первой запустила туда руку и вытащила на свет двое карманных часов с цепочками, кольцо с самоцветным камнем и несколько пустых бумажников. Деньги жулики, видимо, предпочитали держать у себя.

Все это ребята после недолгих колебаний отнесли дежурному милиционеру губкома партии большевиков в Белый дом на Дворянской. Милиционер сначала за-

хотел записать фамилии ребят, но они сочли это дело маловажным и сказали, что вот если разыщут какой-нибудь склад оружия, запрятанный белыми врагами, тогда пожалуйста. А так что? За какие-то несчастные часы да за пустые копейки все равно ни в газетах не пропечатают, ни к награде не представят.

Кто знает, сколько бы еще времени отряд занимался выслеживанием спеку[illegible]ников, если бы в городе не произошло одн[illegible] важное и трагическое событие.

Однажды [illegible] с Лагуновым зашел Артем. Он вызвал [illegible] что-то шепнул ему. Отец быстро оделся, торопливо прикурил от лампы длинную, крученную из оберточной бумаги цигарку и, вытащив из-под подушки наган, ушел с матросом. Слышно было, [illegible] почти бегом спускались по лестнице.

Лидка поняла [illegible]. И раньше приходили к отцу по [illegible] так поспешно и без объяснений [illegible] было. Мать, утомившись [illegible] этого еще не ничего не ведая. Будить [illegible] спала, кинув платье и сунув [illegible]. И Лидка, накомнату, где спали парни [illegible] в другую вскочил, боднул ее в темноте головой, недовольно зашипел. Но когда выслушал [illegible] и горячее сообщение о загадочном уходе отца, приказал Лидке одеваться. Дмитрия дома не было уже целую неделю. Он ездил по деревням, собирал хлеб для голодающих питерских и московских рабочих.

Наскоро одевшись, брат с сестрой выскочили на улицу. Толстые стены полковничьего дома и двойные рамы не пропускали глухого и тревожного боя колоколов. А теперь он просто оглушал. В стороне Струковского сада к небу выплескивались широкие желтые языки пламени. Оказывается, враги пробрались в Белый дом, где заседал губернский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, и устроили взрыв. Теперь Белый дом горел, много было убитых и раненых.

Со всех сторон к Белому дому бежали рабочие и солдаты. У многих с собой было оружие. Съехались все пожарные команды города. Пожарники, сверкая медными касками, на ходу соскакивали с пожарных

дрожек и бежали, растягивая брезентовые шланги, прямо в огонь и дым. Сашка тоже бросился, взяв лопату наперевес, как винтовку, к огню. Но его не пустили. Фельдшер Иван Хрисанфович, ухватив его за хлястик пальто, удержал на месте и приказал:

— А ну-ка домой, шкет! И Лидуха здесь? Домой, домой, братцы! Завтра поговорим... Может, и вам дело найдется.

Лидке обидно до слез. Вот так всегда. Как только настоящее дело, так ее домой... Но Сашке все-таки повезло. Его послали куда-то с поручением. А Лидку и еще одну девочку, оказавшуюся на пожаре, взяла за руки какая-то незнакомая женщина и увела по приказанию Ивана Хрисанфовича:

— Отведи, Ксения Васильевна, к себе, пусть переночуют, а родителям я скажу, где они, чтобы не переживали.

Женщина жила неподалеку от Струковского сада. Привела девчонок в свою уютную, жарко натопленную квартиру, заставила раздеться. А когда увидела, что боты у Лидки надеты на босу ногу, всплеснула руками:

— На улице двадцать градусов, а она на босу ногу. Да ты что, девочка, с ума сошла?

Но Лидка так закоченела, так переволновалась, что ничего не успела ответить женщине. Только села на мягкий диван — сразу уснула.

Чувством, которое испытала Лидка на следующий день, когда проснулась, была горечь. Горечь и стыд. Вот тебе и «красные сыщики»! Не могли найти и разоблачить врага. А он, непойманный, вот что наделал. Теперь, поди, ходит по городу и посмеивается.

Лидка не помнила, как проглотила горячие оладьи, которые напекла утром тетя Ксения своим «пленницам», как натянула на ноги подаренные тетей мягкие и пушистые теплые носки, как попрощалась с хозяйкой, как выскочила из чужого дома. Ей немедленно хотелось собрать свой отряд и начать поиски. Разве можно, чтобы белые бандиты вот так вольно расхаживали по городу? Она обязана их найти!

Город гудел встревоженным ульем. Около базара — толпа. Чей-то звонкий, прерывающийся от волнения и гнева голос читает воззвание Самарского ревкома, наклеенное на заборе.

Лидка невольно замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась.

— «Страшное преступление против революции совершилось в ночь на пятнадцатое декабря в Белом доме Свободы.

Заклятые враги народа, задумавшие погубить ненавистную им власть рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, выбранную на общегубернском съезде Советов, погребли под грудами обломков и в море пламени больше десятка рабочих, солдатских и крестьянских жизней, привели в страшное разрушение помещение Советов. Это черное дело есть прежде всего дело буржуазии».

Дальше в воззвании говорилось, что пролетариату, захватившему власть, надо быть все время начеку, что капиталисты, богатые мещане, чиновники, дворяне и офицеры создают свою белую гвардию для разгрома Советов.

Заканчивалось воззвание тоже очень сильными словами:

«Все к оружию! Бьет час великого последнего боя! Долой тайных убийц, палачей революции! Да здравствует власть Советов! Вперед, за мир, за землю, за хлеб и свободу!»

Надо бы домой, но Лидка побежала на Троицкую собирать своих «красных сыщиков». Навстречу то и дело попадались вооруженные отряды Красной гвардии. Они проверяли документы, устраивали обыски в домах богачей и лиц, которые явно или скрытно действовали против Советской власти. В нескольких местах слышалась перестрелка.

У дома Иродиадихи из-за угла вдруг вывернулся на Лидку человек. Она сразу узнала его. И сама несколько раз видела, и ребята так ярко описывали, что не узнать его невозможно. Это был квартирант старостихи, тот самый рабочий, который почему-то не любил умываться. Левая щека и сейчас у него грязно-синяя. Одет, как всегда, в промасленную ватную куртку, тяжелые сапоги и штаны из чертовой кожи, тоже промасленной. На голове — старая кожаная шапка с облезлой шерстью.

Человек бежал большими шагами, вытянув вперед руку. Лидка не заметила, было ли у него что в руке. Когда он увидел девчонку, то руку спрятал в карман,

успокоился и пошел медленнее. Но, пройдя несколько шагов, оглянулся и крикнул каким-то сдавленным, неестественным голосом:

— Девочка, ты человека в шляпе не встречала?

«Вот оно что... И рабочий, значит, подозревает того, букреевского квартиранта... Может быть, этот рабочий из какой-нибудь дружины и участвует в облаве на контру...»

Но расспрашивать неудобно, а человек ждет ответа.

— Нет, не видела, дяденька. А он вон в том доме двухэтажном с железной крышей живет...

Она хотела добавить, что и сама подозревает этого в шляпе, но рабочий вдруг сорвался с места и, прижимаясь к забору, бросился бежать вдоль улицы. А на Лидку выскочил этот, в мягкой шляпе и хорошем осеннем пальто. Он так же, как и тот, убегающий, вывернулся из-за угла и, быстро вскинув пистолет, наклонил его чуть дулом вниз и выстрелил. Рабочий продолжал бежать. Второй выстрел человеку в шляпе сделать не удалось. Лидка бросилась ему под ноги, он споткнулся, упал на колено и выронил пистолет. Потом подобрал его, потер колено, удивленно посмотрел на лежавшую у его ног девчонку, чертыхнулся и, хромая, побежал догонять рабочего, который уже скрылся из виду.

Лидка еще не успела осмыслить того, что сейчас произошло. Она не сомневалась в одном — белый шпион гонится за безоружным рабочим и хочет его убить. И Лидка готова была похвалить себя за находчивость. Ясно было, что рабочий спасен. Лидка, лежа на снегу, видела, как он свернул в переулок налево, а преследователь устремился направо. Но едва она встала с дороги и стала отряхивать ватник, как увидела: по улице бежит группа военных моряков и впереди всех Артем. Он резко остановился около Лидки и, держа руку на деревянной кобуре, быстро спросил, глотая слюну:

— Куда он убежал, Лида?

Она и сейчас была уверена, что гонятся за тем в шляпе. И готова была показать направо. Но кто-то, желая, видимо, облегчить Лидкину задачу, уточнил:

— В промасленном пальто, с синей щекой такой... Не видела?

Лидка захотела поправить:

— В шляпе, наверное. Так он направо.

Артем досадливо махнул рукой:

В шляпе наш... Другой, который в рабочей одежде... Ну?

Лидка, ничего не понимая, показала:

— В переулок налево.

А вечером состоялся у Лагуновых позорный для Лидки урок политграмоты.

— Ты понимаешь, дери тебя фуганком, какова цена твоей глупости? Двух моряков по твоей милости это синемордое благородие ранило. А не помешай ты товарищу Михаилу по ногам его шарахнуть, смотришь, и без лишней крови бы взяли его.

Эх и подвело Лидку деление людей на классы по одежде!

— Отлупить бы тебя надо, как за гильзы. Да жаль, не могу. Гансу Гансовичу слово дал детей не трогать. Что же ты думаешь, рабочему классу нравится в тряпье ходить? Как бы не так! Дай любому рабочему сейчас бобриковое пальто — разве откажется? Или мамке твоей — горностаевую доху? За милую душу закутается. Придет время, рабочий получше да помоднее, чем нынешние буржуи, ходить будет... А ты захотела врага по шляпе да по штанам определить. Эх, горе-сыщик!

Лидка виновато сопела. Отец наконец смягчился:

— Ладно, сам виноват... Мало вами занимаюсь. Теперь держитесь у меня, лешачонки. Воспитывать буду! А с осени в школу...

БОЙ У ЭЛЕВАТОРА

На Самару двигались белочехи. Откуда они взялись? И почему стали врагами Советской власти? На Средней Волге скопилось очень много пленных чехов, которые воевали с Россией в составе германской армии. Война с Германией кончилась, и чехи попросили разрешения вернуться на родину. Этим и воспользовались русские белые и подговоренные американцами и англичанами чешские офицеры. Они обманули солдат, заявив им, что путь на родину возможен только через Тихий океан. Чехословацкий корпус растянулся по всему Поволжью и Сибири. Потом чехам объявили, что Советская власть препятствует их возвращению на родину. Введенные в заблуждение, они подняли мятеж.

...Все взрослые в доме стали строгими, неулыбчи-

выми. Матросы уже не пляшут по вечерам «яблочко», не бренчат на гитарах. Лидка понимает: не до веселья, приближается трудный час.

Особенно стало это заметно по Сашке. Он не делится больше своими секретами, не приносит в карманах, как раньше, из мастерских блестящие гайки и винтики, не интересуется Лидкиными делами, во всем старается подражать отцу. А тот совсем редко бывает дома, похудел, лицо у него стало черным от бессонницы и недоедания. Теперь свой маузер отец носит уже не под пиджаком, а на виду у всех — за поясом.

Сашка по примеру отца тоже решил носить оружие. Но пистолеты на улицах не валяются, винтовки дают только на стрельбы, да и то одну на пятерых. Как же тут показать людям, что ты тоже причастен к красногвардейцам, что и тебе доверяют защиту родного города? Проходишь мимо знакомых девчонок, и ничто не говорит о твоем геройстве. Вот тогда Сашка и решил вооружиться. Он снял мерку с отцовской деревянной кобуры, которая висела на спинке кровати, и сделал себе в мастерской точно такую же. Достать ремень было проще.

И вот Сашка предстал перед Лидкой в полном боевом снаряжении. На голове фуражка с выкрашенной красной акварелью самодельной железной звездой. На плечах такая промасленная куртка, что лоснящаяся материя издали может сойти за кожу. На ногах разноцветные обмотки: зеленая и черная. И самое главное — по коленям Сашку бьет громадная деревянная кобура, прицепленная к новому желтому ремню, вырезанному из чересседельника.

— Ну как? — спросил Сашка сестру, замерев перед ней, сам до предела восхищенный своим воинственным видом.

Лидка деловито засунула руку в кобуру и, обнаружив там пустоту, с разочарованием протянула:

— Я думала, там наган. Так-то и я могу вырядиться...

— А вообще вид?

Но Лидку удручал не вид, а то, что такая хорошая кобура пропадает даром.

— Ты хоть бы из дуба выпилил.

Сашка спохватился:

— Верно! Пока настоящий достану, самоделку сде-

лаю. Спичечные головки в запале будут. Громче настоящего бабахать начнет.

Сашка сделал себе деревянную самоделку с медным дулом и покрасил ее в черный цвет. Теперь он снова зазнался и не замечал сестру.

Но беспричинная гордость не проходит даром. Вскоре Сашка был посрамлен на глазах Лидки.

Когда дружинники отправились бить чехов на реку Татьянку, Сашка, давно поджидавший удобного момента, заскочил в колонну одного отряда, чтобы уйти с ним на фронт. Лидка стояла на тротуаре и завидовала. Ей в последние дни даже винтовку не доверяли, заставляли таскать кирпичи на берег [illegible], где строились оборонительные сооружения. [illegible] завидовала она Сашке недолго. Не успел он [illegible] с отрядом и пяти шагов, как рослый [illegible] короткой шинели поднял Сашку на руки, [illegible] колонны и продержал в воздухе до тех пор, [illegible] не скрылся за углом.

— Брысь домой, шкет! Не [illegible] твое время... Ступай, ступай,— рассердился [illegible]. Сашка рванулся было вслед уходящему [illegible], повернув его лицом в обратную сторону, легонько шлепнул пониже спины.— Небось, мать-то уж [illegible].

Теперь Лидке стало жалко [illegible] лучше бы его взяли. Воевал бы он не хуже, чем [illegible]. Ведь он только ростом мал, а так сильнее всех одногодков. Ей хотелось сказать об этом солдату в короткой шинели, попросить его, чтобы он не прогонял брата, но тот уже, сняв с плеча винтовку, догонял товарищей.

На берег Татьянки ушли многие бойцы Самарского молодежного коммунистического отряда. Ушли и больше не вернулись. Слишком много силы было у белых чехов: и людей, и ружей, и пушек, и снарядов. Удержать врага не удалось. Он подходил к городу все ближе и ближе. Вот уже белых и красных разделяет только река Самарка, через которую перекинут пешеходный деревянный мост.

У защитников Самары всего несколько старых пушек. Управлялись около них железнодорожники, наскоро обученные наводке и стрельбе бывшим артиллерийским унтер-офицером.

Самарцы сами понимали, что их артиллерия не очень испугает чехов, и шутили:

— Толку-то от нее немного, так пусть хоть вместо оркестра будет. Все веселее.

Лидка за эти дни облазила чуть ли не всю линию красногвардейской обороны. За день успевала побывать и в окопах на Хлебной площади, у элеватора, и на станции, и у кирпичных заводов, где стояла батарея.

У защитников красной Самары все было на исходе. Хлеб выдавали пайками, одну воблу в обед делили на двоих. В лазаретах, кроме бинтов, йода да порошков от головной боли, ничего не осталось.

Раньше хоть была надежда, что подойдут уфимцы, помогут. Но уфимцев пришло очень мало. Было у них только два пулемета и не единой пушки, хотя самарцы надеялись больше всего на их артиллерию.

— Давайте мы на охрану моста встанем, — предложили уфимские командиры.

Самарцы согласились.

Больше помощи ждать неоткуда. Из Оренбурга? Там самим дай бог с Дутовым справиться. В Пензе уже засела белочешская дивизия полковника Чечека. В Сызрани тоже белогвардейцы.

В ту страшную ночь, когда белочехи захватили мост через Самарку, Лидка не ночевала дома. Но пострелять ей так и не пришлось. Сколько ни просила, винтовки не дали. Пал Палыч приказал:

— Раненые на каждом шагу. Перевязывай!

Лидка поняла, что спорить бесполезно. Она помогала оттаскивать раненых в укрытия, подавала им пить, делала перевязки, если рана была легкая. Потом не выдержала: взяла винтовку убитого дружинника и больше не расставалась с ней, таскала всюду за собой, хотя патронташ был пуст, а выпросить у бойцов патроны было невозможно. Еще с вечера их оставалось по двадцать восемь штук на брата.

Отряд Пал Палыча держал оборону у элеватора. С рассветом стало ясно — положение безнадежное. Теперь выстрелы слышались не только впереди, от моста, где залегли переправившиеся на этот берег чехи, но и за спиной. По окопам прошел тревожный шепот:

— Офицерье в городе орудует... Куйбышев с моряками едва вырвался...

Пал Палыч понимал: белые одолевают. Батарея у кирпичных заводов замолчала — или снаряды кончились, или прислуга перебита.

Народ в отряде Пал Палыча крепкий. Много коммунистов. Драться будут до последнего. Но зачем ненужные жертвы? И командир отряда решил, пока не поздно, разогнать по домам всех шмыряющих по окопам и торчащих около отцов подростков. Не сразу, но удалось. Разбежались. Упрямилась только Лидка Лагунова. С этой девчонкой не было никакого сладу. Того и гляди под пулю или снаряд попадет. И командир пошел на хитрость.

— Ну-ка, стрекоза, отнеси пакет!

— А кому?

В это время в десяти шагах, буравя воздух, со страшным свистом над головой пролетел вражеский снаряд.

— Ложись!

Лидка ничком бросилась на землю. По голове, по рукам, по спине застучали мелкие куски глины и камешки, осыпавшиеся с бруствера. Кто-то неподалеку закричал. Когда Лидка поднялась и отряхнулась, Пал Палыч уже протягивал ей сложенный вчетверо белый лист бумаги.

«Когда же он успел написать? Неужели вот так и стоял под осколками и ши[illegible]? — подумала Лидка и похолодела. — Да, вот так и стоял. По шее течет струйка крови. Видно, задело. И никакого испуга в глазах...»

— Дуй к отцу на вокзал. Да побыстрее. Только под пули не лезь. Чуть что — ложись и реви. Детей не трогают...

Лидка рванулась с места.

— Стой-ка! — крикнул повелительно Пал Палыч.

Лидка остановилась. Он сорвал у нее с рукава белую повязку с красным крестом и протянул руку за винтовкой.

— Оставь ружье. Бежать трудно будет. Да и нам оно нужнее, чем тебе.

Лидка хотела было возразить, соврать, что винтовка записана за ней, что по дороге, возможно, стрелять придется, но командир уже передал какому-то бойцу ее трехлинейку и сердито бросил упрямой девчонке, всматриваясь в цепи наступающих белочехов:

— Кому говорят, беги! Упустишь дело!..

Упускать дело не следовало. Это Лидка отлично понимала.

Сердце ее не раз обдавало холодом, пока она добра-

лась до вокзала. Выстрелы слышались со всех сторон. Время от времени раздавались тяжелые взрывы, от которых дрожала земля. Лидка вспотела. В висках гулко и часто стучала кровь.

Она ползла под колесами вагонов. Станция как будто вымерла. Только у одного холодного паровоза Лидка встретила человека. Это был машинист, который тащил куда-то большую медную железяку.

Увидев ползущую по путям девчонку, он остановился, провел грязной рукой по вспотевшему лбу и спросил шепотом:

— Куда тебя несет?

Лидка не ответила. Машинист, видимо, узнал ее. Он показал пальцем в сторону тупика и зашептал, толкая ее в спину:

— Отца ищешь? На кладбище они... Да пошевеливайся. Сейчас и сюда нагрянут гады...

Лидка долго бродила между могильными плитами, чуть не плача от обиды и злости. И почему все так скверно получается в жизни? Разве плохо жилось без этих чехов? Принесла их нелегкая!

Хотелось спать, есть, болели исцарапанные колени, ныла спина. В ушах все еще стоял сухой треск винтовочных выстрелов. А отца нигде не было видно. Лидка уже подумала, что машинист посмеялся над ней, хотел испытать ее храбрость, послав одну на кладбище. И в это время вдруг услышала, как кто-то тихо, вполголоса позвал ее:

— Эй, Лидка, Лагунова! Сюда... Сюда!..

Она оглянулась: никого.

А голос снова:

— Разинь глаза-то пошире. Иди прямо на крест.

Только тут Лидка заметила, что из-под большой мраморной плиты торчит острие штыка, а сбоку высовывается хитрая, с глазами-щелочками рожица Васьки-масленщика, который частенько бывал в доме Лагуновых. Он стоял на часах у склепа.

Отец ранен в руку. Она висит на грязном окровавленном бинте. Борода, всегда аккуратно расчесанная, всклокочена. Глаза красные. Злой, колючий. Но когда взял у Лидки пакет и прочел его, то улыбнулся. У Лидки стало легче на душе. Потом отец передал пакет по кругу. Откуда-то сверху в склеп падал косой луч света. Люди, измазанные грязью и кровью, подходили к этой

золотистой полоске и по очереди читали пакет. И тоже улыбались.

Там было написано:

«Григорий! Утихомирь ты своего чертенка. Под пули лезет. Посылаю к тебе. Сохраннее будет.

Павел Постников».

Почему улыбались эти люди, Лидка не знала. Она никогда не раскрывала пакетов да и читала очень плохо, по складам и то вывески. А писать и вовсе не умела. Едва выучилась коряво расписываться.

Отец, насмеявшись, вытер глаза, прижал Лидку к себе и сказал:

— Кишка оказалась тонка у нас, дочка. Разбили нас. Ну да это ненадолго. Наша правда сильнее. Главное, не вешать носа. Ничего, что руки плохо действуют, зубы-то еще целы.

— Проголодалась, наверное, а угостить девочку нечем, вот беда...

Лидка вгляделась в угол [illegible] и узнала по длинной нескладной фигуре фельдшера Ивана Хрисанфовича. Увидела и вскрикнула от неожиданности. Голова фельдшера была обмотана белой нижней рубахой, и на плечи свисали концы рукавов.

— Угостили меня, Лидушка, чехи слегка... вот и надел чалму маскарадную, — сказал Иван Хрисанфович и пошевелил пальцами в солнечном луче.

В ГОРОДЕ СТРЕЛЯЮТ

Лидка бежала по городу короткими переулками, прижимаясь к стенам домов. Подташнивает от голода. Но голод еще можно было бы вытерпеть. А вот от ужаса никуда не денешься.

Чуть ли не на каждом шагу избивают и расстреливают коммунистов, евреев и пленных красноармейцев. Убитых и растерзанных не убирают — оставляют тут же, на мостовой. Какие-то юркие молодые люди в полувоенных костюмах ползают по крышам, срывают красные флаги и бросают их вниз, в толпу, где краснорожие купцы и белолицые чиновничьи жены рвут красные лоскуты на части и остервенело топчут ногами.

Из окон большого каменного дома на Заводской летят на мостовую подушки, ножки стола, посуда,

разобранная на части кровать, кипы газет и бумаг.

Кого разоряют-то? — спрашивал черноволосый рослый человек в фартуке, должно быть, приказчик из мясной лавки, у мужчины в котелке и светлой пиджачной паре.

Видимо, любопытство все-таки сильнее страха. Лидка притиснулась поближе, чтобы услышать ответ. Человек в котелке лениво повернулся к приказчику, тронул жемчужную булавку на галстуке, сказал равнодушно:

— Какого-то трибунальца потрошат. Самого-то, говорят, еще утром у ихнего клуба пристукнули, жену в тюрьму забрали. А теперь вот имущество по перу пускают. Плохо большевистские козыри живут. Даже перины порядочной не имеют. Из-за чего старались? — Котелок передернул плечами. — Шантрапа.

— А фамилию-то не знаете? — продолжал допытываться приказчик.

Котелок брезгливо фыркнул, отстраняюще выставил руку:

— Была нужда запоминать такую пакость. Не то Вонцек, не то Войцек. У меня память одна. Для других надобностей приспособлена.

Лидка не раз слышала фамилию — Венцек. Говорили, что он в Самаре главный враг всех, кто против Советской власти. И отец и дядя Артем всегда произносили эту фамилию с уважением и гордостью. У отца даже теплел голос, когда он говорил о Венцеке: «Этот наш, у него пролетарская косточка. Этот не отступит, не продаст». А дядя Артем подтверждал: «Где Венцек, там полный порядок. Железный человек».

У Лидки уже вертелось на языке: «Сам-то ты пакость, буржуй недорезанный! Не Войцек, а Венцек он. А ты, усатый котел, и подметки его не стоишь!» Но вовремя опомнилась и промолчала. Надо было выполнять боевое задание отца. А он строго сказал ей на прощанье, отправляя с кладбища:

— Значит, идешь в разведку. Нам сейчас без разведки никак. Смотри во все глаза, что делается в городе. Да в истории разные не ввязывайся, а то я тебя знаю, дери тебя фуганком... Домой попадешь — скажешь матери, пусть не убивается: жив-здоров. Про руку молчок... А потом — к нам, за Татьянку. Переправишься как-нибудь. Мы туда ночью уйдем. Не найдешь нас —

шагай в Иващенково, к тетке Мотре. Помнишь ее? Добрая тетка, жалостливая. Ну, репу к нам сладкую пареную носит. В случае чего у нее пересидишь... Она у самой станции в желтом флигельке живет. Спросишь Матрену Синицыну.

Чем ближе Лидка подходила к дому, тем сильнее охватывала ее тревога. Сердце предчувствовало беду. И предчувствие оправдалось.

Во дворе бывшего особняка жандармского полковника творилось что-то непонятное. Под раскрытыми окнами второго этажа волновалась, кричала и шумела густая толпа пестро одетых людей. Были тут и женщины с цветными и шелковыми зонтиками, и студенты в тужурках с погончиками, и телеграфисты с напомаженными волосами, и даже... городовой Семеныч. Усы у него снова торчали вверх стрелками и на боку висела «селедка». Только одет он был в форму милиционера Временного правительства. Видно было, что он с удовольствием принялся за свое старое ремесло.

Все это Лидка видела сквозь щели в заборе, примостившись в канаве со стороны узенького глухого переулка.

Из просторного полковничьего сарая, в котором на зиму запасались дрова, чехи выносили винтовки и патронные ящики и укладывали их в кузов грузовика. Лидка поняла: нашли оружие матросского отряда.

За две ночи перед приходом белых чехов отец, Дмитрий, матрос Артем и дяденька Луйк зарывали оружие под поленницей. Револьверы сунули в ящик со столярным инструментом под мамкину кровать. Решили, что еще хватит времени перепрятать. А времени-то и не хватило.

Лидка следила тогда за ночными действиями в доме и все видела. Отец заставил ее лечь в постель, натянул ей суконное одеяло на голову и сказал:

— Спи, спи, солдат. Это не твоего ума дело!

«Вот тебе и не моего,— зло подумала Лидка.— Если бы я прятала, никто в жизни не нашел бы! Я бы все винтовки в трубу. Вот мою гранату ни за что не найдут...»

После истории со стреляными гильзами и урока, который ей преподал отец, Лидка ни разу не приносила домой без разрешения ничего, что имело отношение к оружию. Ничего, кроме... гранаты. Тут уж она не мог-

ла удержаться. Да и особой вины за собой не чувствовала.

Ведь если по совести разобраться, с гильзами как получилось? Там она явно нарушила приказ. Было сказано — гильзы сдавать. Она не все сдавала — и выдали ей по справедливости... А тут ничейная граната попалась. Никто про нее не спрашивал. И нашла она ее в крапиве на склоне Постникова оврага. Там во время войны перед тем как отправить на фронт новобранцев, их стрелять, окапываться и бросать гранаты обучали.

Ну, видно, какой-то силач так далеко забросил свою гранату, что и сам не нашел. А Лидка ползала по склону, собирая дикую малину, и наступила на нее. Сначала подумала — бутылка. Потом раздвинула куст, увидела белый жестяной бок, длинную ручку и испугалась: а вдруг взорвется! Но любопытство у нее всегда сильнее страха. И когда ребятишки, собранные свистком Сашки наверх, ревниво заглядывали друг другу в кошелки, ведра и лукошки, на дне Лидкиной корзинки под слоем ягод уже лежала граната.

Шла она в тот раз домой медленно, осторожно, и Сашка с недоумением поглядывал на сестру:

— Что это ты, Лидка, как хромая лошадь, все отстаешь? Или, может, малины объелась?

И Лидка нарочно тогда строила гримасы и держалась свободной рукой за живот:

— Объелась.

Еще по дороге домой все думала, куда бы спрятать находку, чтобы никто не увидел и не нашел. И придумала. В доме, отнятом у жандармского полковника, было множество печей. И множество труб выходило на крышу. Ходишь по ней, как в лесу среди красных пеньков. В прятки удобно играть. Когда жил полковник, печи топились все. А когда въехал сюда штаб матросского отряда да многодетные семьи рабочих вроде Лагуновых, дым по утрам шел только из четырех-пяти труб. Остальные были вроде ненужного украшения.

В одну из таких бездействующих труб и опустила Лидка на прочной бечевке свою гранату. Вымазалась в саже, правда, здорово, пока втыкала между кирпичами большой ржавый гвоздь, а потом закрепляла на нем бечевку.

Но в доме привыкли к тому, что Лидка вечно в чем-нибудь да вымажется. Только мать прикрикнула:

Куда такой страшилой за стол лезешь? Марш умываться!

«Эх вы, взрослые люди, а не соображаете ничего,— мысленно упрекала Лидка отца и матросов.— Ведь сколько пустых труб! Можно было бы в пять раз больше винтовок подвесить. И ни в жисть бы ни одна белая сволочь не нашла...» Но и себя она чувствовала виноватой: «Тоже хороша, не могла подсказать...»

Но кто знал, что все так обернется? В то время как раз не могла Лидка сказать про свой способ прятать оружие. Ведь тогда надо было раскрыться и показать свою находку. А показала бы — все равно бы не поверили, что нашла, и обязательно отобрали бы. Знает она их, этих взрослых!

Потом, когда Лидка вернется с чапаевцами домой, она узнает, что белые не нашли другого тайника с оружием, того, который был под кроватью...

Едва стали ломиться в дверь, Сашка влез в ящик с инструментами и свернулся в нем калачиком. Острые ребра рубанков резали бока и колени. Больно, хоть криком кричи. Но ни вылезти, ни шевельнуться нельзя.

Расчет у Сашки был простой. Если полезут в ящик, то найдут в нем мальчишку, который скажет, что забрался туда с испугу. Провозятся с ним, а о самом ящике могут забыть.

Обыск делал толстый и ленивый солдат. Он, пыхтя и отдуваясь, залез под кровать, нащупал в темноте ручку ящика и потянул на себя. Ящик не двигался с места. Солдат, не будучи особенно любопытным и не страдая излишним усердием, вылез из-под кровати, козырнул своему офицеру и доложил, что ничего подозрительного там не обнаружено.

Потом эти револьверы Сашка через Самарку переправил в отцовский отряд.

...Из окна лагуновской квартиры раздался сильный пронзительный голос Клавы:

— Не смейте бить мою мать!

Лидка даже привстала в своей канаве. А через минуту увидела в окне окровавленное лицо матери, которая одной рукой держалась за косяк рамы, а другой прижимала к себе маленькую Ленку. Но кто-то втащил мать в комнату, и теперь Лидка слышала только Ленкин плач.

В доме сильно и зло захлопали двери, и во двор

3-2

вышли в сопровождении четырех солдат два офицера. Один из них, в форме чешского легионера, уговаривал другого, горбоносого, с золотыми погонами на гимнастерке.

— Мы не воюем с женщин, господин поручик! Нам нужно мужчин-большевик. Им не будет у нас пощады.

У горбоносого раздувались ноздри. Он так и кипел:

— Вы ни черта не понимаете, капитан! Ни бельмеса! У них что мужчина, что женщина — одна порода. Все — грабители и разбойники! У моего отца, старого заслуженного полковника, реквизировали рояль для какого-то детского дома. Как вам это нравится?

Капитан-чех разводил руками и стоял на своем:

— Но ведь у этой женщин в квартире ничего не нашли. За что вы ее убить? И она матка большой семья.

Лидка облегченно вздохнула. Значит, до ящика все-таки не добрались.

Черная жесткая щетка усов у поручика нервно вздрагивала, обнажая крупные белые зубы:

— А вы знаете, кто она, эта ваша подзащитная? Не заметили на стене фотокарточку? Нет? Ну то-то! Ее сын сорвал мне карьеру. Да-да! Он разложил мою маршевую роту, сделал ее большевистской. Что?.. А ведь как все хорошо началось. Я получил Георгия... С минуты на минуту ждал новой награды и батальон под команду. Для умных людей война — счастье. Она дает все: карьеру, золото, славу. Роту расформировали. Этого негодяя приговорили к расстрелу, но ему удалось бежать. А мне задержали очередное звание. Как по-вашему, я должен быть спокоен? Может быть, мне еще отблагодарить это семейство?

Лидка никогда не видела сына полковника Бергосяна. Но теперь ей стало ясно: это именно он.

Потом двор очистили от посторонних, и в нем расположилась табором рота белочехов. Домой прорваться не удалось. А если бы и удалось, то совсем трудно было бы вырваться потом на улицу. За это время отец с отрядом мог далеко уйти. А отставать от него Лидка не хотела. Ведь только там, в отряде отца, было, как она считала, ее место. Вот разве дождаться удобного момента да захватить свою гранату? Но удобного момента так и не нашлось.

Вечером Лидка долго ходила по берегу Самарки и плакала от обиды и злости. Лодок на этой стороне

не было. Наконец нашла человека, который смолил и красил в кустах свой баркас.

Лидка обрадовалась и стала умолять лодочника:

— Дяденька, перевези меня на тот берег. Я из деревни. С мамкой на базар поехала да и потерялась. Она-то, поди, давно дома. А я вот осталась. В городе страшно — стреляют.

Лодочник обернулся, и Лидка от удивления чуть не присела. Перед ней был тот самый приказчик, который допытывался днем у человека в котелке про Венцека. Только теперь приказчик из мясной лавки был без фартука и поддевки.

Он оглядел Лидку с ног до головы и, ни слова не говоря, стал спихивать недокрашенный баркас в воду. Обрадованная Лидка попробовала было помочь ему, но загадочный мужчина сердито [illegible] в ее сторону белками глаз — и она отстала.

В крохотном шалаше [illegible] на левом берегу Самарки нашлось полкаравая [illegible] хлеба, несколько вяленых рыбин и [illegible] лука. Все это он выложил на стол, сбитый [illegible] досок. Еда была очень немудреная, [illegible] уставилась на нее, что перевозчик сразу [illegible] девчонка голодная.

— Так из какой, говоришь, [illegible]-то? — спросил он, когда его гостья отправила [illegible] последние крошки хлеба, аккуратно сметенные [illegible] ладошкой.

Лидка поперхнулась. Она [illegible] не думала о том, что могут спросить, из какой она деревни приехала. Что же придумать? Какие тут поблизости есть деревни или села?

— Да из Воскресеновки я, дяденька! — вдруг обрадованно воскликнула она, вспомнив первое пришедшее на память название.

Лодочник хитро прищурился и сказал, пряча под мохнатыми черными бровями насмешливый блеск глаз:

— Что-то я тебя в этом селе не видел. Может, новенькая? Приехали откуда-нибудь?

Лидка ухватилась за возможность соврать поскладнее. И начала, торопясь и захлебываясь:

— Правда, новенькие мы, дяденька, новенькие... Раньше в Самаре жили. А потом мамка заболела, и доктор велел на чистый воздух переезжать. У нее чахотка, у мамки-то. Вот мы и переехали.

Она говорила, говорила и бесхитростными глазами

5—4

глядела в черные мохнатые брови лодочника. А он слушал, слушал и вдруг задвигал этими бровями и грозно спросил:

— Ай, девка! А кто тебя учил так взрослых людей обманывать? Ну-ка признавайся!

Лидка испугалась было, но в голосе страшного перевозчика явно звучала веселая нотка. Она хоть и врала отчаянно, а он все равно был доволен ее ответом. Это придало Лидке смелости, и она выставила вперед подбородок.

— А вы тоже обманываете...

Перевозчик перестал улыбаться и свел брови к переносице:

— Как это?

— А в фартук мясницкий зачем рядились?

Должно быть, Лидка сказала что-то недозволенное. Перевозчик быстро вышел из шалаша, осмотрелся и, вернувшись, взял Лидку за плечи:

— А ты не верь своим глазам, девочка. Вчера ты видела не меня, а совсем другого человека. И я тоже тебя не видел. Мы незнакомые люди. Понятно? Ты мамку ищешь. Только не в Воскресеновке. Воскресеновка как раз на этой стороне. Ну хотя бы в Филипповке. Понятно?

Его глаза так требовательно и строго смотрели на Лидку, что она, оробев, покорно произнесла:

— Понятно, дяденька.

— Ну вот. А теперь ложись спать и утром марш в свою Филипповку. Да не забудь: в Филипповку, а не в Воскресеновку...

В условленном месте, на берегу Татьянки, Лидка никого не нашла. В последнюю минуту отец передумал и увел отряд совсем в другую сторону. Предупредить девчонку не смогли. И теперь она шла к тетке в Иващенково.

Сначала шагала по шпалам. Но быстро набила ноги, изрезала ступни о мелкую гальку, да и беляки, охраняющие железную дорогу, попадались на каждом шагу. Некоторые просто сердито сгоняли ее с путей. А находились и такие, что выматывали душу разными вопросами. И хоть Лидка научилась складно и ловко врать и пускать вовремя слезу, все-таки это было и опасно и неприятно.

Решила шагать по дорогам и тропкам, не теряя

из виду цепочки телеграфных столбов. В самом деле, так лучше. Ноги по щиколотку увязают в шелковистой горячей пыли. Ощущение такое же, какое испытываешь холодной зимой, когда озябшие руки всовываешь в еще не остывшую золу подтопки.

Краюху хлеба и лук, которые дал Лидке перевозчик на дорогу, давно съела. Поневоле заходила в деревни. Где хлебца просила, где водицы. Одни давали, другие кричали:

— Проваливай с богом! Сами животы подтянули.

А ЧАПАЙ... ОН КАКОЙ?

Она уже и забыла, где услышала первый раз про Чапая. То ли в Мордовских Липягах, то ли в Каверзине. И ничего сначала не говорила ей эта фамилия. А вот на переезде под Жигулями, есть такая маленькая станция на железной дороге — послушала там Лидка одного мужика и ни о чем другом думать не могла, как только разыскать отряд этого Чапаева и попроситься в него.

Около переезда этого, а время было под вечер, горел костер. Рядом какой-то человек, опрокинув телегу набок, крутил колесо и постукивал по ободу молотком.

Лидка, может, и не подошла бы, но уж больно соблазнительно пахло из котелка над огнем распаренным пшеном. Да и чего мужика-крестьянина бояться? Не казак какой, не белый офицер.

Подошла поближе и удивилась. Человек разговаривал сам с собой. Ударит молотком по ободу, вгонит гвоздь в дырку и скажет:

— Вот я тебя, холеру, как пристегну к деревяшке, так, значит, и сиди. Дальше чтобы мне не сметь слазить. А не то не буду тебя дегтем мазать.

Подойдет к котелку, помешает чисто обструганным прутиком варево и опять говорит:

— Упревай, матушка, упревай. Мужик когда сыт, тогда не сердит. А когда голодный, тогда как леший в преисподней.

Лидка сначала испугалась: уж не сумасшедший ли? Особенно когда услышала, как он ни с того, ни с сего про Чапая заговорил:

— Думал, Чапай голову срубит, а он баит — воевать

будет. Поезжай, брат, домой, Семен, да вдругорядь не лазь большевикам в полон.

Да нет, вроде не сумасшедший. Сумасшедшим кто лошадь с телегой доверит? И потом, сумасшедшие костры не разводят. Они больше всухомятку кормятся, кто что подаст.

Сделав такой вывод, Лидка подошла к странному, говорящему так складно мужику совсем близко. И остановилась около него в нерешительности. Вот так прямо попросить, чтобы накормил, стыдно как-то. Если предложить свою помощь — может, подержать что-то или подать? Одному-то, поди, неловко чинить телегу. Это уже была стоящая мысль. И Лидка, зайдя сбоку и заглянув в глаза человеку, сказала:

— Может, гвозди тебе, дяденька, подержу и подавать буду. А то чего вам время-то нагибаться...

Мужик оглянулся, поморгал бесцветными ресницами и, скосив на Лидку маленькие, заросшие белым пухом глаза, согласился.

— Коли хочешь — подержи... Гвозди — они не ежи.— И тут же добавил: — Ежели их шляпками в колесо вобьешь — будет не колесо, а железный еж.

Этот странный человек, говорящий в рифму, становился все симпатичнее Лидке. И когда он, закончив дело, поставил телегу на колеса и, вытерев руки о штаны, позвал ее к котелку с кулешом, она не чинилась, не церемонилась.

Ложка у мужика была одна, и он какое-то время вертел ее в руке, видимо думая, как поступить. И придумал. Протянул ложку Лидке, а сам полез в передок телеги и из привязанного к ней мешка вынул плоский штык от японской винтовки. Лидка похолодела. Что он задумал? Даже попятилась.

Мужик опять недоуменно скосил на нее глаза и подобрал с земли кусок доски. От сердца отлегло — чего же она испугалась? Ведь он будет выстругивать другую ложку. Сколько раз отец делал это на ее глазах. Только тот орудовал маленьким острым ножом, а потом штихелем с кривым лезвием. А у этого штык. Неужто получится? А ведь получилось! Может, и не такая аккуратная и гладкая, как у отца, но есть ею можно было вполне.

— Ну вот тебе каша, залетная птаха наша. Ешь да похваливай, а поешь — отваливай.

Лидка быстро и торопливо ела, нося ложку в рот раза в два чаще, чем мужик с маленькими глазами в белых ресницах и такими же белыми, жесткими волосами.

Он, усмехаясь, поглядывал на нее и больше ничего не говорил. А ей хотелось, чтобы он говорил. Так складно и неожиданно получалось. Да и просто интересно. Вот еще бы узнать, куда он едет? Здорово, если бы по пути...

Но оказалось — не по пути. Мужик ехал в сторону Самары. Пообедав, Лидка сказала спасибо и сама вызвалась почистить закопченный котелок. А новый ее знакомый тем временем запрягал лошадь.

Когда он затягивал супонь, Лидка протянула ему до блеска оттертую землей и песком посудину и вдруг неожиданно для себя самой спросила:

— А Чапай — он какой, дядя Семен? Чего это народ все Чапай да Чапай говорит?

Из разговора мужика с самим собой Лидка уже поняла, что звать его Семеном. И не ошиблась...

— А откуда ты мое имя узнала? Или по глазам гадаешь? — удивился мужик.

— А вы сами сказали, когда говорили, что Чапай собирался вам голову срубить...

Ухмыльнулся дядя Семен, повернулся всем своим красным, с облупленным широким носом, лицом к Лидке и даже незатянутую супонь из рук выпустил:

— Ты со мной, деваха, не шути. Ты меня не замай. Я теперя важная шишка: мой кресный — Чапай.

Она еще ничего не понимала. А он уже забыл про то, что собирался доделать, на все лады расхваливал Чапаева. И такой-то он смелый, и такой-то он умный, и за бедных горой стоит, и сирот привечает, а богатеев к земле гнет. И всеми статьями на Стеньку Разина пошибает, только разве шамаханскую царевну в Волгу не бросает.

Слушала его Лидка и загоралась. Вот он какой, Чапай-то, оказывается! И отряд у него молодец к молодцу. И беляков крошит так, что за сто верст бегут без оглядки.

Только как это он, такой знаменитый и славный красный командир, стал крестным вот такому, совсем даже ничуть не выдающемуся, а самому обыкновен-

[illegible] мужику крестьянину, хоть и разговаривающему складным языком?

Но словоохотливый Семен вскоре развеял своим рассказом Лидкино недоумение.

Оказывается, Семен из батраков. Ни кола ни двора. Работал на кулака в Воскресеновке, через которую уже прошла Лидка. Туда теперь и едет. Весной послал хозяин Семена с несколькими мешками соли на реку Урал к своему родственнику, который написал, что в уральских станицах плохо стало с солью и если привезти туда пять-шесть мешков, можно озолотиться. Только не довез Семен драгоценный груз до места. Наскочили в степи за Бугульмой казаки, отобрали лошадь, соль. А самого Семена мобилизовали. Одели в шинель, нацепили на плечи погоны, сунули в руку винтовку. Два дня учили стрелять и тыкать штыком. А на третий день уже зачислили в пластуны и отправили под Уральск. Каждый день с утра полковой поп ставил пластунов на колени и читал молитвы и проповеди, по которым выходило, что все казацкое войско совершает доброе богоугодное дело, уничтожая Советы, большевиков и комиссаров, которых сатана послал на землю для разрушения веры, для разорения отечества и для пресечения рода православного.

Красных командиров поп называл извергами, душегубами, христопродавцами, призывал на них кары небесные и земные и каждому, кто убьет комиссара или командира, обещал полное отпущение грехов.

А казачий полковник обещал землю и деньги.

Семен верил попу, верил полковнику. Верил в то, что большевики с Лениным пришли в Россию из Германии, чтобы осиротить детей и продать Россию по дешевке немцам. Верил, что после победы над красными из батраков превратится он в самостоятельного хозяина. И без всяких колебаний стрелял в первом же бою по красноармейцам и одного даже проткнул штыком.

Командир роты пластунов похлопал его по плечу после схватки и сказал, что если он еще раз так отличится, то не миновать ему урядничьих лычек. Правда, тут же и кончилась офицерская ласка. Ротный раскрыл серебряный портсигар, и Семен залез в него своими черными пальцами. И тут же упал, сбитый с ног ударом

в зубы. Оказывается, за плечом Семена стоял другой офицер. Для него и был раскрыт серебряный портсигар.

Зубы Семен потерял, лычек не получил.

Второй бой под станицей Сахарной был для него последним.

Всю ночь двигался за конным полком батальон пластунов. К рассвету обложили станицу и, чуть забрезжило, бросились в атаку.

Красных было меньше, и пришлось бы им очень туго, если бы со стороны соседнего хутора не выскочила конница. Впереди на сером тонконогом жеребце, пригнувшись к его шее, мчался всадник весь в черном. Черная заломленная островерхая шапка. Черная бурка. Черная гимнастерка. Черные блестящие сапоги. В ту минуту и лицо и [illegible] показались Семену черными. Он [illegible] и выстрелил в грудь всаднику, но, видно, [illegible] не попал, потому что тот на полном скаку [illegible] снял шапку, повертел ее в руках, нащупал [illegible] и, покачав головой, снова нахлобучил [illegible]. Потом как-то сбоку, по-птичьи, [illegible] и поскакал дальше. А Семену уже [illegible] здоровенных красноармейца.

— Дура, — сказал один из них, — знаешь, кого чуть не убил? Самого Чапаева.

Семен обмер. Много [illegible] наслышался от начальства об этом страшном [illegible]. Да и поп в проповедях часто имя этого антихри[illegible], закапывающего пленных живьем в землю и раздирающего казачьих детей пополам на глазах матерей, упоминал.

После боя, когда Чапаев, который оказался вовсе не таким черным, как показалось сначала Семену — усы, например, с рыжинкой и чуб темно-русый,— обходил выстроенных пленных.

Может, он и прошел бы мимо Семена, сколько таких стояло рядом в первой шеренге и за спиною, но кто-то запомнил солдата, стрелявшего в командира отряда.

— Вот этот, Василий Иванович, в тебя, в упор...

— А-а-а. Этот?

Семен стоял ни жив, ни мертв. Считал, тут и пришел ему конец.

— Этого я и сам запомнил.— Снял Чапаев шапку, повертел в руках, нашел дырку, сунул в нее палец.—

Что же ты командирский головной убор испортил? Теперь ведь ее хоть брось. Полный-то аллюр не получится теперь — ветер в дырку свистит.

— К стенке его, Василий Иванович,— подсказывали со стороны.

— А это мы сейчас посмотрим. Не казак вроде? — упер Чапаев в Семена насмешливые глаза.— Может, из кулаков? Небось, в деревне-то с десяток лошадей да пяток коров оставил, а? Или торговлишкой занимаешься?

У Семена лицо вытянулось от удивления, слова не мог сразу подобрать для ответа. Это чтобы его, голодранца, за богатого приняли? Такого с ним еще не случалось.

— Да нет у меня ничего — ни кола, ни двора, ни нитки, ни топора. Все хозяйское. В батраках хожу, на хозяйские объедки гляжу, когда кинут, а когда — в рыло двинут.

Моргнули раз, другой немигающие обычно острые глаза Чапаева, зашевелились закрученные усы его, блеснули двумя ровными рядами белые зубы, собрались мелкие тугие морщинки у висков, и рассмеялся он молодым и звонким смехом.

— Ох ты, забавник прибауточник! Тогда зачем в эту компанию-то золотопогонную полез? Што, или рот медом помазали?

— Твоя, начальник, правда... По зубам господин ротмистр смазал, пока два зуба нашел, всю ночь по земле лазал.

И тут Семен ощерился, чтобы видно было, что не врал,— двух передних зубов у него действительно недоставало.

В общем, получилось так, что вместо «стенки» получил Семен от Чапаева в полное владение лошадь с телегой и наказ получше разобраться в том, что такое Советская власть..

Просился Семен в чапаевцы, да не взяли.

— Какой из тебя, баит, защитник Советской власти, когда не знаешь, какой она масти? Вот, говорит, когда разберешься, тогда, может, и возвернешься. А пока вот тебе телега с конем. И пусть твой хозяин горит синим огнем. Заводи свое хозяйство, а то ведь кабала кулацкая — доподлинное негодяйство.

Вот такую историю узнала Лидка от дядьки Семена

[illegible] увидя, [illegible] представить, все, [illegible], как это происходило.

И [illegible] дядя Семен сообщением о том, что [illegible] разных [illegible] годах в отряде Чапаева [illegible]. Вот тогда она и загорелась желанием — чего бы это ни стоило, попасть к Чапаю. И верила, свято верила, что это ей удастся. А что? Стрелять не хуже других умеет. Рану перевязать или что другое — тоже может. Если пакет кому доставить — лучше ее, Лидки, все равно никто не сделает.

Правда, на лошадях она еще не умеет. Но если надо — значит научится. О чем тут говорить?

Когда она, [illegible] дядю Семена за вкусный кулеш, сказала о [illegible], он даже не удивился. Похлопал [illegible] и сказал:

— А что, [illegible] рот тебе не клади — того и гляди [illegible] и должны быть красные солдаты. Я [illegible] погляжу, погляжу, да тоже возьму в руки [illegible].

К тетке Лидка [illegible] действительно своя, добрая, жалостливая. [illegible] больше всего и не нравилось Лидке. [illegible] в Самару, как переступит порог [illegible], так и заголосит: «Да как же вы, милые, плохо живете-то! И голодные-то вы, и холодные. И [illegible] столько детишек заводить было надо? И-и-их вы, разнесчастные»...

Лидка уже представляла [illegible] появится она в теткином доме и услышит: «Ох, да что же это мой братец наделал? Да зачем он связался с этими большевиками, зачем деток по миру пускает?»

И обошла Лидка город.

ПРИНЯЛИ!

За Иващенковом, на окраине одного большого села, она наткнулась на первую чапаевскую заставу.

Пожилой большеголовый чапаевец в зимнем треухе, перекрещенном красной лентой, почесывая давно не бритый подбородок, равнодушно спросил:

— К отцу, что ли? Так вон они, новенькие-то, ружья получают у лабаза.

Лидка молча кивнула головой и пошла к открытым дверям амбара, около которого толпился народ. Тут

раздавали винтовки мужчинам, только что вступившим в отряд.

Она не удержалась от соблазна, встала в очередь. Никто не обращал на нее внимания...

Ее рука уже протянулась за ружьем, но боец, который записывал в разграфленной бумаге фамилию нового чапаевца и номер выдаваемой винтовки, вдруг поднял на нее удивленные глаза:

— Тебе чего, деваха? Кого потеряла?

У Лидки не хватило духу попросить ружье, по опыту знала, чем это кончится: заржут только да, посмеявшись, прогонят. Тут Пал Палыча с его добрым сердцем нету. И, посмотрев на фиолетовую губу кладовщика-оружейника (он каждый раз мочил слюной химический карандаш, выводя фамилию и номер), Лидка сказала задиристо:

— А мне не к вам вовсе. Мне в главный штаб, к самому Чапаю надо... У меня пакет...

Неподалеку от дома, на который указали Лидке, на бревнах сидело несколько молодых, чуть постарше Лидки, бойцов. Один из них на коленях держал гитару и лениво пощипывал струны. Остальные вполголоса пели какую-то чувствительную, незнакомую Лидке песню. В песне были красивые и немного грустные слова:

> А если вдруг случится так,
> Что попадешь в беду,
> То, где б ты ни был, дай мне знак,
> На помощь я приду.

Лидка невольно подошла к ребятам и остановилась. Ей хотелось дослушать песню до конца. Но на Лидку уже обратили внимание. И тот, который играл на гитаре, парень с огненно-рыжим, будто нарочно растрепанным чубом и озорными зелеными глазами, спросил:

— Ты чего тут подслушиваешь? Может, у нас военные тайны какие... А?

Лидка презрительно шмыгнула носом и, независимо подняв голову, пошла дальше. Но чубатый преградил ей дорогу:

— Куда?

Лидка даже удивилась:

— Как куда? К Чапаю. Пусти! Пакет. Понял?

— Хватит шуточек! Давай отсюда! — И рыжий повернул Лидку за плечи.— Топай! Топай!

Лидка разозлилась. Высунула язык и так же, как,

[illegible] в лице дразнила тех, кто был сильнее и старше, выпалила:

— Сивый, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой...

Этого рыжий, должно быть, не ожидал. Он смотрел на дерзкую девчонку и не находил слов.

А двое других его приятелей и девушка с красным крестиком на белой косынке весело рассмеялись. Черноволосый парнишка с печальными карими глазами, с тонкой и нежной шеей явно одобрял поведение Лидки. Он даже прищелкнул языком и сказал:

— Оригинальное явление!

Рыжий [illegible] смягчился. Любил, наверное, достойных противников. Он склонил голову на правое плечо, потом на левое.

— Вот это да, [illegible]. Может, тебе кашки манной, детка? Я [illegible] дяде повару.

Лидку уже трудно было остановить.

— Сам ешь [illegible]. Вон какой тощий — того и гляди лопнешь.

Боец, сидевший рядом с черноволосым, худой и страшно вертлявый, [illegible] хлопнул фуражкой по колену.

— Нашла коса на камень. Люблю, мать честная! Потеха!

В разговор вмешалась девушка-санитарка:

— Тебе зачем, девочка, Чапаев?

— Вместе с ним воевать буду.

Лидка ответила так решительно и уверенно, что рыжий совсем развеселился.

— Сколько же тебе лет-то? — спросила девушка.

— Шестнадцать!

Лидка сама не ожидала, что у нее вырвется такая цифра. Хотела было уже поправиться, да поздно. А рыжий уже заливается:

— Минус три.

Лидка смутилась. Но год себе все-таки прибавила:

— Четырнадцать.

Черноволосый парнишка, который ей понравился с самого начала, возражать не стал:

— Ну и по рукам.

Внезапно согласился и рыжий:

— Возраст солидный. Воевать так воевать. Только Чапаев смелых любит.

Если бы это были ребята с ее улицы, Лидка такие слова могла бы счесть за оскорбление. Но они ведь чужие. Откуда им знать, какая она смелая? Пусть проверят.

— Хочешь, ночью на кладбище пойду? Одна.

Рыжий одобрительно кивнул головой. Лидка предлагала проверить ее так горячо, что нельзя было не поверить. Но он выдвинул еще одно условие:

— И веселых любит Чапаев. Петь, к примеру, умеешь?

— А зачем? — изумилась Лидка. — Смелость на войне требуется. Без нее не обойдешься. А песня? К чему она?

— Никак без этого не примет Чапаев. Верно, ребята?

Вертлявый поддержал:

— Ясно-понятно.

Ну что ты будешь делать! Прямо в душу лезут люди. Но ради Чапаева Лидка на что угодно готова. И она скороговоркой выпалила частушку, которую слышала от молодых красногвардейцев, возвращавшихся с дутовского фронта:

> Фу ты ну ты, ноги гнуты.
> Жил-был Дутов генерал.
> На него напали наши —
> Он лампасы обмарал!

Все Лидкины слушатели весело и одобрительно смеялись, и она смиренно попросила рыжего:

— Ну, ты теперь меня пропустишь?

Рыжий хлопнул ее по спине:

— Молодец! Теперь иди. Вон видишь на крыльце человека? Он у нас после Чапаева самый главный.

Но Лидка не маленькая. Какой же это главный, если он обыкновенный часовой? Его дело с винтовкой у входа стоять и пропуска спрашивать. Спорить, однако, не стала. Времени жалко. И так даром сколько потеряла.

...Часовой, прислонившись к косяку, дремал. Подбородок его медленно опускался все ниже и ниже, а когда касался груди, часовой вздрагивал, мотал головой и выпрямлялся. А потом все начиналось сначала. И подбородок опять мелкими толчками плыл вниз. Лидка думала, что проскочит незаметно. Но скрип рассохшейся ступеньки выдал ее. Часовой встрепенулся, перекрыл

дорогу откинутой в сторону винтовкой и гаркнул, еще не успев разлепить век:

— Стой! Кто идет?

Перед ним стояла девчонка. Худая, загорелая, на вид лет двенадцати. Старенькое пропыленное платье. Босые ноги в цыпках. Серые большие глаза глядят исподлобья без всякого страха, с каким-то вызовом.

— Куда тебя черти несут? Заблудилась, что ли? Или не видишь, што здесь?

— А мне в штаб и надо. К Чапаю.

— Зачем?

— Воевать!

Часовой — худой длинный парень в порванной на плече гимнастерке — наклонился к Лидке, еще раз оглядел ее и вдруг захохотал.

— Уморила... За подол-то матери давно ли перестала держаться? Может, крапивы захотела? А? Так я мигом.

Глаза девчонки воинственно сверкнули. Сжались от обиды кулачки. Знала: те, на бревнах, все видят и давятся, наверно, от смеха.

— Пусти! — И она вскочила на крыльцо штаба. Часовой ухватил ее за рукав. Послышался треск.

— Не тронь!

В голосе Лидки и слезы и злость.

Но часовой не отпускал ее:

— Не ходи, куда не след. Чапаю здоровые мужики нужны, а не мелюзга в юбках.

— Что за шум?

На крыльце появился невысокий худощавый мужчина в заломленной папахе с красной лентой, вшитой наискось. Усы стрелками вверх. Серебряная шашка бьет по голенищу высокого, начищенного до блеска сапога.

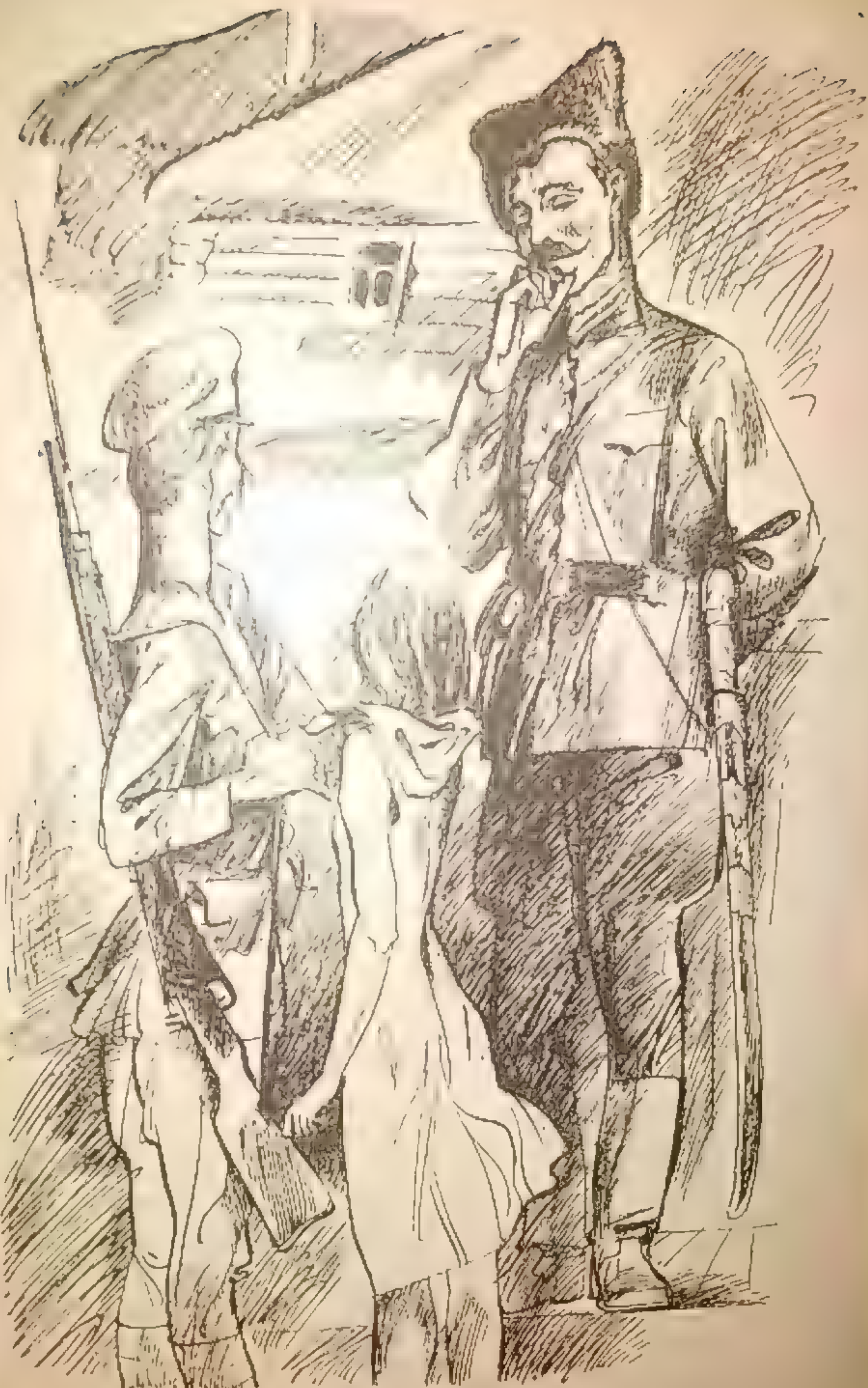
Вспомнилось, как дядя Семен описывал Лидке Чапаева. Похож!

Оробевший вдруг часовой не сразу нашелся, что ответить.

— Да вот... Василий Иванович, пигалица на мою голову навязалась. Одно заладила: «К Чапаю хочу!» Я ее домой. Иди, говорю, в куклы играть. А она одно — ломится к тебе. Насилу удержал...

— Чья будешь-то? — мягко спросил тот, кого называли Василием Ивановичем.





— Рабочего Лагунова дочь... Лидка... Из Самары... Разбили нас чехи. В отряд хочу.

— Ну, а делать что умеешь?

— А все. Хоть стрелять, хоть рану перевязывать...

— Вот заливает, не споткнется,— удивился часовой.

В глубине сеней Лидка увидела пирамиду с винтовками. Проскользнув под рукой командира, она подбежала к пирамиде, схватила крайний кавалерийский карабин. Ловко щелкнула затвором.

Василий Иванович, [illegible] довольный ее прытью, схватил Лидку за руку:

— Убьет ведь! Ей-богу, убьет!

Чапаев еще раз оглядел Лидку с ног до головы.

— Все бы ничего. Ладная ты девка. Да только подрасти бы тебе малость. [illegible] загубим в деле — грех на душу... Ну да ладно. Запишем тебя в пешую разведку. Идет, что ли?

Лидка облегченно вздохнула и широко улыбнулась: «Идет!»

И тут Чапаев увидел прореху на плече часового.

— Эт-т-а что за оборванец на часах стоит? А-а-а? Чапаева на позор выставлять? Кто командир золотой роты?

— Козырев,— пролепетал перепуганный насмерть часовой.

Чапаев потемнел лицом.

— Я не посмотрю, что боевой командир. Отыскать его и пускай сам стоит на часах.

Разгневанный, он широко зашагал от крыльца штабной избы. Лидка поспешила за ним.

Теперь ей было жалко часового. Она оглянулась. Обескураженный молодой боец все еще держал ее оторванный рукав, не зная, что с ним делать.

...К вечеру Лидка уже щеголяла в чистенькой выгоревшей гимнастерке, надетой поверх платья. На старой солдатской шапке — наискось алая лента. Ремня не нашли. Перепоясалась тоненькой бечевкой.

— А штаны мы тебе в первом же бою добудем,— утешали ее разведчики.— Обоз у нас, знаешь ли, того — слабоват. Ежели у беляков отбираем что, так больше по части оружия.

Те четверо оказались совсем неплохими ребятами. Уже на следующий день Лидка всех их знала по имени и фамилии. И они обращались с нею как со старой

знакомой. Рыжего забияку звали Леней Самарцевым. Черноволосого парнишку с красивыми печальными глазами — Изей Шапиро, вертлявого — Афоней Гвоздевым. Но никто до конца его фамилию не договаривал. Просто Афонька Гвоздь, да и все. Девушку с золотистыми чудесными косами звали Настей.

Ребята — разведчики. Настя — из санитарной части.

Каждый из них был только на два, на три года старше Лидки, и она без особого труда вошла в их компанию.

УРОКИ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Три дня чапаевцы стояли в Раевке. Лидка все допытывалась у новых друзей, принявших ее в свою семью, почему это деревня называется Раевка, а не Адовка, допустим, или еще как-нибудь. Ведь никакой райской жизни здесь не видно. Домишки бедные. Многие уже заваливаться начали. Крыши соломенные. Только две или три деревянные да одна, где при царе кабак был, железная.

— Ты что, мой генерал, думаешь, это от райской жизни назвали? — ухмыльнулся на ее вопрос Самарцев.— Как бы не так. От райских яблочков. Местное население считает, что по этим яблочкам их деревня — просто столица мира.

Удивительная особенность у Лидки — сразу же цепляться за непонятное или странное. С яблочками потом можно разобраться. Но почему это Лешка, с кем ни говорит, обязательно генерала вставляет? Вот сейчас с ней разговаривает — и опять ни с того ни с сего генералом ее обозвал. Издевается, что ли?

Но Самарцев не издевался. И даже объяснил свое странное присловие.

— Понимаешь, Лидух, это здорово красиво звучит, когда на французском младший к старшему обращается: «мон сир». Правда, так к королям больше или к императору. Был такой Наполеон... Сколько французских книжек прочитал, там везде так выражаются. Ну и запало мне на язык. Сначала я к взводному так: мон сир, мол, когда в разведку направите? Ничего — проглотил. Потом ротного так же обозвал. Тоже, смотрю, без последствий. Поморгал глазами, а спросить не спро-

сил. В общем батальонное и полковое начальство прошел с этим монсиром. Тут такое дело. Кому перед подчиненным свою неграмотность хочется показать? Ну и глотают, значит, походя. А вот на Чапае споткнулся.

— Да ну? — И Лидка придвинулась по бревну, на котором они сидели, к Лешке. — Как же это? Или он тебе ножку подставил?

— Эх ты, чудушка Лидушка! — Самарцев сделал пальцами козу Лидке. — Тебе еще в люльке качаться, простых вещей не понимаешь. Словом или плеткой такую подножку можно подставить!..

Лешка затянулся последний раз, бросил окурок на землю, втоптал его каблуком и цыкнул слюной через сжатые зубы, да так далеко, что Лидка только ахнула от восхищения.

— Да-а, с Василием Ивановичем встречка. О чем-то спрашивает он меня, ну, как это, заметил ли я стогов сена поблизости, чтобы лошадей подкормить. Ну, я говорю, конечно, как не заметить, и вставляю свое «мон сир». Разговор-то уж заканчивался, он даже с кем-то другим объясняться начал и вдруг поворачивается: «Чего ты сказал, Самарцев?» Я, вот как тебе, все и раскрыл. Красиво, мол, звучит «мон сир», и все довольны. Про короля и про Наполеона, само собой, вставил. А он, гляжу, плетку свою поднимает, и глаза какие-то не такие стали у него. «Я,— говорит,— покажу тебе Наполеона. Я тебя научу мансирить. С языком,— кричит,— вырву!» Ну вот, я и перешел на русский. «Мой генерал» легче проходит. Тоже никто не возражает. Только один командир у черепка пальцем покрутил: уж не тронутый ли, мол...

Леша Самарцев был племянником бывшего начальника штаба дивизии Петра Самарцева. Но дядя не пригревал племянника. А Леша, если бы ему кто-нибудь покровительствовал, счел бы это страшной обидой. Парень он независимый и самолюбивый. Любил риск и опасность и в свои 16 лет был уже стреляным, ловким и надежным солдатом. Остер на язык. Знал много всяких историй, побасенок, сказок. На отдыхе целыми часами развлекал товарищей. Любил Лешка щегольнуть хорошими сапогами и алой кубанкой, ухаживал за своим кудрявым рыжим чубом, из трофеев уважал только изящные маленькие офицерские пистолеты.

к Лидке относился с небрежной снисходительностью, но в обиду ее никому не давал. Она была, пожалуй, единственным человеком в дивизии, которому он позволял подтрунивать над собой. Предметом Лидкиных насмешек было чаще всего несоответствие цвета Лешиных глаз цвету волос. Волосы — рыжие. Глаза — зеленые.

Лидка часто изводила его:

— Лешка, а Лешка, а почему ты такой чудной?

Лешка отмахивался:

— Да отвяжись ты! Какой это «чудной»?

— А такой... серо-буро-малиновый... Порода, наверное, такая, как у морских мышей. Только у них немного по-другому. Шерсть белая, глаза красные... Тебе бы в балаган на Троицкий рынок.

На Троицком рынке видела Лидка белых мышей, которые вытягивали из шляпы билетики со счастьем по заказу публики. Плати, и можешь получить свое счастье.

Леша, разозлившись, переходил в наступление:

— Тебя тоже можно туда же. Про девицу-кавалериста Надежду Дурову слыхала?

Лидка, сраженная таким вопросом, смущенно признавалась в невежестве:

— Нет.

Любил Лешка благодарную аудиторию. А Лидке его рассказы слаще меда. Так бы с открытым ртом все время и слушала.

Добровольное свое шефство над боевой девчонкой Самарцев воспринимал вполне серьезно. Понемногу вводил ее в курс обязанностей бойца пешей разведки, учил всяким премудростям солдатской походной жизни и секретам актерства, без которых настоящему разведчику никакого хода не будет.

— Ну-ка давай реви, мой генерал!

Лидку от обидного оскорбительного предложения даже перекосило:

— Еще чего? Меня сколько раз били, да я не ревела.

— А я говорю — реви,— наступал Лешка.— Перепугалась будто...

Уразумев наконец, что Лешка не просто так, из прихоти, а заставляет ее реветь, потому что так надо, Лидка завопила что есть мочи.

Самарцев недовольно покрутил головой, зажав уши.

Обучение происходило у старой полуразвалившейся

кузницы на окраине села. Лешка на правах учителя сидел на перевернутой колоде, в которой когда-то охлаждали раскаленный металл, а Лидка стояла перед ним, как послушная ученица, и готова была сделать все, что он скажет.

— Корова, мой генерал, так ревет корова. Ну, что ты дерешь горло? Кто же тебе поверит? Тоненькие девочки ревут тихо и со слезами. А ты трубишь, как журавль в небе, и сама собой любуешься — вот как громко получается. А где слезы? Где слезы, я тебя спрашиваю?

Со слезами было трудно. И хоть силу рева Лидка могла и сбавить и даже стала правдоподобно всхлипывать, слезу из себя выжать не могла. Напрасно терла до красноты глаза кулаками, напрасно водила по векам листом крапивы. Не плакалось, и все. Готова была даже пережить снова те стыдные и горькие минуты, когда отец отхлестал ее ремнем за припрятанные гильзы и когда слезы, эти самые чертовы, проклятые слезы, которых так добивается Самарцев, текли по лицу в три ручья. А сегодня их не было, хоть ты тресни, хоть лопни.

И Лешка, поняв, что и не будет, вдруг успокоился и, похлопав ладонью по колоде, предложил Лидке сесть.

— Ты не думай, что я просто так балуюсь, измываюсь над малолеткой. Разведчик — что актер. Видела актеров?

Лидка встрепенулась.

— Это которые с шарманкой и попугаем посреди улицы ходят?

Лешка почесал за ухом, прищурился:

— М-да, мой генерал, отношение к искусству у вас более чем скромное. Это, конечно, тоже актеры, но у них разведчик многому не научится. Настоящие актеры на сцене. Театр знаешь?

Вот теперь Лидке было что ответить.

— Ха! Это напротив Струковского сада? Красный кирпичный такой? Туда еще по билетам пускают? Как же не знать — знаю. Сколько раз там с горы на ледянке каталась...

— Ну, а в самом театре была?

— Не, в самом не была. Туда деньги надо,— грустно призналась Лидка.

— Да,— согласился Лешка,— деньги — это точно, мой генерал. А я с заднего хода, через столярку. Есть

у меня там знакомый, дядя Федя, декорации делает. Помогу ему пронести на сцену какую-нибудь стенку от дворца или колонну храма — и на галерку. Всегда свободное местечко находилось.

И вдруг произошло что-то неожиданное. Лешка соскочил с колоды, выпрямился, развел плечи и, воздев руки к небу, дико завращав глазами, завопил:

— «Злись, ветер, дуй, пока не лопнут щеки!
Потоки урагана, затопите все!
Все колокольни, флюгера залейте!
Вы, серные огни, быстрее мысли!
Предвестники дубы крушащих стрел,
Спалите голову мою седую!»

Лидка не знала, что и подумать. А Самарцев так же внезапно остановился, как и начал:

— Это я короля Лира изображал, который с ума сошел. Его, понимаешь, все предали, ну он и того... и свихнулся. А вот еще я тебе Скотинина представлю.

Лешка как-то перекрутился, надулся, уставил руки в бока, выкатил живот, втянул голову в плечи и оттопырил нижнюю губу:

— «Кого? За что? В день моего сговора? Я прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложи наказание до завтра. А завтра, коль изволишь, я и сам охотно помогу. Не будь я Скотинин, если у меня не всякая вина виновата. У меня в этом, сестрица, один обычай с тобой».

Лидка смотрела на Лешку со страхом и восхищением, так она не умела. Вот что значит театр!

А Самарцев уже опять был знакомым Лешкой, простым и веселым, немного насмешливым рыжим парнишкой с зеленоватыми глазами.

— Если бы я был большим начальником, я бы всех актеров в разведку определил. Актер кого хочешь представит: и нищего, и старика, и сумасшедшего. Он и плакать может так, что слезы градом, и смеяться так, что волосы на голове дыбом. Артист любого беляка за нос проведет!

МОКРАЯ ПОДУШКА

А когда опустился на землю вечер, потащил Лешка Самарцев Лидку Лагунову на встречу с Чапаевым. Уже несколько дней стоял штаб в деревне, и жители ее,

вздыхая, перешептывались, что надо бы вызвать Василия Ивановича на разговор.

Вопросов неясных накопилось у них множество. И каким партиям сейчас верить больше, и каким не верить? И как с землей поступать? И не вернется ли опять учредиловка? И правда ли, будто с каждого двора, когда будет уходить из деревни, Чапай заберет по лошади и по здоровому мужику?

Разные слухи ходят, поди разберись без умного человека. Разговор состоялся в бывшем помещичьем доме, стоявшем на отлете от Гавриловки. Помещик еще в прошлом году, когда победили Советы, куда-то вместе с семьей подевался. Прислуга разбежалась. Барский дом опустел. Кое-кто попользовался тем, что он без хозяина. Двери остались без медных ручек, зеркала унесли, гвозди из стен повыдергали.

А все, что в крестьянском хозяйстве без надобности, то уцелело. И люстры хрустальные, и кресла с позолоченными гнутыми спинками, и портреты важных дам и мужчин в париках. Правда, стекол кое в каких окнах не хватало.

Большая гостиная барского дома, в которой проходила встреча местных жителей с Чапаевым, была хоть куда. Когда зажгли керосиновые лампы в бронзовых подставках и Лидка увидела, какие в комнате гладкие голубые стены, она даже слов не могла отыскать, чтобы выразить свой восторг. Только и сказала Лешке:

— Вот бы тут хоть денек пожить!

Хотел, видно, съехидничать Самарцев в ответ, уже недобро прищурился и сверкнул полоской ровных белых зубов, да не успел. Стали люди, сидящие на длинных деревянных скамьях, принесенных из помещичьего парка, подниматься, загудели:

— Идет! Идет!

На низеньком помосте в противоположном от дверей конце гостиной стоял стол под красным покрывалом. К нему шел, придерживая шашку, по узенькому проходу, образованному раздавшейся толпой, Чапаев. Был он на этот раз без своей знаменитой бурки, в английском зеленом френче, перетянутом новенькими желтыми ремнями, в галифе и мягких кавказских сапогах со шпорами, которые тоненько позванивали. Усы у Чапаева были тщательно расчесаны и закручены стрелками вверх. Он шел по проходу и, по-

ворачивая голову то вправо, то влево, отвечал на приветствия крестьян.

Лидка жадно впилась глазами в Чапая. О чем будет говорить герой? Наверное о том, как воевать с беляками дальше, как им рубить головы и вообще, как защищать Советскую власть. Если бы спросили ее, как одержать победу над врагом, она бы не задумывалась. У нее было свое решение, и уж если командирам так хочется, она предложит его. Какие могут быть секреты, если речь идет о революции и защите Советской власти. Будь ее, Лидкина, воля и власть, она бы собрала всех мужчин, которые способны носить оружие, на одну площадь, построила бы их, и стала бы спрашивать: за кого они — за красных или белых? За красных — на тебе винтовку и становись справа. За белых — никакой тебе винтовки, становись слева. А потом, когда бы всех разделили, кто справа — поздравила бы как бойцов Красной Армии. А кто слева — в тюрьму. Вот и все. А то вон какое положение. Идет война, люди кровь проливают. Тут же, в деревне, полно мужиков, и непонятно — за кого они: то ли за наших, то ли за врагов. А если за наших, почему оружие не просят?

Но Чапаев не стал делить людей, не стал допрашивать, почему это они все в его дивизию сразу же, как увидели его, Чапая, не вступили.

Совсем не с военного дела начал Василий Иванович, а с простого, но заставившего сразу замолчать гудящий зал, вопроса:

— Проехал я по вашим полям, мужики. И грустно на сердце стало. Чего это вы так мало зябки напахали? Аль не в почете тут озимые?

У-у-у, что тут началось! Мужики и бабы в полный голос кричали Чапаю:

— Как не в почете? Мы бы рады, да тягла не хватает!

— Попаши-ка сам, когда во дворе ни мужика, ни коня. Одна куча ребятишек.

— Ты бы свою кавалерию на день уступил, тогда бы и зябка у нас была.

И еще много разных явственных и неразборчивых восклицаний неслось из зала. Чапай, как будто наперед знал, что так будет, удовлетворенно кивал головой и вдруг поднял руку:

— Которые тут насчет кавалерии моей кричали, в

самую точку попали. Значит, так...— Он поманил пальцем своего помощника по хозяйственной части, высокого, длинношеего интенданта Рапунова, и командира особого разведэскадрона Сурова и, когда они подошли, продолжил: — Значится, так. Завтра чуть утро, приходи, кто безлошадный, к штабу. Вдовы да многодетные солдатки в первую очередь. Вся наша конница зябку вашу до обеда поднимать будет, дрова там или что другое по хозяйству тоже привезти можно.

А после обеда мы, дорогие товарищи, прощаться будем.

Вот так начало! Лидка ничего не понимала и недоумевающе смотрела на Чапаева. Впрочем, так смотрела не одна она, а и многие из крестьян, пришедших на встречу. Смотрели и молчали, пока какой-то старик в безрукавке из австрийской шинели не разорвал тишину пронзительным и восторженным криком:

— Ура нашему пролетарскому товарищу командующему Чапаеву! Ура!

И весь зал, и мужики, и бабы, и красноармейцы, и сама Лидка, как будто обрадовались возможности показать, какие у них звучные и сильные голоса, дружно поддержали старика:

— Ур-р-ра!

Нет, так и не разделил Чапаев собравшихся на две части: на ваших и наших, не разбил их вправо и влево. Не получилось по-Лидкиному. А вот ответ она на свои мысли получила. Словно заранее знал, как собирается победить врагов боец Лагунова.

— Вот тут загодя спрашивали меня мужики, что если поголовную мобилизацию провести да и навалиться всей громадой на белых? Ведь не выдержат гады — сломим! А вот и нет. Нельзя нам на сплошную мобилизацию полагаться. Пока мужик не осознает, за что ему кровь проливать, пока у него в голове его баба да ребятишки — какой он солдат? Неволец он, вот кто... А от невольцев толку, што от прошлогоднего огурца на пожаре. Ты мне дай сознательного бойца в строй, тогда я тебе до какого хошь Берлина дойду. Так что ежели добровольцы — с милой душой возьму. А невольцы пусть дома сидят, пока их беляки не ухватили. Большие они охотники до невольцев.

Рядом с Лидкой стоит пожилой красноармеец. Он приходил к Насте перевязывать раненое плечо. А Лидка

была как раз в санчасти и помогала Насте. Там и познакомились.

Красноармеец наклонился к Лидке и сказал жарко:

— Вот бы всем так разговаривать с солдатами-то, с мужиками и бабами! Сказал Чапай слово — словно гвоздь в голову вколотил. И не думаешь, а думаешь. Вот бы всем нашим агитаторам так-то!

Шепчет так старый солдат Лидке, а сам боится, как бы не пропустить что из речи Чапая.

А тот мнет в руках свою заломленную шапку и вроде дырку в ней от пули разглядывает.

— А помощь народная нам нужна. Куда мы без нее?

Чапаев рассказывал о самых мирных, совсем не воинственных вещах, о том, какой видит жизнь, когда перестанет литься кровь, о том, как жалеет, что мало учился грамоте, и что Советская власть не даст в обиду многодетные семьи, у которых война отняла кормильцев. О страшной бедности, в которой находится Россия, о том, как большевики будут бороться с этой бедностью.

— Мы сейчас што? Голь перекатная. Што нас, красноармейцев, возьми, што вас, крестьян. Хорошо если есть на смену порты... А о сапогах-то и не говорю вовсе. Вон, на все село у вас десяток-то пар наберется — и то ладно. А у нас девять из десяти бойцов в обмотках...

— Сам-то, поди, в сапогах...

Лидка думала — рассердится сейчас Чапаев, рукой махнет и сойдет с крыльца. А он, точно угадывая ее мысли, рассмеялся, подмигнул кому-то:

— Слышу, слышу. О лаптях, мол, говорит, а сам-то в сапоги, небось, вырядился... Ну, тут — такое дело... Во-первых, мне положено. Сами посудите — полный георгиевский кавалер... Во-вторых, командир дивизии, как-никак, по старым меркам — генерал. А где это видано, чтобы генерал в лаптях ходил? Но уж ежели приспичило кому-то мои командирские сапоги заполучить и нету для него без них в жизни счастья, так я чего же? Я готов поменяться. Случалось в жизни всякое — и босыми в бой хаживали...

«А вдруг и в самом деле кто да и захочет чапаевских сапог? — со страхом подумала Лидка.— Как тогда? Неужто в лапти начдив обуется?»

Но таких смельчаков не нашлось. Чапаевский ответ

явно пришелся по душе крестьянам. Да и красноармейцам тоже. А особенно поразил всех решительный жест Василия Ивановича. Он ведь обеими руками взялся за голенище правого сапога. И всем было ясно: скажи кто-то — давай, в тот же миг снимет и отдаст свои мягкие кавказские, знаменитые на всю дивизию, а может, и армию сапоги. И нисколько не пожалеет.

Вот какой у Лидки командир!

Да, за таким кто не пойдет? И Лидка гордо подняла голову. Это еще ничего, что она ничего особенного не совершила. Еще совершит!..

А люди все спрашивали и спрашивали. Добрались и до личности самого Чапая.

— Сам-то ты, Василий Иванович, из каких будешь? Вот тут один знакомец баил, что из офицерьев происходишь. Будто погоны золотые носил. А за красных потому пошел, что на царя обиделся: чинами плохо награждал тебя, вроде бы за строптивость твою, непослушание...

Лидка не могла разглядеть того, кто задал этот вопрос, как ей показалось, обидный и глупый. Человек выпалил его скороговоркой, не поднимаясь с места.

Вот сейчас Чапаев рассердится, сейчас он даст этому контрику за обиду — или сам расправится, или велит арестовать...

Но ничего такого не произошло.

Рассмеялся Василий Иванович, провел пальцами по кончикам усов — не раскрутились ли — и вдруг вытянул руку вперед, ладонью к застывшему в ожидании залу.

— Я ведь, граждане, не первый раз такой вопрос слышу. И не потому, что погоны подпрапорщика носил. А вот еще, как посмотрит кто на мою руку, дак сразу и хвать за нее. Где, говорят, трудовые мозоли? А мозолей-то и нет. И еще пытали меня: што это, Чапаев, у тебя ладошка узкая, не рабочая, не крестьянская, может, дворянская кровь в тебе гуляет или еще какая нетрудовая?.. Так я вот што на это отвечу. Царской, графской или княжеской нет — тут могу чем хошь поручиться. Касаемо дворянской подумать надо, поскольку двор в Будайках вблизях Чебоксар у отца точно был. Только вот солома на крыше того дома ни разу до весны не долежала.

— Ну, тогда чего и говорить. Чистый дворянин! —

хохотнул кто-то. И весь зал грохнул. Чапаев тоже рассмеялся...

Он разговорился, овладел вниманием крестьян, и речь его лилась плавно и свободно, будто он всю жизнь прожил рядом с этими людьми, будто за одним столом сидел и знает тут каждого.

— А вот в купцы, дорогие товарищи мои, я даже очень свободно мог выйти, не случись происшествия с гирями.

Лидка навострила уши. Чего это Василий Иванович над народом куражится? Какой такой еще купец? Раз крышу скотине скармливали — значит бедняк из бедняков... А тут гири какие-то...

А гири-то и вправду, оказывается, сыграли в жизни Чапая свою роль.

— Ну, поскольку ртов в семействе много, а каравай-то не резиновый, от спаса до спаса не растянешь, в восемь лет меня, значит, в люди пустили. Взрослый, пора самому пропитание добывать. Вот и ходил года четыре или пять в мальчиках. А какая в мальчиках жизнь, што в ней сладости? Пинки, подзатыльники. За водкой сбегай, самовар поставь, пыль из лопотины выбей, сапоги хозяйке почисти. А за все про все — холодные объедки на кухне.

И вот попал я в лавку к одному купцу. Хитрый, с Библией не расстается... На честность все проверял. То рубль подбросит, то ящик с конфетами незакрытым оставит. А сам в щелку...

Ну, я не баловался. Так дома приучен. Сыт ли, голоден ли, а чужого не тронь.

Рубль найду — положу на хозяйский стол. Ящик закрою. Ну и стал меня купец, значит, к торговле приучать. Раз у весов оставил, другой. Смотрит — получается. Довольны люди. Вешаю точно, сдачу сдаю без обману. И купец доволен: выручку я ему до копеечки. Перед тем как замок повесить, он мне из каждого ящика по подарочку: оттуда конфетку, оттуда мятный пряник, оттуда горсть изюму. Расти, говорит, честный помощничек, да помни мою доброту.— А кто знает,— Чапаев усмехнулся, прищурился,— што из меня получилось бы, если бы не эти самые гири? То одни он мне подсунет, то другие. Вроде бы одинаковые, а положи на чашки весов, нет — разные! Скумекал тут, значит: одни-то настоящие, а другие — фальшивые, с недо-

[illegible]. Ну и отказался я от этих самых, фальшивых. Тут, значит, и конец моей купеческой карьере. Как щенка, выкинул хозяин. Уж не то что полакомиться напоследок не дал — шапку домашнюю и ту у себя оставил: с непокрытой головой от него ушел.

Долго еще держали крестьяне Чапаева. Задавали всякие вопросы, он отвечал. На одни — коротко, со смехом. На другие — серьезно и обстоятельно. А Лидка, набегавшаяся и уставшая за день, особенно от актерского урока, который преподал ей Лешка Самарцев, слушала плохо и скоро начала зевать. Настя первая заметила это и, пробравшись к Лидке, потянула ее за руку. Лидка не сопротивлялась. Спотыкаясь, пошла она за Настей через темные сенцы в избу, отведенную для девушек из санитарной части, и свернулась калачиком на хозяйском сундучке за печкой.

Хоть и числилась Лидка в пешей разведке, там она была одна среди мужчин, и на ночлег ее брала с собой Настя.

Пока шла от барского дома до деревни, ноги заплетались, глаза слипались, а положила голову на подушку — и сон куда-то отлетел вдруг.

Тоска! Говорят, она приходит только ко взрослым, много пережившим людям. А вот навалилась она и на Лидку. Да как-то сразу, мгновенно.

Вдруг возникло в памяти, да так ярко, что Лидка чуть не закричала, окровавленное лицо матери в оконном проеме и сморщенное личико зашедшейся в плаче грудной Ленки.

Как они там? Все ли живы? И об отце ничего не известно. А может, его беляки уже схватили?

И Лидке стало стыдно. Стыдно, что она сама-то почти в полной безопасности, сыта, одета, обута.

...Из дома, поди, их выкинули — чужой. Есть нечего. А ведь четверо совсем маленьких. Не понимают. Поди, мать изводят: дай да дай... А ей где взять?

Вот если бы им ту лавку, про которую Василий Иванович рассказывал. Хочешь — в мешок с мятными пряниками руку тяни... Хочешь — в ларь с изюмом. И карамель всякая: в бумажке и просто голенькая. В бумажке Лидка еще никогда не ела. И предполагала, что там вкуснота необыкновенная.

Приснилось Лидке все лагуновское семейство в лавке жадного купца, которую по постановлению Советской

власти передали за революционные заслуги Лагуновым.

Борька карамельки за обе щеки запихал. Любка до пряников дорвалась. И хоть зубки еще едва резались, уписывает мятные один за другим. И сама Лидка, почему-то уже без всякой военной амуниции, а в том новеньком ситцевом платьице с большим масляным пятном на подоле, захватила мешок с изюмом. Пересыпает, пересыпает изюм между пальцами, играет им. А когда наигралась и поднесла щепотку изюма к губам, кто-то вдруг закричал страшным голосом:

— Тебе хозяйские гири не нравятся? Убью!

И сладкие камушки сами скатились с Лидкиной ладони в мешок. А кричали-то, оказывается, и не на нее вовсе. А на маленького худенького мальчишку, который пятился от громадного бородатого, в белом приказчичьем фартуке человека. Человек бил одну о другую две большие гири и все наступал, наступал на мальчишку. А мальчишка только с жадностью поглядывал на лакомства, которыми была набита лавка, и плакал:

— Вы мне на расчет дайте, дяденька, этого всего понемножку. Я не для себя. У меня в Самаре знакомые есть — Лагуновы. У них ребятишки еще ни разу ничего такого не пробовали. Я для них...

А страшный мужик все наступал и высекал гирями искры.

И так обидно и больно стало Лидке за маленького Васю Чапаева, за своих братишек и сестренок, оставшихся там, в занятой врагами Самаре, что не удержалась и залилась безутешными слезами.

Жалко было и Васю. Лишился такого хорошего места...

Лидка не слышала, как подошла к ней встревоженная Настя, как потрогала ее лоб и, успокоенная, отошла к своей постели.

Утром Настя пожаловалась Самарцеву:

— Знаешь, что-то с нашей разведчицей происходит. Вся подушка от слез мокрая...

Самарцев выслушал ее и хохотнул:

— Все понятно, мой генерал. Наука впрок пошла. Это она упражнялась.

Но Насте ничего не было понятно.

— Как упражнялась? Подушку слезами обмывать?

Самарцев ничего не стал объяснять. Напустил на лицо строгость:

— Это наша военная тайна. Секрет разведки. Может, у нас было задание: не оставлять на подушке ни одного сухого места.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПИР

Дни не походили один на другой. Новые места. Новые люди. Юркая, расторопная, любознательная, Лидка пришлась по душе пожилым чапаевцам. Среди них было много крестьян. Красноармейцы с гордостью называли себя хлеборобами и по вечерам, потягивая махорку, подолгу беседовали о преимуществах новой ростовской молотилки, о том, какой дождь нужен под сев клевера, об оставленных семьях, о том, как разъярились на Советскую власть мироеды, которым революция укоротила руки.

Истосковавшись по своим ребятишкам, чапаевцы оберегали Лидку от опасности, баловали ее яблоками, а порой непонятно где добытыми леденцами. А Лидка все рвалась к настоящему делу, боевому. Ей во всем хотелось походить на взрослого бойца. Но ведь не всегда желаемого добиваешься сразу. Началось с обидной и смешной неудачи.

В избе их было трое. Ждали Изю Шапиро, который ушел на разведку в Гавриловку.

Лидка сидела у окна: смотрела, не идет ли Изя, и одновременно слушала стихи, которые читала Настя из маленькой синей книжки.

А Самарцев, пропуская через пальцы свой рыжий чуб, а потом забирая его снова, не столько слушал, сколько смотрел на милое Настино лицо.

— «Играют волны, ветер свищет,
А мачта гнется и скрипит...
Увы, — он счастия не ищет
И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!» —

читала Настя.

— Это же прямо про нашего Чапая написано! — не выдержала Лидка.

Лешка присвистнул:

— Это лет сто назад Лермонтов написал, девочка.
Лидка упорствовала:
— Все равно про Чапая... «просит бури».
Настя с улыбкой слушала их неравный спор, вертела в руках книжечку и как бы про себя обронила:
— Изя с ней вот уже три года не расстается.
Самарцев рассердился:
— Изя... Изя... У тебя на языке и другого слова нет.
Он демонстративно отошел от Насти и подсел к Лидке.
— Видала? Один полковник подарил...— И щелкнул перед Лидкиным носом крышкой щегольского серебряного портсигара.
— Подарил? — удивилась Лидка.— Белый полковник?
— Ага. Белый. На реке во время купания познакомились. Вылез из воды, одевается, я ему: «Руки вверх» Он — в карман. Только с перепугу, должно быть, забыл, в котором пистолет, и достает вот эту штуку. Подхожу, вежливо забираю. «Мерси, мой генерал»,— говорю. А он рот раскрыл, глаза выпучил, а сказать ничего не может...
У Насти, видать, свое на уме:
— Нельзя его в разведку посылать. Близорук очень. Погибнет, как жалко-то будет... Умный, талантливый... такой. Ему бы студентом быть...
Снова обиделся Самарцев. Накинулся на Настю:
— Вот спасибо! А мы, значит, дураки, бестолочь, да? Нам умирать сам бог велел, да? Нам в студенты не хочется... Так ты нас понимаешь, сестра милосердия?
Впрочем, Лешка и сам недолго выдержал такой тон. Посмотрел раз-другой в ясные и чистые Настины глаза и уже совсем другим языком заговорил:
— Ты не думай. Я за Изьку любому горло перерву. Только он сам не любит, когда ему жизнь против других облегчают...
Лидка смотрела на них и удивлялась. И чего ругаются? Ведь они друг без друга жить не могут. А вот сойдутся и обязательно поцапаются...
Увлекшись разговором Лешки с Настей, она перестала смотреть в окно и, когда на крыльце раздались быстрые шаги, соскочила с лавки.
— Изя идет!
Но в избу вошел не Изя, а Афонька Гвоздь. Он ши-

роко расставил ноги на пороге, горделиво расправил плечи и бросил пренебрежительный взгляд на книжку, которую читала Настя.

— Говорят, бога нет, царя скинули. Черта с два! Смотри-ка, одни книжечки почитывают, а другие работают. Во! Новые баре растут...

Только сейчас Лидка заметила, что из-за спины Афоньки выглядывает угол чем-то набитого мешка.

— Операцией руководил я! — козырнул Гвоздь и вытряхнул из мешка связанных кур.

Настя возмутилась:

— Чапаев узнает, он тебе пропишет операцию!

Насупился и Самарцев:

— У мужиков стянул? Тащи обратно!

Но Афонька держался бодро и независимо.

— Спятили, что ли? [illegible] психический? На кулацкий двор зашел. Вижу, [illegible] нет — сбежал. Не пропадать же добру!

Леша посмотрел на Афоньку испытующим взглядом и неуверенно протянул:

— Ну, если у кулака, [illegible] другое дело...— и повеселел. Кому не хочется курятинки...

Афонька засуетился. Он бегал по комнате, потирая руки, и радовался.

— Вот наедимся! Меня с голодухи второй день мутит. Когда еще обоза дождемся. Неделю идет...— Потом спохватился.— А кто варить-то будет?

Настю в это время вызвали в санчасть, и Самарцев обратился к Лидке:

— Как, Лагунова, кур умеешь варить?

Лидка, недолго думая, утвердительно кивнула головой. Тоже задача! Чего тут сложного?

Разведчики оставили Лидке мешок с курами, а сами ушли по своим делам. Ничего себе куренки! Каждый, как горшок с кашей.

Засучив рукава гимнастерки, Лидка принялась за стряпню. Развести огонь в летней печке во дворе — дело двух минут. Вскипятить воду в большом конском ведре — тоже нетрудно. Вот уже отрублены головы, лапы. Пух и перья разлетелись по всему двору... Вот и готовы куриные тушки: крупные, желто-белые, с маленькими пупырышками на коже. Теперь можно и запускать. И вот уже варится курятина в конском ведре. Кипит, булькает вода. Куры ныряют в кипяток, как живые.

Перевертываются. Кувыркаются. То живот покажется, то обрубок шеи, то мотолыжка.

Пора, наверное, и солить. Но пока бегала в избу за солью, на кипящей поверхности появилась овсяная шелуха. И какие-то зеленые пятна расплывались все шире и шире. Да и шелухи все больше и больше.

— Вот гадина! — со злостью бросилась Лидка к лошади, которая мирно щипала траву в трех шагах от печки.— Успела уже напакостить...

Однако лошадь была явно ни при чем. Она привязана к амбару, а повод слишком короток для того, чтобы животное могло дотянуться до ведра или хотя бы задеть его хвостом.

Лидка недоуменно пожала плечами и стала вылавливать овес деревянной ложкой. Но его не стало меньше. А вскоре и вся поверхность кипящего бульона покрылась зеленой пенистой пленкой с подозрительным запахом.

Разведчики пришли на завтрак веселые, оживленные.

— Ну как, Лагунова, готово? — еще от ворот спросил Леша Самарцев, демонстративно вытягивая ложку из-за голенища.

Лидка, все еще не осознавая неотвратимости катастрофы, продолжала снимать зеленый навар и выплескивать его на землю.

— Вроде бы готово. Да вот конь, чтоб ему пусто было, овсом курятину засорил...

Афонька Гвоздь отмахнулся:

— Да черт с ним, с конем. Чистое животное. Лишь бы уварилась... Давай сюда. Прямо кишки ссохлись...

Леша предостерегающе поднял руку:

— Надо всех ребят пригласить. И раненым отнести.

— А чего там приглашать,— недовольно загудел Афонька,— самим мало. Нам с тобой по одной и одну на двоих Насте с Лидкой.

— И откуда ты такой жадный взялся? — возмутился Самарцев. В это время за забором послышались отчетливые встревоженные голоса. Кого-то искали. Кто-то настойчиво и строго спрашивал:

— Да ты толком скажи, какой он из себя? Может, зря на наших бойцов поклеп возводишь... Тогда смотри...

Другой шумно оправдывался:

— Нешто я его сквозь бинокля рассматривал? Вро-

де бы на татарина похожий. Длинный, с раскосинкой.

Лидка невольно посмотрела на Гвоздя. На татарина не похож. Но верно: длинный и глаза косят. Неужели его ищут? Уверенность ее еще больше укрепилась, когда Самарцев предложил Афоньке пойти узнать, кого ищут, а тот ему ответил:

— Была охота... Что я, психический?

Теперь и Леша догадался. Он посмотрел на испуганное лицо товарища:

— Постой-ка. Уж не тебя ли там...

Афонька не выдержал:

— Ну чего уставился? Ну поймал, сунул в мешок... Мужики на меня. Я им наган показал, думал, по-хорошему отстанут, а они звон на всю деревню подняли...

— Гад ты, Афонька! Шкода! Рук марать неохота, а то бы...— И Леша, брезгливо плюнув на землю, растер плевок ногой.

Лидка, позабыв про кур, стояла около печи и не очень-то понимала, в чем же все-таки провинился Гвоздь. Принес трех кур... Подумаешь... Цыгане в Самаре их десятками по чужим сараям воруют.

Афонька заныл, оправдываясь:

— Я что, для себя? Для вас же старался!

Какая-то доля правды в словах Афоньки была. Бригада стояла в деревне третий день. Обозы где-то безнадежно отстали. А накануне здесь побывали белые и выгребли у крестьян из амбаров и сусеков все, что можно было выгрести. Так что чапаевцам насчет пищи приходилось туго.

— Слушай,— сказал Самарцев,— пока Щербакова нет, иди к мужику, проси прощения. И заплати, что полагается.

Афонька вывернул карманы.

— Так у меня в кармане — вошь на аркане.

Леша, секунду поколебавшись, расстегнул карман гимнастерки.

— Ладно, на. Отдай.

Лидка чуть не вскрикнула от удивления. Лешка велел отдать за каких-то паршивых курят отцовские часы луковицей, которыми так гордился, и серебряный полковничий портсигар.

У Афоньки даже охота спорить отпала. Забрал вещи — и ходу.

— Да побыстрей давай! За воротами ждать буду! — предупредил его Самарцев.

Через пятнадцать минут Гвоздь вернулся. И прямо к печке:

— А ну, на счастье!

Он зажмурил глаза и полез рукой в ведро.

— Обваришься, — испугалась Лидка.

— Ничего... На какого попаду, тот и мой.

Он вытащил из ведра самую большую курицу. Не раскрывая глаз, поднес ее к лицу и рванул жесткое, явно непроваренное мясо крепкими молодыми зубами.

Какую-то секунду Афонька напряженно жевал, бешено работая челюстями. Но вдруг скулы его повело куда-то вбок, нос покривился, а расширившиеся глаза полезли на лоб.

Мгновение Гвоздь ошалело смотрел на Лидку, потом отшвырнул курицу далеко в сторону и схватился за живот:

— Кур не потрошила?

Лидка испуганно затрясла головой.

— Вот как дам тебе, паршивая кашевариха! Такое богатство загубила!..

Только теперь до Лидки дошло, что она наделала. Сгорая от стыда, она бросилась бежать. А вслед ей несся густой хохот Леньки Самарцева. Он хлопал себя руками по бедрам, по животу и хохотал. А Лидку этот хохот прожигал до самого сердца. И она бежала, не разбирая дороги, пока кто-то не окликнул ее:

— Эй, боец Лагунова, куда разбежались? Ну-ка зайди на пару слов.

Ее звал из окна штабной избы полковой писарь Гончаров, про которого говорили, что он был когда-то дьяконом, а во время революции расстригся и пошел с большевиками. Правда, от духовного сана у Гончарова остался густой и необычно звучный голос. Гукнет где-нибудь на привале — все обозные лошади на дыбы поднимаются, чуть постромки не рвут. Был он высок, широкоплеч и осанист. Любил командирскую форму. И новички, прибывшие с пополнением в полк, и местные жители часто принимали его за большое начальство. Подчиненных у бывшего дьякона не было, но командовать он любил. И доставалось от него поэтому больше всех подросткам-чапаевцам. На них его бас оказывал магическое действие. А Лидка, конечно, не исключение.

Подобралась, подтянулась, украдкой смахнула слезы и вошла в избу. Думала, что-нибудь важное: может, пакет куда-нибудь отнести. Пакеты по-прежнему были ее страстью. Но, оказывается, Гончарову просто наскучило сидеть одному и он зазвал Лидку. Впрочем, было у него и деловое предложение.

— Есть у меня для тебя подходящее место, Лагунова. Дают штатную единицу — полкового почтаря. Это значит, чтобы почту принимать и разносить. Должность хорошая. Для тебя по возрасту и прыти самая подходящая. Пойдешь?

Лидка сидела на [illegible] и косила глазом в окно. Не догоняет ли Афонька? Ей казалось, что он найдет ее везде, куда бы она [illegible]. Найдет и опозорит на всю дивизию.

Но Афонька не появлялся, и она понемногу успокоилась.

— Нет, дядя Фи[illegible] (писаря звали Андреем Филипповичем), [illegible] из разведки. Вы кого-нибудь другого [illegible]. Мне и там хорошо.

Не могла же она [illegible] признаться, что в разведке еще ничего [illegible] не сделала. Сказать, что неграмотная, тоже неудобно.

В это время чуть ли не весь полк давился от хохота. Неведомо как, но история с курами, которых Лидка варила вместе с потрохами, обошла весь батальон и роты. Лидка, сама того не подозревая, стала героиней дня. Ее уже искали по всему селу.

В окно кто-то стукнул рукояткой плетки. Лидка прижалась к стене.

Писарь высунул голову на улицу и кому-то ответил:

— Не видел... Не проходила...

— Что это тебя разведчики спрашивают? — обратился он к Лидке, закрыв окно.— Сказал, что тебя нет. Набедокурила, поди?..

Лидка, попав на удочку мягкого и сочувственного тона, доверчиво подвинулась к писарю:

— А вы никому не расскажете?

Писарь потянул было по старой привычке щепоть ко лбу, потом плюнул, рассмеялся и пообещал:

— Ни одна муха не услышит. Полная тайна.

Лидка, не отрывая глаз от пола, рассказала о своей беде. Рассказала и пожалела. Лицо Гончарова стало наливаться кровью, усы поднялись стрелками вверх,

...в хитроватых мешочках век сделались совсем узенькими. Казалось, писарь приготовился чихнуть. Вот-вот разразится. Но дядя Филиппыч не чихнул. Он схватил себя за ремень и присел. Голова его тряслась. Руки бессильно били по половицам. По щекам катились слезы. Самые настоящие, крупными горошинами. Из широко раскрытого горла его не вырывалось ни звука. И вдруг он загудел, как пустая бочка. У него получалось: бух, бух, бух!

Лидка забеспокоилась — как бы не случилось что с Филиппычем. Она слышала — люди умирают и от смеха.

В это время вошел в избу командир полка Малахов. Он остановился на пороге и с интересом рассматривал бившегося в конвульсиях писаря. Тот наконец овладел собой. Только глаза слезились и вздрагивали щеки.

— Что это ты, Филиппыч, веселишься? — В глазах Малахова запрыгали озорные светлые лучики. Он стал губами ловить ус. Лидка знала эту привычку, которую он перенял у Чапаева. — Ну, рассказывай, Лидия Григорьевна, как курятиной разведчиков накормила.

Эх, не будет Лидке спасения сегодня. Все смеются. Все знают. И она, закрыв лицо руками, с обидой и негодованием выскочила из штаба. Хотела убежать к речке и отсидеться до темноты где нибудь в кустах, чтобы никого не видеть и не слышать, наедине пережить свой позор. Бежала кривыми и безлюдными переулками, пока не налетела... на Афоньку. Но он был куда менее воинственным, чем полчаса назад.

— Все село обыскал,— сказал он, еле переводя дух.— Иди к Щербакову. За чем-то важным тебя зовет.

В РАЗВЕДКЕ

Должно быть, действительно, за чем-то важным вызывал начальник разведки Лидку. Даже ординарца своего выгнал, когда она появилась. Поздоровался с ней, посадил напротив. Помолчал. А потом задал вовсе несерьезный, обескураживший ее вопрос:

— Чего это у нас боец Лагунова носом хлюпает?

Он или делал вид, что ничего не знает, или в самом деле не знал.

Глаза у начальника разведки синие, глубокие, с при-

[illegible] лицо, рябинками помеченное, добродушное. Руки большие, все в черных трещинах. Ногти на пальцах квадратные, лопатками, и тоже черные. Должно быть, от машинного масла и угольной пыли, которая, говорят, годами не вымывается. Перед тем как уйти на фронт, был Щербаков паровозным машинистом.

Лидка посмотрела на начальника с недоверием. Может, и этот смеяться хочет? Нет, глаза серьезные. Значит, ничего не знает.

И Лидка открылась:

— Я в первый раз в жизни кур варила. Думала — просто. Потроха не вынимала. Ну и испортила еду. А всех угостить хотела [illegible] раненых тоже, — размазывала она слезы по смуглым щекам.

Ничего смешного [illegible] Щербаков не увидел. Он горестно покачал [illegible] и вздохнул:

— Вот незадача. Ну, [illegible] греха не бывает... Всему свое время. А [illegible] ничего. Это водолаз Гвоздь, наверное, тебя [illegible]

Но не в правилах Лидки [illegible] выдавать даже своих обидчиков.

— Я сама виновата, [illegible] командир... Я ведь никогда этих кур и не варила и не ела. Думала, просто: ощипать и в воду...

Добродушные стрелочки в уголках глаз Щербакова вдруг стянулись в жесткие морщинки. И он сразу показался Лидке и усталым, и вовсе не таким уж молодым.

— Не расстраивайся, боец Лагунова. Не приходилось нашим дочерям над деликатесами мудрить. Я и сам, признаться, курятиной больше во сне лакомился. Теперь послушай меня. Дело серьезное. Утром посылали на разведку в Гавриловку Шапиро. Ничего не вышло. Не любит белая сволочь евреев. Издеваться стали. С трудом вырвался. Так ничего и не разведал.

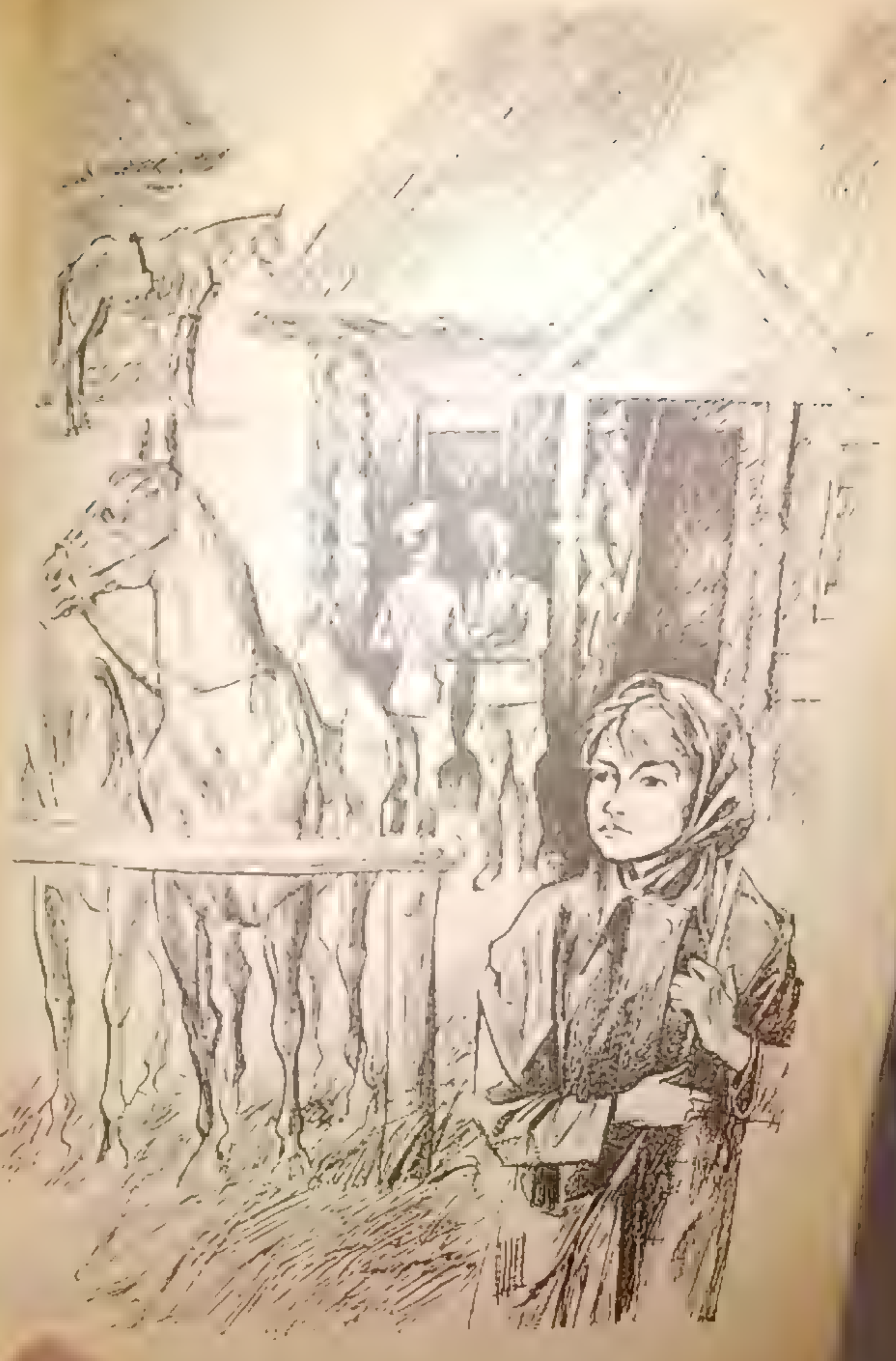
Тотчас же высохли Лидкины слезы.

— Вот меня и пошлите.

Щербаков кивнул головой, как будто и не ждал других слов.

— Потому и разыскивал. Кроме тебя, некого. Взрослому не проскочить. Обязательно схватят. В случае попадешься, держись одного: мамка за солью посылала. Возьмешь с собой мешочек. Что делать и говорить, сейчас научу...

Лидка слушала Щербакова, и все внутри ее пело...



[illegible] курицу. Какие это пустя[illegible], что ей поручают. Теперь она [illegible] Афонькам подолазам, что значит [на]стоящая разведка!

И вот она [illegible] босыми ногами по дороге. [illegible] да платок дырявый на голове. Небольшой [illegible] за плечами. Все ответы заранее заготовлены. Выходила из деревни, где [стоя]л штаб, вроде бы [illegible]. Подумаешь, какие-то там беляки, [illegible] счета вокруг пальца обведет. На то и разведчица.

Но чем ближе к [illegible], тем страшнее. Вот и часовой. Сейчас [illegible]? Только не сбиться, не спутаться... Нет, не спросил.

Теперь глаза и уши настежь. Все надо рассмотреть, приметить, [illegible] в штабе без путаницы рассказать, назвать и представить.

Против церкви, [illegible] дома, несколько автомобилей. [illegible] на крыльце самовар [illegible] в хорошей сбруе, сеном похру[стывают] [illegible] в полной форме с винтовкой у ноги. [illegible] примкнут к винтовке.

«Штаб»,— сообразила Лидка.

Она шла походкой [illegible] дальней дорогой человека и [illegible] вокруг, стараясь ничего не пропустить. Щербаков сказал: «Ты особо примечай, где пушки и пулеметы и сколько их». Легко ему такое задание давать... Не могла же Лидка признаться, что неграмотная, что считать умеет до пяти десятков, а читает только короткие вывески.

Но опасения ее оказались напрасными. Пулеметов все-таки было меньше пятидесяти. А запомнить, где они поставлены, уже значительно легче.

Хитро их белые расставили. Больше всего на окраинах. Два — на церковной паперти. Один — прямо на крыльце штабной избы.

В полдень около колодца, где чешские солдаты поили лошадей, выпряженных из обозных фургонов, Лидка нос к носу столкнулась с Гаврюшкой. Встреча была настолько неожиданной, что оба даже немного обалдели.

Гаврюшка облупился на деревенском солнце. Конопушек стало на его круглом лице еще больше. А уши

оттопырились так, как будто вот-вот отделятся от головы.

— Лидка, ты? — спросил Гаврюшка и, подойдя вплотную, ткнул ее пальцем в грудь, как будто и без того не было ясно, что перед ним действительно Лидка Лагунова.

— Я,— ответила она, лихорадочно соображая, как бы быстрее отделаться от старого уличного приятеля. Он ведь прилипала, неделю не отвяжется.

Гаврюшка в одну минуту задал ей десяток вопросов: и куда идешь, и с кем, и что там сейчас в городе делается, и не видела ли она тех гимназистов, которые стащили у него валенок — жаль, что не встретил он их, а то бы морду набил,— и где сейчас лучший игрок в бабки сын дьячка Пашка Тарасов, и знает ли она, что в деревнях домовых в два раза больше, чем в городе...

Лидка и не собиралась отвечать Гаврюшке. Она знала, что он не умеет путно выслушивать ответы. Если начнешь что-нибудь говорить, обязательно перебьет. А потом его уже не остановишь. Вот болтливость его как раз и можно использовать. Для этого надо было только настроить Гаврюшку, дать ему чем-нибудь похвастаться. И она, не жалея самых подхалимских слов, принялась с завистью расхваливать чешский солдатский ремень с белым орлом на пряжке, который подпоясывал Гаврюшкину сатиновую рубашку.

— Ремень што?! — расплылся в довольной улыбке чрезвычайно польщенный Гаврюшка.— Ты знаешь, с каким человеком я в одном дому живу? Нет? — И, не зная, с чем сравнить этого удивительного человека, он завертел головой. Но вокруг не было ничего такого, что поддавалось сравнению.

Сын лавочника страсть как любил удивлять сверстников своими новостями. Лидке без всякого труда удалось узнать и почему он оказался в селе, и кто этот человек, с которым Гаврюшка живет в одном доме.

Еще при большевиках, услыхав о том, что на Самару рвутся чехи, отец Гаврюшки, Устин Самсонович, отправил сына и жену в Гавриловку, к брату, богатому мужику. Считал — тут поспокойнее. Слухи-то разные ходили. От чехов отослал, к чехам и попали. Как раз в доме брата Устина Самсоновича и стоял командир белочешского батальона, занявшего село. Чем поразил

командир батальона Гаврюшку, так это толщиной и усами.

— Помнишь, у Иродиадихиных ворот бочка пожарная стоит? Так еще толще. А усы у него, как черные ниточки. Два раза в день бреется. Штука у него такая есть. В нее он ножик без ручки вставляет, с двух сторон вострый. Жилет называется... Сначала он одной стороной поскоблится. После другой. А уж потом мне отдает. Я этих жилетов знаешь сколько накопил!

Лидка слушала Гаврюшку, удивленно качая головой, поддакивая ему и выражая явную зависть. И, конечно, не забыла спросить, в каком дому он живет.

— Ты сама-то куда идешь? — Гаврюшка вспомнил, что не получил от Лидки ни одного ответа на свои вопросы.

Но ему и не довелось их услышать. Со двора большого приземистого дома на кирпичном фундаменте раздался глухой хриплый голос:

— Эй, Гаврюха! Где тебя черти носят? Марш в избу! Дело есть!

— Ты подожди меня,— встрепенулся Гаврюшка,— я еще чего скажу... Меня не иначе за водкой в кабак дядька пошлет... Я тебе еще жилет, может, подарю.

Ждать его Лидка, конечно, не стала. И так столько времени попусту потеряно. Хотя, если говорить честно, какая-то польза была и от болтливого Гаврюшки.

...Целый день ходила Лидка по селу. Все высмотрела, что можно было. К вечеру ноги едва таскала, да и есть хотелось. Когда солнце пошло на закат, залезла в чей-то огород. Горох. Репа. Огурцы. Сначала стручков в подол нащипала. Полные такие стручки, спелые. Когда щипала, слюной изошла.

Но полакомиться так и не удалось. За ее спиной раздались голоса, и она прильнула к плетню. Плетень был совсем низкий, и внимательный человек, проходя мимо, обязательно заметил бы Лидку, если бы она осталась на грядках.

В селе, оказывается, были не только чехи. Вот эти двое, которые вышли из ворот и сели на лавочке через улицу от Лидки,— русские офицеры. Один — плотный, высокий, с розовым лицом и наглыми ястребиными глазами. На нем расстегнутый китель. Рука, вытянутая из рукава,— на перевязи. Другой — совсем молодой, бледный и невеселый.

Сидят офицеры, курят, разговаривают.

Прильнула Лидка глазом к широкой щели в пересохших ивовых прутьях. И видно и слышно хорошо. Вот только голую коленку о крапиву ошпарила. Жжет и чешется — спасу нет.

Ничего вроде интересного не говорят офицеры. Ругают пыль, скуку, чехов. А тот, постарше, раненый,— еще и пулю-дуру, которая его задела.

Потом молодой поднял низко опущенную русую голову, спросил:

— А ты помнишь их глаза? Таких глаз не может быть у преступников. Эти люди верят в свое дело. Верят, ты понимаешь? И ни один не просил пощады, когда их расстреливали. До сих пор в памяти эти глаза. В них ни страха, ни раскаяния.

Розоволицый резко повернулся к товарищу, губы его передернулись, словно он хватил чего-то кислого.

— Вечно тебе мерещится всякая канитель. Слюнтяй ты, братец. Большевиков надо резать, душить, жечь! — И столько презрения и ненависти было в его словах, что Лидка даже боязливо отодвинулась от изгороди. Розоволицый, распалясь еще больше, уже не говорил, а кричал:

— Кто лишил меня чудесного отцовского имения под Сергиевском? Кто, я спрашиваю. Ведь было же все это — в парке столетние липы, дорожки, посыпанные песком, лебеди на озере. Было, было! А где теперь? Дом сожгли, лебедей сожрали. Ты проповедуешь любовь и братство. А они сожгли, сожрали...

— Война,— обронил молодой.— Война всему этому объяснение. А зачем ты, Потапов, в Дроздовке женщину с ребенком на руках зарубил? Кому она мешала? Тебе? Мне?

Потапов снова скривился:

— Ей-богу, ты юродивый. Тебе не белую идею защищать, а в монастыре сидеть, поклоны бить. Ну, подвернулась под горячую руку. Ну, рубанул... Так что? Переживать прикажешь? Уверяю тебя — не буду.

Он полез здоровой рукой в карман кителя, достал портсигар, щелкнул, зажал губами папироску и потянулся к молодому офицеру:

— Зажги.

Тот поднес к папироске зажигалку. Потапов закурил. К небу струйкой потек голубой дымок.

— Ладно, пойдем лучше в карты доиграем,— явно шел на примирение раненый.— Через два часа лошади будут готовы, и адью, Гавриловка!

Нет, ничего нового от них не услышала Лидка. Жалко только, что не будет этих офицериков, когда сюда нагрянут чапаевцы. Особенно этого румяного, злого. Такой, видать, гадюка, каких поискать и среди беляков.

Ушли. Теперь можно и подкрепиться. Полазила Лидка по грядкам. Морковку схрумкала. Репу большую съела. Не репа — чистый сахар. Хотела уже было выбираться из огорода и вдруг почувствовала, как чья-то сильная и грубая рука ухватила ее за волосы.

Это было так внезапно, что Лидка зажмурилась. А когда открыла глаза, вокруг уже были люди. Волосатый человек в фартуке, обсыпанном мукой, должно быть, мельник, крутил ей уши, дергал за косицы и кричал:

— Лежит в грядках, жрет мою репу и на господ офицеров в дырку подглядывает.

Люди по-разному отнеслись к словам мельника. Одни жалели девчонку, другие предлагали отвести к коменданту. В Гавриловке стоял белочешский батальон.

На шум вышел из дома, дожевывая что-то на ходу, давешний офицер с наглыми глазами. Он заметно пошатывался.

— В чем дело? — спросил он начальственным тоном.— По какому случаю?

Лидка ревела во всю мочь. Было больно, и жгла обида: до чего глупо попалась.

Подвыпивший офицер, должно быть, благодушествовал и не против был поразвлечься. Он лениво растягивал слова. Небрежно двинув подбородком в сторону мельника, сказал:

— Не мель-те-ши, мм-уч-ной куль. От-пу-сти ее. Н-не убежжит. Кто та-а-кая? Куда п-путь дерржишь? — Он дернул в сторону Лидки гладко выбритым острым подбородком.

Выручил мешочек соли, которым предусмотрительно снабдил Лидку Щербаков. Растирая кулачками слезы на щеках и покрасневшие уши, Лидка рассказывала о больной мамке и пухнущих без соли ребятишках. А людей вокруг становилось все больше и больше.

— Не врет девка-то,— раздалось в толпе.— Сейчас такое время, что за крупинкой на край света побежишь. А тут мешок цельный...

Дело принимало другой оборот. Соль здесь была на вес золота. Выдуманная Щербаковым Лидкина история была понятна и близка каждому крестьянину.

Губастый толстяк в кожаном картузе, как только увидел мешочек, так сразу цапнул его волосатой рукой, обслюнявил палец, запустил в мешочек и облизнул.

— Соль, ей-богу, соль! Ну-ка давай сюда.

— Как же я без соли... домой? Мамка больная,— хныкнула Лидка, в глубине души страшно обрадовавшаяся перемене обстоятельств.

Мельник посмотрел на Лидку круглыми и желтыми, как у совы, глазами, выхватил мешочек с солью в свою очередь у толстяка в кожаном картузе и зашипел:

— Это мне полагается за потраву. Поняла? Не сдохнешь со своей мамкой. А теперь сыпь отсюдова, покуда жива! Еще раз на глаза попадешься — шкуру спущу! Ишь ты, чужой репки ей захотелось...

Лидке бы бежать, а она канючить:

— Отдайте! Мне мамка ни в жизнь не простит. Дядя офицер, скажите ему...

И тут произошло неожиданное. Офицер ловким движением здоровой руки вырвал у мельника мешочек с солью и довольно захохотал:

— Эй, Харитонов,— обернулся он к дому, из которого вышел,— где ты там? Мы с трофеем.

Мельник растерялся. Он бегал и суетился вокруг офицера и заглядывал ему в лицо, а тот, смеясь, отворачивался от него, тряся в воздухе мешочком.

— Не по справедливости это, господин ротмистр. Моя соль-то... Нехорошо...

Ротмистр пьяно качнулся. Глаза его, жестокие и наглые, смотрят на мельника так, как будто перед ним пустое место.

— А ты, собственно, кк-то т-т-акой. И на каком основании твоя? Может быть, ты ее купил или привез издалека? А? Тогда другое дело.

Вокруг угодливо засмеялись.

— У него привычка такая. Чего ни увидит — все его.

Мельник тупо продолжал свое, протягивая руку к мешочку.

— Мне за потраву... Я как пострадавший... Отдай, ваше благородие!

Офицер взвился:

— С кем ты на «ты» разговариваешь? Хам!

Перепуганный мельник униженно отпрянул:

— Видит бог, в мыслях не было обидеть, ваше превосходительство. Мы завсегда...

Лесть слегка умиротворила ротмистра. Вознесенный в «превосходительство», он уже больше не придирался к сельскому кулаку и, покуражившись еще минуту-другую, вдруг предложил:

— Купи!

Они сторговались на ведре самогона. Вот когда Лидка пожалела, что не убежала вовремя. Опять подвело это ее извечное девчоночье любопытство: а что будет дальше?

Ротмистр, довольный обменом, видимо, искал, чем бы развлечься еще, и поманил Лидку пальцем.

Она подошла.

— Ближже, ближже...— уговаривал он ее ласково. А когда она подошла совсем близко, ухватил ее двумя пальцами за шею и спросил:

— Пока я с этим вахлаком возился, он мне голенище мукой испачкал. Видишь? — и нагнул Лидкину голову.

— Вижу! — еще ничего не соображая, ответила Лидка.

— Так вот, ты сейчас мне это голенище вылижешь. Не могу же я в таком виде ходить.

Лидка вертела шеей. Эх, вцепиться бы сейчас зубами в эти противные холеные пальцы.

А ротмистр все пригибает и пригибает ее голову:

— Ниже! Ниже! Ниже! Т-а-ак...

— Как над ребенком-то изгаляется. Изверг! — слышит Лидка чей-то сочувствующий голос из толпы.

Только мельник рассыпает мелкий смешок, угодливо поддакивает ротмистру:

— Так ее, пигалицу, так ее! Учить их надо, учить. А то уж больно падкие на чужое-то.

Освобождение пришло неожиданно.

Откуда-то внезапно появился молоденький офицер, тот, который выговаривал Потапову за убитую им женщину, вырвал Лидку из рук ротмистра и толкнул ее в спину:

— Беги, девочка, откуда пришла. Ну?!

На этот раз она уже не раздумывала. Только убегая, краем уха услышала, как ругались офицеры. Худенький говорил, что они здесь не за тем, чтобы воевать с детьми и женщинами. А ротмистр опять обвинял его в гнилой интеллигентности, в каком-то чистоплюйстве.

Ночью коротким стремительным ударом чапаевцы захватили Гавриловку. Сведения, собранные Лидкой, помогли без шума снять часовых, обезвредить пулеметные гнезда и захватить живьем весь вражеский штаб.

Боевая жизнь разведчицы Лидки Лагуновой началась.

ДОМА

После гавриловской операции авторитет Лидки среди разведчиков вырос. Теперь уже подростки-чапаевцы не мерили ее презрительным взглядом, подавали при встрече руку, охотно принимали в свою компанию. Учили даже играть в карты и курить. В карты Лидка играла охотно и скоро хорошо освоила «очко» и «шестьдесят шесть». А вот с курением было сложнее — задыхалась и кашляла.

Щербаков при случае даже взрослых опытных разведчиков корил именем Лидки:

— Не стыдно? Девчонка вам нос утерла... Не сумели с толком простого задания выполнить. Эх вы, водолазы!

«Водолазы» было самым ругательным словом у начальника разведки.

Кажется, что еще надо Лидке? Дали оружие, сыта, бойцы и командиры уважают. Так нет! Мучает ее зависть. Не дает спокойно есть и спать. Зависть к мальчишкам, которые лихо гарцуют по вечерам на сельской площади или на выгоне за деревней. Это сорванцы из суровской кавалерии, к которой Чапаев был особенно неравнодушен. Он любил удалых и лихих конников и гордился ими.

— Дай мне, дядя Гера, лошадь, покататься! — осмелев, подошла Лидка как-то после обеда к ротному повару.

Дядя Гера, косматый и нескладный человек со стран-

ной фамилией Налейвощик, никогда не расстававший-ся со своим белым поварским колпаком, прихваченным с какой-то барской кухни, раскрыл глаза и облизнул губы.

— Хиба ж тоби треба вместо мене воду возить до кухни?

Ну что ж, воду так воду! Лидка согласилась.

Долго в тот день ждал воду ленивый повар. Лидка сперва покаталась на мирной Пегушке, а потом уж только стала таскать из родника в неглубоком овраге воду и выливать ее в рассохшуюся водовозную бочку.

Ленив-ленив был повар, а шлепков Лидке надавал да еще Щербакову нажаловался.

Командир разведки строго оглядел Лидкину виновато сгорбившуюся фигуру в рваной телогрейке с длинными рукавами. Начались осенние холода, и гимнастерка не спасала от них.

— Тебе что, на земле плохо? — спросил командир.— Или убиться хочешь?

Щербаков недолюбливал конников, считал их свистунами и горлопанами. Он часто повторял: «Держись за землю — никогда не упадешь. Она тебе силу даст, от врага схоронит и в непогоду согреет».

Лидка, насупившись, слушала его. А потом сказала:

— Кто владеет конем, тот дважды умен.

— Это от кого научилась? — вспыхнул Щербаков.

— Суровцы говорят...

Ничего не ответил на эту летучую поговорку начальник пешей разведки.

А на другой день, уже в хорошем расположении духа (ночью щербаковцы приволокли живьем двух «языков»), он остановил ее около штабного крыльца:

— Ну, так и быть,— учись, джигитуй. Только голову не сломай. Вчера пожурил по-отцовски — мне-то привычнее не земле. Не верю четвероногой скотине. Так ты не серчай.

Везде, где только могла, Лидка выпрашивала лошадей «покататься». Сначала дело не шло: часто падала, обдирала коленки и локти в кровь, ходила в синяках. А потом наловчилась. Стала ездить верхом, как заправский кавалерист: и рысью, и галопом, и наметом.

Чапаев не раз справлялся о Лидке. Щербаков хвалил ее:

— Геройская девка! Хорошего бойца стоит!

Незадолго до штурма Самары Василию Ивановичу довелось как-то увидеть Лидку верхом. Прижавшись к конской шее, с гиканьем и свистом неслась она впереди десятка мальчишек-чапаевцев. Старенькая гимнастерка вздулась пузырем. Зеленые галифе, впору взрослому мужчине, хлопали по коленкам.

Чапаев улыбнулся. Потом нахмурился. Подозвал к себе начальника снабжения, приказал:

— Одеть бойца Лагунову по первому разряду! Солдат домой едет...

Октябрьским утром 1918 года, когда Красная Армия освободила Самару от белочехов, на пороге квартиры Лагуновых вдруг появился аккуратный и ловкий солдатик, затянутый в добротную зеленую гимнастерку, в малиновых галифе, на ногах новые хромовые сапоги, кубанка пламенеет алым верхом. На правом боку — кобура маузера.

Все Лагуновы, кроме Дмитрия, были в сборе. Мать поставила на стол чугунок с горячей картошкой в мундире. Рядом с отцом сидел Сашка. Он стал взрослее за эти месяцы, похудел и вытянулся. Глаза запали. А кожа на скулах стала тоньше. Но в золотистых зрачках его по-прежнему прыгали веселые огоньки. Он чуть не опрокинул чугунок, выскочил из-за стола и закричал на весь дом:

— Да ведь это Лидушка! Вояка наша! Качай ее, братцы!

И все лагуновское потомство навалилось на Лидку. Качали до тех пор, пока не расстегнулась кобура и не выпал на пол маузер. Сашка поднял его с пола, почтительно покачал на ладони и, прищурившись, заглянул в дуло.

— Вот это да! Настоящий? Стреляет?

Лидка солидно кивнула головой:

— На сто шагов в копейку попадаю.

За сто шагов Лидка, конечно, ни разу в копейку не стреляла. Но удержаться от маленькой неправды было трудно. Уж удивлять так удивлять!

Мать долго вертела Лидку и целовала ее в жесткие короткие волосы, в глаза, нос. Плакала и смеялась. И вдруг сказала такое, что насмешила всех:

— Теперь тебя и замуж-то никто не возьмет... Ты и на девчонку-то не похожа. Чистый солдат!

Отец, последнее время скупой на ласку, долго молча

прижимал Лидку к своей груди. Потом, посерьезнев, сказал:

— Ну, солдат, кончился поход. Снимай свою амуницию.

Лидка не решилась спорить.

Когда она пришла в Струковский сад, где стояла бивуаком бригада, Щербаков понимающе покачал головой и посоветовал:

— Ты отца с матерью слушайся. Против их воли не ходи. Твое время впереди. А к нам заглядывай, коли что понадобится. Мы тебя и на котловом довольствии оставим.

КОГДА ПОДВОДИТ ВОЗРАСТ

Сашка каждый день куда-то убегал. При этом у него был такой озабоченный и таинственный вид, что Лидка в конце концов не выдержала и, пренебрегая своей гордостью, унизилась до вопроса:

— Ты куда это шастаешь каждый день? Может, меня возьмешь?

Сашка окинул Лидку критическим взглядом, от которого, конечно, не ускользнули ни ее выпирающие ключицы, ни широкое старенькое платьице с плеч Септимии, ни мальчишеская короткая прическа, которую Настя делала Лидке по ее просьбе, как у Лешки Самарцева, который навещал Лагуновых.

Вести ее в клуб района в таком виде побоялся. Засмеют ребята. Скажут, чего цыплят водишь. У нас моложе пятнадцати не полагается.

Но выход нашелся.

— Если форму наденешь и наган пристегнешь, тогда можно.

Он согласился взять ее, поступясь своим самолюбием. С одной стороны, это здорово, что у него такая боевая сестренка. С другой — как-то неудобно перед ребятами. Она моложе, а вот уже в разных переделках побывала и даже форму, оружие имеет, а его только к учебной винтовке допускают, из которой и не выстрелишь. В патроннике специальную дырку просверлили.

Лидка метнулась было в чуланчик, где стоял сундук с ее амуницией. Но Сашка осадил:

— Да не сейчас. У нас в шесть часов сегодня митинг будет и прием в члены...

Митингов Лидка и в полку своем навидалась. А вот прием в члены — это для нее было чем-то новым. Скрывалось за этими словами что-то важное и значительное. Хотела спросить, потом решила: раз сама пойдет — сама увидит. Чего лишний раз свое незнание проявлять?

В шесть часов брат и сестра Лагуновы были в молодежном клубе на Садовой. Странное дело — на Лидку никто не обращал внимания, как будто девчонки с наганами и в кубанках на каждом перекрестке встречаются.

Военных в клубе много. Только, может, возрастом старше Лидки. Но все равно. Они-то все мужчины. Это ни для кого не в диковинку. А Лидка — все-таки женщина. Может, единственная во всей толпе. И никакого тебе внимания. Это обижало и портило настроение. Она дернула за рукав Сашку:

— Скоро ли начнется-то?

— Что начнется?

— Ну, этот прием...

— Раз пришла, значит, жди и не торопись. Не тебя же принимать будут.

Лидка смирилась. Да и чего ей еще оставалось делать? Никто ее тут не знает. Была бы в своем полку, еще можно было бы побузить. Там бы нашлось кому поддержать. Тот же Афонька Гвоздь охотно бы подпевал. Любил он, когда кто-нибудь бузу заводит. Просто в восторг приходил. Так бы сейчас и бегал вокруг нее. Так бы и хлопал, как петух крыльями. И похваливал бы: «Правильно, Лидуха! Молодец, Лидка! Крой их, Лидуха!»

Но Афоньки нет здесь. А Сашка строгий. Смотрит на всех деловито, здоровается с достоинством, не улыбнется, шутку не отпустит. И большинство ребят такие же.

— С кем это ты пришел? Что за кавалериста привел? — вдруг откуда-то вывернулся курчавый парнишка и прицепился к Сашке.

— Сестра, Лидка,— ответил Сашка, а сам высматривает кого-то в толпе поверх головы парнишки.

Тот же просто опешил от такого ответа. Он обошел вокруг Лидки несколько раз, потеряв дар речи, и только

взмахивал вылезающими из коротких рукавов пиджачка руками. Потом куда-то исчез и снова появился, уже не один, а с двумя очень похожими друг на друга ребятами. Были они не то чтобы толстые, но сбитые, коренастые. Ходили плечом к плечу, словно говорили: «А ну, тронь только, такой сдачи получишь...» Лица у обоих круглые. И одежонка одинаковая: пиджаки из солдатской шинели. Вот только обувка разная. У одного обмотки австрийские зеленые, с ботинками. А у другого боты женские резиновые, с большими пуговицами.

«Братья, наверное,— сообразила Лидка,— может, даже двойняшки. И чего это они меня так обнюхивают?»

А ребята, которых она приняла за братьев, как увидели Лидку, так и давай ходить вокруг нее и рассматривать всю с ног до головы.

— Ну а сколько будет пятью пять, знаешь? — внезапно спросил один из них, тот, что в обмотках.

Лидка даже опешила: «Это чего же он мне, выходит, испытание устраивает? Скажу, не знаю, а они издеваться будут...»

И она, как будто к ней не обращались с вопросом, гордо задрала подбородок, отвернулась от зеленых обмоток и продолжала молчать.

— Ну-ну,— примиряюще сказал кудрявый, который привел братьев,— кто же так делает? Ни с того ни с сего — сколько будет. Сначала надо познакомиться. Я, значит, Иосиф Галкин,— ткнул он себя пальцем в грудь.— А это братья Ильины: Сережка и Женька.

Женькой оказался как раз ехидный парнишка в обмотках.

...— А это, значит, она и есть, про которую говорил, сестра Сашки Лагунова Лидка. Прямо с фронта.

Женька рассмеялся.

— Ладно. Пятью пять — двадцать пять. Это я для порядка у всех спрашиваю. Чтобы узнать — грамотный человек или нет. Тут у меня, наверно, осечка. Раз человеку воевать позволили, не может он быть неграмотным. Прошу пардону.

Женька чем-то напоминал Лидке Лешку Самарцева. Такой же бойкий, живой и смешливый. Того и гляди какой-нибудь фокус отколет. С ним держи ухо востро.

А Сережка Ильин, наоборот, был молчаливым. Он как увидел Лидку, так и вонзился глазами в кобуру.

— Настоящий?

За нее ответил Сашка. И в голосе его звучали гордые нотки:

— А как же? Воевала не на сцене, а взаправде. К нам домой ее командир приходил — хвалил. Говорил — взрослым не уступает. А из пистолета своего за сто шагов в копейку бьет.

Лидке было приятно от Сашкиных слов. Он здорово утер нос этому Женьке. Подумаешь, пятью пять. Как будто она не понимает. Это значит, пять, допустим, пятаков нужно положить в пять рядов и к первому ряду прибавлять второй, потом третий. И так до пятого. И Лидка совсем не дура. Она, если вот так складывать, точно сосчитает. А вот, как это называется, умножать не умеет. Никто не учил.

Лидка сразу прониклась симпатией ко второму Ильину. Он явно возмущался поведением Женьки, все время дергал его за рукав шинельной куртки, призывая к порядку. Она уже хотела было порасспросить его, кого это они будут тут принимать, в какие такие члены, но раздался звонок и все двинулись по лестнице на второй этаж, в большой зал с множеством лампочек, свисающих с медного блестящего круга под самым потолком.

Лидку такими штуками не удивишь. Не раз видывала их в отбитых у белых барских домах. И название знает — люстра. Да и в нынешней квартире Лагуновых от жандармского полковника остались такие люстры, только разве поменьше и полностью из стекла. Хотя медные, конечно, получше. Вон как сверкают! Точно второе солнце.

На сцене стоял стол под красным сукном. К нему подошел молодой человек в военном костюме, с наганом на ремне и поднял над головой руку с колокольчиком.

Он энергично потряс им, и зал стал затихать.

— Кто это? — шепотом спросила Лидка у Сашки.

— Костя Левитин — наш председатель,— ответил тот быстро, не поворачивая головы.

Женька обернулся к Лидке и, подняв большой палец, «посолил» его.

— Во у нас председатель!

— Ребята! На нашем митинге присутствуют сегодня товарищи Куйбышев и Линдов.

Зал зааплодировал. Лидка тоже хлопала, не жалея ладоней. Такие люди пришли к молодежи! Ведь о них

ходили целые легенды. Чуть не с детских Лидкиных лет участвовал Куйбышев в революции. Куда только царь не ссылал его, в каких тюрьмах не держал, а он все равно свое дело делал. И под чужой фамилией жил, и голодал, и холодал. Скинули Николашку, белых чехов разбили. Сейчас в Самаре нет среди красных комиссаров главнее человека. А ведь совсем молодой. И красивый.

Для Лидки очень было важно то, что он еще и красивый. Статный, большеглазый, с каштановыми кудрями. Она его слушала в «Олимпе», на городском рабочем собрании, куда протиснулась вслед за отцом. Правда, было это еще до того как она попала к Чапаю, до прихода белочехов. И хоть не все понимала, слушала Лидка Куйбышева раскрыв рот. Говорил он тогда про революцию, про то, что вся власть теперь будет в руках рабочих и крестьян. И еще про детей, над которыми, наконец, взойдет солнце счастливой жизни.

Слышала она и про Линдова. Знала, он — председатель Реввоенсовета 4-й армии. Но видела впервые его только теперь, когда он двигался к сцене по проходу. Черные большие глаза. И усы черные. Даже, пожалуй, попышнее и погуще чапаевских будут.

Первым выступил Куйбышев. Он слегка перегнулся через красный стол, и Лидке показалось, что он ищет в зале глазами кого-то. И потянулась навстречу, словно молила: «Узнай меня, товарищ Куйбышев! Ну пожалуйста, узнай. Ведь ты же меня должен помнить!»

Но Куйбышев не заметил ее. Пробежав взглядом по рядам и охватив как-то разом весь зал, он широко и открыто улыбнулся, вышел из-за стола, встал на самом краю сцены.

— Мы с товарищем Линдовым очень рады встретиться с вами, наши юные друзья! Мы верим вашим открытым и честным пролетарским сердцам, знаем, что вы целиком и полностью на стороне революции и что со временем придете на смену старой большевистской гвардии. Вот сейчас у вас создается молодежный коммунистический союз. Пусть он будет верным и надежным помощником нашей рабочей партии! А мы поддержим его во всех добрых делах и начинаниях. И не бойтесь никаких неудач и препятствий. Наша поддержка вам обеспечена. Это я говорю от имени губкома партии.

Зал взорвался рукоплесканиями. Но их тут же заглу-

ший духовой оркестр. Он заиграл «Интернационал». Зал запел. Запели все, кто был в президиуме. Запела Лидка. Запел и Куйбышев, который не успел занять своего места за столом президиума и по-прежнему стоял на переднем краю сцены. Он нависал над залом, крепкий, молодой, с густой шапкой каштановых волос, рука его невольно ходила в такт музыке, и зал, точно послушный движениям руки, пел то громче, то тише слова пролетарского гимна, который каждый раз наполнял существо Лидки и восторгом и какой-то необыкновенной мужественной силой.

— Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.

И теперь ей уже не казалось обидным, что Куйбышев не заметил ее, а обнял взглядом всех, кто был на митинге. Чем она, Лидка, лучше остальных? Все они настоящие ребята. У всех такие серьезные лица, и каждый поет с верой в то, что так и будет все, как в песне. И у каждого горят глаза. Нет, с такими ребятами и Лидка пойдет, куда они позовут ее.

Когда оркестр умолк и все опустились на свои места, из-за стола президиума поднялся и вышел, как и Куйбышев, на самый краешек сцены Линдов. Он тонкими белыми пальцами разгладил пышные усы, завел руки за спину и вдруг, далеко раскинув руки, поставил левую ребром ладони, поперек, а правую устремил на нее.

— Совершив Октябрьскую революцию, товарищи, мы начали жить в других измерениях, с другой скоростью. Старые понятия о пространстве и времени сегодня для нас уже не годятся. Мы их ломаем, как сломили классовую структуру царской России. Новое время — новые песни. Впереди у нас окончательная победа мировой социалистической революции. А рабочий класс и трудовое крестьянство — это могучий экспресс, который стремительно летит к этой цели.

— Здорово говорит! — толкнула Лидка Сашку.

Тот покосился на нее, сердито дернул подбородком.

— Слушай!

Линдов погладил рукой широкий чистый лоб.

— Но, сами понимаете, экспрессов не бывает без паровозов. Он состоит из вагонов, которые нужно вести за собой. Паровоз у экспресса революции — это партия

большевиков. А главный машинист — товарищ Ленин.

В зале бушевала овация. Ребята стоя рукоплескали вождю революции, которого товарищ Линдов назвал ее машинистом.

— Опасен путь этого паровоза, тверда должна быть рука у машиниста. Долгие годы среди бурь и непогоды должен нестись этот экспресс вперед, пока локомотив его своим призывным гудком не разбудит спящее в оковах империализма трудовое человечество. Долгие годы должен стоять на своем посту машинист и весь экипаж паровоза и стойко переносить все испытания стремительного бега вперед.

Мы с вами должны обеспечить непрерывное движение экспресса, расчистить преграды на его пути. Это от нас с вами зависит, чтобы сталь рельсов была крепка, чтобы не прогнили шпалы, чтобы не загорелись буксы. А главное, главное, чтобы не иссякли силы у команды паровоза, чтобы всегда наготове была молодая надежная смена. Вот этой сменой и будет для партии Российский Коммунистический Союз Молодежи, в который вы записываетесь сегодня.

Долго и бурно аплодировал зал. А потом тишина. Но не потому, что должен был выступить еще один чудесный, зажигающий оратор, а потому что некому было выступать. Никто не решался после Куйбышева и Линдова выходить на сцену. Боялись сказать что-то не так. А вдруг ляпнешь чего-нибудь спроста — засмеют.

Лидка вертела шеей, высматривая охотников до речей, но ни одной руки ни впереди, ни сзади, ни с боков не видно.

И вдруг кто-то, не поднимая руки и не прося слова, пробежал вдоль стенки из задних рядов к президиуму. Смельчаком оказался парнишка в австрийском мундире, застегнутом всего на одну, зато громадную черную пуговицу. Он хотел сначала, как и взрослые ораторы, выйти на край сцены, но вовремя сообразил, что, пожалуй, не выиграет в сравнении с ними. Не тот рост, да и держать себя надо уметь, если открыт со всех сторон. И он кинулся к трибуне. Но трибуна была тоже не для таких, как он, и теперь над верхним краем ее только торчала голова парнишки со взъерошенными белыми вихрами.

Прежде чем начать свою речь, смельчак зачем-то

подергал их еще, чем привел шевелюру в окончательный беспорядок. Но странное дело, в зале никто не смеялся. Все поняли — человек волнуется, хоть и смелый. И каждый внутренне поддерживал: «Да не бойся, все будет хорошо! Валяй, не бойся. Мы ведь тоже такие».

Лидка переживала больше всех. «Ну чего ты? Ну чего? Давай говори! Хочешь, я тоже выскочу и рядом встану...» Все рвалось в ней, все клокотало. Оставив, наконец, вихры в покое, «австриец», как про себя окрестила его Лидка за мундир, наверняка купленный или вымененный, а может, и привезенный как трофей с фронта, ухватился за полированные доски трибуны и качнулся вперед:

— А чего нам долго разговаривать? Вот товарищи Куйбышев и Линдов все превосходным образом разобъяснили, и я предлагаю первым в Союз записать меня. Как клясться, не знаю, может, кровью надо расписаться, может, через уголья босиком пройти,— что скажете, то и сделаю,— а решил сделаться помощником того машиниста, который паровоз к коммунизму ведет,— от своего не отступлюсь. Значит, кто там записывает: Петр Белов. Учусь на паровозного кочегара.

И прорвало. Один за другим поднимались люди с места и тянули руки кверху:

— Меня запишите. Я Митя Бобров с лесопилки.

— И меня тоже. Я Корчагов Василий. С табачной фабрики.

Костя Левитин растерялся. Он и радовался, что так все здорово получилось и что так много добровольцев в молодежный союз, и в то же время с опаской поглядывал на Куйбышева и Линдова: как же так — неужели это и весь митинг? А где же речи? Но оба — и Куйбышев и Линдов — улыбались, и видно было, что очень довольны ходом событий.

Лидка волновалась. Сердце билось сильно и неровно. И ей хотелось на сцену. И она хотела вот так же, как братья Ильины, как брат ее Сашка, как девушка с черными длинными косами, назвавшая себя ученицей фельдшерской школы Мариной Суровцевой, выйти туда, на освещенное сильными, бьющими откуда-то из-под пола электрическими лампами пространство и бросить в переполненный молодежный зал слова, исполненные страсти и веры в дело Ленина, дать клятву преданности рабочей партии. Но каждый раз, как только рука

ее начинала тянуться вверх, чтобы ее заметили и дали слово, тело покрывалось холодным потом, и она опускала руку.

А ребята все поднимались и поднимались на сцену. Но вот снова на сцене появился Костя Левитин. Он расправил гимнастерку под ремнем, передвинул кобуру с живота на бедро и вытянул вперед широкую растопыренную ладонь.

— Товарищи! Записывать будем только тех, кто уже проявил свою преданность революции, за которых может ручаться по крайней мере один коммунист, и еще, чтобы вступающему в союз было не менее пятнадцати лет. А то знаете, всякое может случиться...

— Точно! — снова раздался знакомый голос из задних рядов. Лидка повернула голову. Петька Белов? Ну, точно, он. Стоит и кричит через весь зал.

— Сзади меня вон двое скаутов сидят. Один Степка — сын попа Троицкого, а другой Кирилл — директора гимназии Воронова. Старшие братья у них с чехами убежали. Так вот тут Степка и Кирька за моей спиной тоже в наш союз РКСМ собираются записываться. И не стесняются сволочи, почти вслух говорят: «Нашим будет полезно знать, чем молодые большевики занимаются». Каким вашим, ну каким вашим? — перегнулся он через спинку стула и ухватился за пуговицу гимназического мундира одного из сидевших за ним молодых людей.

Все повскакали со своих мест. Лидка тоже. Вот это ей было по душе, это ей было по нраву. Контриков поймали! Она уже ринулась к проходу, но Сашка удержал ее за полу гимнастерки.

— Без тебя обойдутся. Не устраивай свалку.

А свалки и не было. Перетрухнувшие, бледные скауты, наступая на ноги не успевшим подняться, протискивались по ряду к распахнутым дверям.

Потом снова все пошло своим чередом. Ребята поднимались на сцену, называли себя, говорили, где они учатся или работают. И обязательно в зале находился кто-то из коммунистов, подтверждавших: «Да, знаю, вполне достойный».

Лидка была в отчаянии. Если бы она знала — привела бы из полка хоть пять коммунистов. И каждый бы рассказал, какая она, насколько она заслуженнее других. А вот возраст? В разведку идти, так не спраши-

вают, сколько тебе лет... А тут еще этот Сашка... Тоже брат называется!

— Сиди и не высовывайся. Полезешь — всем скажу, что тебе тринадцать. Успеешь! Твое время еще не пришло.

Не пришло... А сам, поди, чуть не первым руку потянул. И коммуниста себе живого нашел.

Только одна мысль утешала Лидку. Если тут у гражданской молодежи принимают в этот самый РКСМ, так не может быть, чтобы и в их красноармейском полку такого не было. А уж там-то не посмотрят на возраст. Там главное — заслуги. А в том, что они у нее есть, Лидка не сомневалась.

ЦАРСКИЙ ПОЕЗД

На этом вечер для Лидки да и для многих участников митинга в клубе не закончился. Когда запись в Союз Коммунистической Молодежи подошла к концу, кто-то из членов президиума передал Косте Левитину записку. Он прочел ее и помахал бумажкой над головой.

— Всех желающих приглашаем еще на один митинг в вагонном депо. Из царского поезда, в котором ездил сам Николашка Второй, оборудован красный агитэшелон. Сегодня ночью он уходит к Оренбургу, там наши бьются с Дутовым. В эшелоне едут артисты, поэты, художники. В Самаре они дают первый концерт. Кроме того, кто хочет, может осмотреть, в каких условиях ездил Николашка и его семья.

— Пойдем! — блеснув глазами, загорелась Лидка.

Сашка в первый раз весело и раскованно рассмеялся.

— Эх ты, плебс, Лидка! Тебе бы только хлеба да зрелищ.

— Чего, чего? — обиделась сестра, не поняв, то ли издеваются над ней, то ли просто шутят.— Какой еще такой плебс? И какого хлеба? Я до сих пор на котловом довольствии в полку стою. И никогда в доме не обедаю. Понял?

Сашка рассмеялся еще громче:

— Ну и темная ты у меня, партизанка. Плебс — это в древнем Риме было что-то вроде толпы. Так чтобы

этот плебс не буйствовал, императоры подкармливали его и развлекали всячески. Гладиаторов там выпускали на львов и тигров или давали по ножу и заставляли сражаться этих гладиаторов друг с другом, пока кто-то не упадет мертвым.

Молодежь шла по Садовой, потом какими-то переулками пробиралась в темноте к Вокзальной площади. Было весело и шумно. Пели, смеялись. Когда кто-то оступался или попадал ногой в лужу, бедолагу подхватывали десятки рук.

В одном месте оступилась и Лидка. Но брат не дал ей упасть. Боясь, как бы она снова не плюхнулась, он взял ее за руку. Но она сердито выдернула ее.

— Не маленькая. Это случайно. А в темноте я лучше тебя вижу. Чай, в разведке не ты, а я была.

Галкин, шагавший рядом с Сашкой, захохотал:

— Ну заноза у тебя, брат, сеструха. Ну заноза! Да и вострая к тому же птичка-невеличка. Такая в лужу попадет, а все равно будет доказывать, что на коне сидит.

Лидка хотела дать отпор этому шустрому весельчаку, сам-то велик ли, самого-то можно в кармане таскать. Очень уж ее обидела эта «птичка-невеличка».

Но дать сдачи Галкину Лидка не успела — раздался долгий паровозный гудок.

— Э, ребята, зовут нас, поторопимся! — послышался голос Кости Левитина.

И все равно комсомольцы опоздали к началу митинга. Он уже шел. На первом пути у широкой станционной платформы стоял поезд. Синие, словно игрушечные, красивые, чистые вагоны. В белых кругах на каждом вагоне красные пятиконечные звезды.

«Чего же тут царского? — удивилась Лидка.— Самый обыкновенный. Сколько я таких видела! Только вот звезды какие-то очень большие. И из-под них вроде что-то виднеется. И зачем белые круги — не понимаю...»

Сашка крутнул головой.

«Ага, тоже не знает»,— не без злорадства подумала Лидка.

— На этих местах царские гербы были нарисованы,— охотно пояснил кто-то из молодых железнодорожников.— Закрашивали, закрашивали, а все равно орлы проступают. Ну ничего, может, это даже и не-

плохо. Наша звезда сверху. Получается, что мы черного орла красной звездой накрыли.

— Хватит балакать! Дайте человека послушать,— заворчал рядом старый рабочий в кожаной тужурке.— Вон какие верные слова говорит...

Оратор стоял в распахнутых дверях самого красивого, с зеркальными окнами, вагона и, держась одной рукой за поручень, другой мял старенькую промасленную фуражку. Черные усы оратора подрагивали то одним кончиком, то другим. И Лидка узнала его.

Это же Пал Палыч с Трубочного. Это же он учил ее стрелять, он руководил боем на берегу Самарки и послал ее с запиской к отцу, прятавшемуся на кладбище.

И она, страшно обрадованная, уже рванулась было к нему, но тот же пожилой железнодорожник в кожаном пиджаке неодобрительно посмотрел на нее и оттиснул плечом назад.

Пал Палыч то и дело выбрасывал руку с зажатой фуражкой вперед.

— Большевики должны уметь не только пулей воевать, но и словом. Вот в каком поезде царь ездил! Тут мы все сохранили, как было. Кончим митинг, вы по десять человек, только осторожно, упаси бог, ободрать или оцарапать что, через этот вагон пройдете. Тут одно зеркало в золотой раме есть, так оно столько стоит, на сколько триста лошадей купить можно. А то есть еще сервиз. На тридцать персон. Это если на хлеб да мясо перевести, всю губернию неделю бесплатно кормить можно. Вот как цари наши жили!

— Так-то ведь они жили! — возразил кто-то нетерпеливый.— Какой нам прок от того сервиза?

— А вот и есть прок! — сразу оживился Пал Палыч, и снова один ус у него ухмыльнулся, а другой сердито встопорщился.— Есть прок. Приведем мы пленного в этот вагон, спросим: «За что воюешь?» Многие, как попки, отвечают: «За веру, царя и отечество». А теперь модно у белых отвечать: «За землю свою, над которой большевики измываются». А ты опять вопрос: «А земли-то много у тебя, воин?» Из десятка рядовых беляков, может, у одного земли хватает, а у остальных лапти разве, если вместе сдвинуть, только уместятся. Вот тут и покажем ему на царское кресло, за которое две тыщи десятин земли можно выменять,

или золотую ногтечистку, которая одна десяти коров стоит, и предложим подумать: стоило ли ему башку класть за такой порядок, когда одни с жиру бесятся, а другие на голодном куске сидят? Ой, у многих башка от мусора очистится. Опять же мы доклады, беседы и митинги проводить будем. В одном вагоне кинематограф оборудуем. Сценки из царской жизни заснятые есть. Гришка Распутин снят... И всю большевистскую правду о хлебе, о мире выложим. А ты говоришь — какой прок!

Потом Пал Палыч рассказывал о том, что в красном агитпоезде поедут политотдельцы, которые будут делать доклады о текущем положении и обстановке на фронтах, художники, чья забота — рисовать лозунги, плакаты и смешные картины.

Одна такая картина была наклеена прямо на стену вагона. На ней красноармеец нанизывал на штык сразу пятерых врагов: царя, помещика, буржуя, попа и жандарма. И громадным сапогом своим красноармеец наступал на шею толстой гидре со множеством голов. Одна голова принадлежала царскому офицеру, другая — казачьему генералу, третья — белочеху. В остальных Лидка не разобралась.

И еще усвоила она, что в поезде есть своя типография для выпуска газет и листовок и свои артисты, которые могут и на гармошке играть, и петь, и представлять разные сцены.

И тут она спросила Сашку, будут ли эти артисты выступать на митинге. Сашка, одобрительно и со вниманием слушавший Пал Палыча, рассердился:

— Отстань! Увидим.

И правда, они увидели. Концерт, хоть и маленький, а все-таки поставили. Артисты выступали на товарной платформе. Никакого отношения к царскому поезду она не имела, но зато если на ней устраивать представления, всем видно. Вот ее и подцепили к составу.

Больше всего Лидке понравились частушки. Молодой рыжий красноармеец, здорово смахивающий на Лешку Самарцева, прошел гоголем по площадке, потом отбил чечетку и пустился вприсядку. И уже выходя из пляски и хлопая себя по груди и коленям, он пел частушки. Две из них она даже запомнила.

Первая посвящалась генералу Юденичу:

— Ах, Юденич ты Юденич!
Задаем вопрос при сем:
А куда башку ты денешь,
Если мы ее снесем?!

Танцор так выразительно рубил невидимой саблей по невидимой шее Юденича, что и впрямь казалось — сейчас генеральская голова покатится ему под ноги.

Зрители долго смеялись и аплодировали. Лидка тоже не жалела ладоней.

А другая частушка, которую многие тут же подхватили, хлестала по меньшевикам и эсерам, которые пошли против революции, а в Самарской учредилке даже занимали министерские места.

— Цыган шубу продает,
Шубу куцую.
А эсер с меньшевиком —
революцию.
Я чай пила —
самоварничала,
Я эсера обварила —
накухарничала.

Плясун одновременно изображал и кухарку и обваренного эсера. И все это у него получалось так здорово и смешно, что людей просто колыхало от хохота.

А потом... Потом, как и обещал Пал Палыч, всем участникам митинга показали царский вагон. Правда, предупреждали:

— Просим руками не трогать и на мебель не садиться. Иначе тут и показывать будет нечего.

Пал Палыч Лидку узнал не сразу. Когда она его дернула за рукав и назвала по имени-отчеству, он недоуменно уставился на нее.

— Что, солдатик, надо? Откуда знаешь-то меня?

Однако рядом стоял Сашка, и Постников, переводя взгляд с него на Лидку, наконец-то сообразил, кто перед ним. Но так как дергали его постоянно и с разных сторон и вопросы задавали в бесчисленном множестве, то его хватило только на одно, совершенно оригинальное решение:

— Вот что, друзья-товарищи, что касается всех, то в самом деле не щупать ничего в вагоне, не садиться, ни тем паче напяливать на себя не разрешается — иначе и до первой станции не довезем. А вот одной,

так сказать, представительнице трудящегося народа, да еще хлебнувшей этой самой военной каши, можно будет от имени всех нас маленько посидеть на царском кресле. А представительница эта — дочь самарского красного рабочего и солдата Григория Лагунова — Лидия Григорьевна. Против белых чехов воевала, у Василия Ивановича Чапаева служила, у меня стрелять училась. Так что место ей и почет.

Пал Палыч хитро улыбнулся, взял ошеломленную Лидку за руку и повел ее к обитому золотистым не то бархатом, не то еще каким дорогим материалом креслу с высокой резной спинкой. Сама она ни в жизнь не забралась бы так высоко. Пал Палыч подхватил ее под мышки, поднял и усадил на мягкое, сразу запружинившее сиденье.

— Можешь исполнять, гражданка Лагунова, роль красной царевны. А меня вон городское начальство на перрон зовет.

Вот это был поворот! Это был номер! Люди забыли про дорогие диковины царского вагона, про то, сколько тут чего стоит. Все смотрели на Лидку и поощряюще, добродушно смеялись.

— А ничего царевна! Вот только ей бы подушек пять под попку подсунуть! А то из-за спинки-то кресла даже макушки не видать.

— Должность подходящая. Сиди да заказывай себе блюда, которые повкуснее. Можно осетринку с хреном, а можно и саечку с медом. А то, говорят, есть еще суп из черепаховых гребешков.

Гурмана тут же осадили:

— Не из черепаховых, а из петушиных. Из черепах, правда, гребешки делают. Но только из такого гребешка суп не сваришь. Он для волосьев больше подходит.

Сторонник черепашьих блюд не сдавался:

— Много ты знаешь! У черепах, чать, тоже гребешки бывают, может, не такие красные, как у петухов, а бывают. Срежут его с головешки и в суп.

— Ел, что ли?

— Не ел, а слыхом слыхал от тех, кто пробовал.

Вмешался еще кто-то:

— А вы царевну спросите. Чего она ни жива ни мертва сидит... Словно рот заклеили. Или, может, гнушается беседой с простым-то народом? Ее и спросите

Небось, все кушанья, какие господские столы знали, перепробовала. Вон какая важная да надутая! Слова не вымолвит...

И сразу противно стало Лидке царское кресло. И обида взяла на Пал Палыча. Взял, посадил на смех, на срам, а сам ушел. Вот и изгиляются над ней как кто может, а она, как дура, не знает даже, что делать, как отвечать. Пропало желание даже посмотреть на себя в зеркальную стенку у выходной двери вагона, потрогать ее. Сначала думала: раз посидеть можно, так уж потрогать — само собой. А теперь вдруг расхотелось. Ну так обидно, хоть плачь. И Сашка бесчувственный, не обращает на нее никакого внимания, ходит по вагону, рассматривает всякие украшения и безделушки. Нет чтобы заступиться за сестру, обрезать языки этим насмешникам.

Поелозила Лидка по сиденью, сползла на край и спустила ноги на пол. И вдруг сердито топнула маленьким аккуратным сапогом:

— Чего смеетесь? Плевала я на вашего царя и на его кресло! Подумаешь, красота! Из него пружины снизу давят.

Это уж Лидка приврала. Кресло мягкое — сидеть бы в таком да сидеть. А пружины, если и были в нем, так мягко и нежно подпирали тело и никак не давили. Но сейчас, в обиде и на людей и на кресло, Лидка могла сказать и не это.

В царском вагоне царило бурное веселье.

— Вот это царица! Сразу проявила свой царский норов!

— Ишь как топнула-то... Глаза-то как сверкают. Уголья пламенные да и только!

— Да, кровь, видать, у ей благородная, гневливая, ишь как разбушевалась. Сейчас того и гляди за наган схватится. Несдобровать тогда.

И тут вмешался Сашка. Заметил: вот-вот Лидка расплачется.

— Хватит скалиться! — вытянул он вперед сжатые кулаки.— Лидуха уже на фронте была...

Кто-то протянул, оправдываясь:

— Да мы ведь шутя. Понимаем — наша, пролетарская девчонка. Просто дорвались до царского вагона — как не посмеяться... Ты уж прости нас.

Отходчивое сердце у Лидки. Ей бы еще подуться,

покуражиться, а она услышала такие слова — и улыбка до ушей, удержаться не может.

— Ладно, чего уж... Смешно, как я на этом стуле сидела... Словно на колокольне.

Теперь Лидка смеялась вместе со всеми, и было ей хорошо. С удовольствием посмотрела на себя в зеркальную стенку и осталась довольна, сама себе нравилась: лицо чистое, веселое, гимнастерка словно влитая, офицерский ремень в рюмочку перетягивает. Поцарапала ногтем полированную поверхность зеркального стола — не царапается. И хоть никому не разрешали ничего трогать — ей никто не сделал замечания.

Вернулись домой уже совсем поздно.

— Ты погоди, посмотрю — спят ли, — сказал Сашка.

Он боялся, что Лидке попадет от отца, если тот увидит, что она свой военный наряд вынула. Ведь сказал же:

— Все, отвоевалась, чтобы я на тебе больше солдатского не видел.

А Сашка сам, когда в клуб направлялись, велел ей в красноармейскую форму одеться. Значит, ему и ответ держать. Но на их счастье отец и мать спали. А поджидала их Септимия, которая умела хранить тайны.

* * *

Чапаевцы отъедались, отсыпались, отмывались. От самой Саратовской Таволожки по-настоящему не отдыхали. Приводили в порядок свои подразделения, укомплектовывались. Получали новое оружие. Пополняли обозы. В Струковском саду дымили походные кухни, и по Дворянской струились ароматные запахи солдатских наваристых щей.

Григорий Андреевич снова окунулся в привычную суету железнодорожного узла. Дни и ночи пропадал в депо, на линиях, в ремонтных бригадах, проводил какие-то собрания... Дома бывал налетами. Порой не заставал Лидку. В таких случаях спрашивал:

— Солдат-то наш утихомирился? В поход не собирается?

Мать успокаивала его:

— И не вспоминает. Намедни все белье сама выстирала.

Лидка действительно помогала матери по хозяйству — стряпала, ухаживала за малышами, стирала. Но она не забывала своих боевых друзей и того, что она по-прежнему числится в списках личного состава разведки. И когда бригада получила приказ выступать, Лидка вынула из сундука военный костюм.

Был вечер. Отец, уже вернувшийся с работы, подозрительно посмотрел на дочь.

— Куда это вырядилась? Я же сказал...

— На фронт, беляков бить.— И Лидка замерла, ожидая ответа.

— Без сопливых обойдутся.— Отец нахмурился и узловатыми пальцами стал свертывать папироску. Махорка сыпалась на пол. — Ставь-ка лучше самовар.

Лидка насупилась и твердо промолвила:

— Поставлю и уйду!

И действительно ночью со своей бригадой ушла на фронт.

Была бы грамотной, может быть, записку оставила бы. Но в семье столяра Григория Лагунова только Дмитрию да Сашке удалось закончить приходскую школу. Девять детей не шутка. Где уж тут выучить каждого, если хлеба на все рты не хватало.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО

Училась Лидка в боях и походах.

Весна 1919 года была для молодой Советской Республики трудной и напряженной.

На Поволжье надвигалась из Сибири все пожирающая и уничтожающая на своем пути колчаковская армия. Колчаковцы сжигали деревни, вырезали семьи большевиков, оставляя позади себя виселицы и развалины. Адмирал Колчак уже видел себя в Москве. Часть его войск двигалась от Перми на Казань. Другая — через Уфу на Самару и Симбирск.

В уральских станицах закопошились казаки, в оренбургских степях — дутовцы. Они поддержали Колчака, двинулись от Оренбурга и Уральска на Саратов и Сызрань.

Колчаку до Волги рукой подать. Форсировать ее, а там — на Москву. Адмирал уже формировал «Управление Самарской губернии». Но управлять самарскими

рабочими и крестьянами не пришлось. Десятки тысяч самарцев — коммунисты, комсомольцы и беспартийные — из разных городов и сел губернии добровольно шли в части молодой Красной Армии.

Центральный Комитет Коммунистической партии послал в Самару для разгрома Колчака замечательного полководца — Михаила Васильевича Фрунзе.

28 апреля он, назначенный командующим Южной группой Восточного фронта, отдал приказ об общем наступлении на Колчака.

В эту ночь шла в наступление со своим полком и Лидка.

В первом же бою ее ранило в плечо, но домой ехать отказалась. Прикомандировали, пока не заживет рана, к штабу дивизии.

В один из весенних дней, когда с крыши сыпалась невеселая капель, а на мокрых [illegible] копошились неугомонные скворцы, в дивизию приехал новый комиссар — пышноволосый, стройный, [illegible]лобый. Звали его Дмитрием Андреевичем. По фамилии — Фурманов.

Знакомство Лидки с комиссаром началось с вопроса:

— Грамотная?

Лидка смутилась, но правду сказать побоялась:

— Немного...

— А ну-ка! — И Фурманов, вынув из полевой сумки книжку в расписной обложке, протянул ее Лидке.— Читай название.

Она держала в руках книжку и молчала. Боялась поднять на комиссара глаза. А вдруг смеяться начнет? По складам-то читала в Самаре даже афиши и лозунги на заборах разбирала. Считать до полусотни умела. Да разве это грамота!

Но Фурманов не смеялся. Он вздохнул и сказал:

— Ну ничего. Научим. Ты ее возьми, посмотри картинки. Это «Сказки братьев Гримм». А завтра я тетрадь с карандашом принесу. И учителя, а может, учительницу тебе подыщу.

Лидка не спала всю ночь. Какого же ей приведет учителя комиссар? И где он его возьмет? Представление об учителях у Лидки складывалось из наблюдений за одним важным господином, который жил в чистой половине дома Иродиадихи. Был он бородат, сух и неприступен. Ходил в сюртуке с серебряными пуговицами и здоровался только с такими же важными гос-

подами. Про него говорили, что он учитель гимназии и что каждый год ездит на какие-то воды. Так неужели вот такого учителя завтра и приведет Фурманов Лидке? Да она со страху умрет.

Но страх оказался напрасным. Привел Фурманов... Настю Вяльцеву. Да еще и выговорил санитарке:

— Сами догадаться могли бы...

Настя смущенно оправдывалась:

— Ну какая я учительница? Ничего у меня не получится.

Кроме Лидки, закрепили за Настей пожилого иваново-вознесенского ткача Василия Петровича Козина, которого все, даже командиры, звали дядей Васей.

И вот потянулись дни учебы. Ни букварей, ни задачников... Бумага, карандаш да несколько случайных книг. Занимались где попало: в избах, сараях, землянках, у костра.

Карандаш, сухой и колючий, рвал бумагу или совсем не оставлял на ней следов. Тогда Лидка высовывала язык и облизывала карандаш. Дело шло лучше. Зато язык долго был синим синим. И Лидка, чуть не плача, приставала к чапаевцам, пытаясь узнать, чем можно отмыть или оттереть с языка чернила.

Учение Лидке давалось легче, чем дяде Васе.

— Подожди, дочка, мы еще покажем себя. Как-нибудь соберемся да и напишем письма. Ты своим, я своим. Своей рукой от буквы до буквы. А?

Лидка загорелась:

— Ох как я хочу написать, дядя Вася! Вот разобьем Колчака, засяду на целый день — и все буду писать, писать, писать. Папке — отдельно. Мамке — отдельно, брату Сашке и Дмитрию — отдельно. А малышне — всем одно. Они у меня все равно неграмотные, глупые.

Стоило Лидке прочесть первую сказку из книжки, подаренной Фурмановым, как она уже не отрывалась от волшебных историй. И с этой поры читала все, что попадало ей под руку: листовки, приказы, обрывки газет, плакаты, вывески. Читала и сама себе удивлялась: как раньше не обучалась грамоте? Ведь это совсем просто. Теперь бы уже сколько сказок прочла, всяких смешных и грустных историй узнала!

Приставив Настю Вяльцеву к дяде Васе и Лидке, Дмитрий Андреевич предупредил:

— Учи их строго. Чуть минута свободная — за

книгу, за карандаш. Как письмо осилите — экзамен устрою.

Но Фурманову пришлось не только устраивать экзамены, а и самому быть учителем. Настя заболела — начался жар. Полковой врач испугался — не тифом ли заразилась? Положили в лазарет.

Начал было заниматься Лешка Самарцев. Но очень скоро бросил это занятие.

— Тебя-то одну я бы еще вытянул, а дядю Васю — терпенья не хватает. Не могу я, как дятел, одно и то же долбить сто раз. Я уж лучше в разведку лишний раз сбегаю...

Вот и получилось так, [illegible] неделю никто с дядей Васей и Лидкой не [illegible]. А самостоятельно у Лидки ничего не [illegible] Лешки терпения с другими заниматься не [illegible] у нее — с самой собой.

Пришел старый [illegible] дивизии:

— Что ж, Андреич, [illegible] грамотой да так и бросил.

Голова кругом у [illegible] дел, вздохнул и сказал:

— Куда деваться, буду [illegible] учить.

Степь подсохла и [illegible]. Над головой пролетали косяки диких уток, клином проплывали курлыкающие журавли. Лидка, выросшая в городе, только теперь открыла для себя прелесть весенних степных просторов. Она забывала обо всем на свете, даже о войне, и бегала с ребятишками в поле заливать сусликовые норы, приносила раненым в лазарет целые охапки сирени, наломанной в заросшем барском саду, засучив штаны до колен, ходила по лужам, оставленным схлынувшим половодьем, ловя здоровой рукой щурят.

В штабе не особенно придирались к ней. Понимали: возраст, новая обстановка. Да и перевязанная рука требовала снисхождения к ее ребяческим проказам.

Только Дмитрий Андреевич был неумолим. Ругал за опоздания на занятия. И за невнимательность. Лидка и в самом деле была непоседа. Длинный и худой Василий Петрович мог часами слушать Фурманова не шелохнувшись. Сотни раз он мог терпеливо и упорно выводить один и тот же значок на бумаге, пока не добивался, чтобы он был похож на образец, который ему

задал комиссар. А Лидка то и дело ерзала на месте. Она честно старалась сосредоточиться. Но ей не всегда удавалось это. Скрипнет дверь — обязательно надо оглянуться. Интересно же, кто вошел. Раздается во дворе команда — как тут не вытянешь шею: а вдруг это ее любимого полка касается. Выкрикнут чью-нибудь фамилию... Как не узнать куда его пошлют: в разведку или за сухарями в обоз?

В такие минуты комиссар хмурился и говорил:

— Ох, боюсь, Лагунова, обгонит тебя дядя Вася.

А дядя Вася, польщенный, поддакивал:

— Я тебя, дочка, как пить дать обгоню.

Но уступать дяде Васе, который говорил, что у него мозги заржавели от старого режима, Лидке вовсе не хотелось.

И вот наступил день экзаменов.

Утром вошли в большое мордовское село. Управившись со своими делами, комиссар после обеда пригласил Лидку и Василия Петровича в холодок. Сели в тени от опрокинутой высокой телеги на траву, у задних ворот, выходящих на гумно. Василий Петрович вынес из избы низенькую табуретку. Фурманов для этого случая принес в кармане чернильницу-непроливайку, дал Лидке ручку и две четвертушки гладкой хорошей бумаги в косую линейку.

Над головой летали крупные пестрые бабочки. Из-за хлипкого плетня взмахивало пустыми рукавами безликое пугало. В другое время Лидка, пожалуй, не прочь была бы побегать за бабочками и что-нибудь добавить к костюму пугала. Но сейчас испытывала сильное волнение, от которого поджилки тряслись и во рту почему-то пересыхало.

Экзамены! Вот как окажется, что она глупая и совсем неспособная девчонка, тогда прощай Чапаевская дивизия. Засмеет комиссар... «Эх ты,— скажет,— куда тебе в грамоте, когда двух слов правильно написать не могла! Переведите ее из разведки в обоз. Пусть картошку чистит...»

Одно, хоть и маленькое, но утешение оставалось Лидке: дядя Вася отстал от нее в учении так, что на этот раз его не допустили к экзамену, и он теперь присутствовал как зритель. Но он не унывал и грозился:

— Я тебя еще догоню, стрекоза. У меня хоть мозги и ржавые, а уже раскручиваться стали. Алфавит

знаю — раз,— он загибал палец. — По складам читаю — два. До двух сотен я тебе могу хоть как: хоть на пальцах, хоть на камешках все высчитать — три. Ну и буквы все выписываю похоже — вот четыре. Только рука быстро устает. Комиссар говорит — нажимаю сильно...

Когда Лидка уселась на перевернутое деревянное корыто и положила локти на табуретку, Дмитрий Андреевич, пряча в уголках красивого строгого рта улыбку, сказал торжественно:

— Боец Лидия Лагунова, сегодня вы будете писать самостоятельное письмо домой. Это и будет вашим экзаменом. Напишете — [illegible].

Но прежде чем приступить к [illegible], Лидке пришлось выдержать бой с Аф[illegible] [illegible].

Дмитрий Андреевич [illegible], через полчаса придет проверит.

Тут и появился Гвозд[illegible]. Глазки блестят и косят сильнее [illegible] штанина галифе выше колена [illegible] разорвана. Увидел Лидку, обрадовался:

— Лидуха, дай бинт!

После куриной [illegible] осадок остался на душе у Лидки. [illegible] забыть своего позора и, конечно, [illegible] Афоньку. Зачем кур притащил? Да еще ворова[illegible]. В[illegible]поминались Лешкины часы и портсигар, [illegible] тот пожертвовал, лишь бы не уронить чести [illegible] разведчиков. И не жаловала Лидка Афоньку, когда встречала. Противен был. А он, как будто ничего и не произошло, балагурил, шутил и даже угостить ее однажды сухим урюком вздумал.

Вот и сейчас идет к ней за помощью. Знает ведь, что не откажет доброе девчоночье сердце. Не Афоньке даст бинт, а бойцу-чапаевцу.

Но все-таки для формы, а спросить надо:

— Зачем?

Афонька нагнулся, задрал штанину, и Лидка ахнула. На ноге красной подковой отпечатались собачьи зубы. Даже дядя Вася присвистнул:

— Крепко, почище, чем в бою!

— Где это? — удивилась Лидка, подтаскивая Афоньку к колодцу, чтобы промыть рану, а потом залить йодом.

— На том конце села... Набросились целой тыщей. А я одной по башке камнем как врежу! Давай закручивай быстрее бинтом — саднит.

И тут Лидка почувствовала, что от нагнувшегося Афоньки тянет самогоном.

— Постой, постой! Да ведь ты пьяный, Гвоздь! — возмутилась она.

Афонька опасливо огляделся:

— Ну так что же! Ну, клюкнул маленько. На то я и разведчик. Разведал и клюкнул...

Лидка переводила негодующий взгляд с Афоньки на дядю Васю. Среди разведчиков было всякое, но пьянства Щербаков не терпел.

— Нам с чистой головой воевать надлежит,— говорил он разведчикам.— Чтобы всегда хорошо варила, любой выход из положения нашла. Ясно? Это белым под стать пьяными воевать, а не защитникам революции.

И Лидка была с ним совершенно согласна.

— Ну ладно, Лидуха. Не хочешь дать бинта — не надо. Я не обижусь. Понимаю: не так воспитана.— И, желая, видимо, расположить к себе дядю Васю, предложил ему: — Пойдем, дядя Вася, угощу. Осталось на донышке...

Бутылка, которую он вытащил из кармана, однако, была только начата.

Да ведь дядю Васю не купишь выпивкой. Строго глянул на Афоньку, упер ему в лицо желтый прокуренный палец и спросил:

— Где взял?

Хохотнул Афонька, отвел бутылку за спину.

— А-а-а, хитер, дядя Вася! Где взял, там нету...

Лидка уважала старого солдата. И не могла спокойно смотреть, как Афонька издевается над человеком, который ему в отцы годится.

— Отдай! Собака его покусала... Да тебя за такое... в трибунал надо...

Афонька тоже разозлился:

— Глянь, глянь! Умные больно — книжечки почитывают...

— И тебе бы, чем пить, лучше подзаняться,— наставительно сказал дядя Вася.

— Ха, что я — психический? В разведку хожу, беляков хлопаю. А на отдыхе хочу — сплю, хочу — гу-

ляю... Сдались мне ваши книжки! Да ну вас к лешему! Надоели вы мне все. Учат и учат... Вот я с одним человеком познакомился — анархистом называется. Вот это человек! Вот жизнь у него — позавидуешь! Никакой он власти над собой не признает. Сам себе командир. Что хочет, то и делает. И я тоже... Хочу выпить и выпью!

Дядя Вася даже не понял сначала:

— Ты что, ты что... Ты в своем уме, щенок? В бандиты хочешь, которые под черным знаменем ходят, людей грабят, разувают, раздевают? Которые не сеют не жнут?..

Р-р-раз! И не успел Афонька отвести руку, как вырвала у него Лидка бутылку с самогоном и хватила ее о железный обод тележного колеса, только брызги полетели.

Рассвирепел Афонька. Бросился с кулаками на Лидку. А она, не долго думая,— за дяди Васину винтовку, прислоненную к телеге. Нигде не расставался с ней старый ткач-солдат: ни в походах, ни на отдыхе.

Он еще и трус, оказывается, этот Афонька. Как только услышал крик дяди Васи: «Эй, Лагунова, осторожно, заряжена!» — так и попятился и забормотал:

— Ты что, ты что, Лида? Не буду больше. Война ведь... От тоски по дому больше...

— Вояка! Книжки ему не нужны, а пить надо. Идем к Щербакову! Он тебе пропишет... — угрожающе наставляла Лидка штык на перепуганного Афоньку.— Вон долаз!

— Ну, Лидуха, ладно уж, слово даю. Только ты не говори никому. И ты, дядя Вася... Ну пожалуйста! Ей-богу, в последний раз.

Дядя Вася взял из рук Лидки винтовку. Поставил ее на старое место.

— Ну чего ты его штыком щупаешь? Он и так испекся. Эх и хлипкий же ты парень, Афанасий! А еще Гвоздь... Иди спать.

Лидка все-таки хотела отправить Афоньку к Щербакову, но потом подумала, что, может быть, Афоньку укусила не простая, а бешеная собака, и испугалась.

— Дурак ты пьяный, Афонька, а не чапаевец! Потом отоспишься, а теперь марш к Насте! Скажи, что, может, бешеная собака укусила. Пусть лечат, а то сбе

сишься. Да врачу на глаза не попадайся, а то живо под арест пойдешь.

— И сбесишься и под арест пойдешь,— обобщил дядя Вася.— Так-то, брат Афанасий. И выходит, дело твое табак, если сам себя в руки не возьмешь.

Афонька, должно быть, понял ужас своего положения и побежал к санчасти.

Когда Фурманов пришел проверять, что же Лидка написала, то проверять было нечего. Она вместе с дядей Васей выбрасывала за огородный плетень крупные осколки разбитой бутылки, чтобы комиссар, чего доброго, не догадался, что тут без него происходило.

— Волновалась,— соврала Лидка,— не могу без вас. Вот сейчас и начну...

Первый листок Лидка испортила. Проколола пером и посадила здоровенную кляксу. Схватила его, хотела скомкать и бросить, дядя Вася не дал. Перехватил бумагу и потянул к себе. Помахал ею в воздухе, сухим пучком травы осушил кляксу и, сложив листок вчетверо, осторожно засунул его в карман гимнастерки.

— Ты добром не раскидывайся! — сдвинул он мохнатые брови.— Тут на целый урок хватит.

Со вторым листом дело пошло лучше. Заполняла строчки через одну линейку — так учил комиссар. Сама не заметила, как закончила письмо. Правда, когда подняла глаза на Фурманова, лоб у нее блестел от пота, а дыхание было частым и прерывистым, будто только что ушла от казачьей погони.

И Лидка почему-то была уверена, что хорошо написала. Были ошибки или нет, все ли написала как надо, она так и не узнала. Дмитрий Андреевич ничего не поправлял. Он только молча одобрительно кивнул головой.

Внезапно радость Лидки сменилась испугом. Подумала: «Ведь не поверят дома, ни за что не поверят».

И пришлось комиссару на чистом уголке четвертушки своим мелким аккуратным почерком приписку сделать, что, мол, уважаемые Лидины родители, Григорий Андреевич и Мария Федоровна, пишет вам действительно ваша дочь Лидия Лагунова, боец 25-й дивизии, так как она обучилась грамоте, что комиссар Фурманов и удостоверяет.

Конверт Дмитрий Андреевич надписывал сам. Боялся — испортит Лидка. Другого не было.

ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОРЧИК...

Серые сырые дома. Лидке кажется — они разбухли от воды. Будь она великаном, взяла бы такой дом в руки, надавила бы ладонями с двух сторон и выжала бы всю воду.

Сапоги ее размокли. Хлюпают. Десять раз переобувалась на день — и портянки меняла, бумаги и сена подкладывала — все равно мокрые ноги.

Можно бы, конечно, и в штабной избе отсидеться. Хозяйка, наверное, печку истопила. Под горячий-горячий. Да разве усидишь? Ведь никогда еще такого не было, чтобы с противником нос к носу столкнулись и без особой драки друг напротив друга сидели. А здесь именно такое случилось. Красные — в Казаковке. Белые — в Жилинке. А [illegible] речка Боровка. Впрочем, какая это речка? И [illegible]-то так жалко. Петух два раза крыльями [illegible] и перелетел. А теперь дожди ее переполнили [illegible], разлилась, мост снесла. А так, в спокойное [illegible] водой можно и в перетяги играть, кто [illegible] берег перетянет.

Хотели было [illegible] речку с лету смять колчаковцев [illegible] задерживаясь, да не вышло. Силы были на [illegible]. Многоверстный переход так измотал бойцов, что как только заговорили пулеметы с той стороны, стало ясно — дальше нельзя.

Белые тоже натерпелись за эти дни. Сколько ночей без сна отступали, по пятам преследуемые чапаевцами. Погода помогла им оторваться и уйти вперед. И вот, наконец, зацепились за высокий берег Боровки.

Напоролись разинцы на пулеметы. Собрались командиры на совещание. Решили — зачем лишние жертвы? Надо или ночью или утром брать Жилинку. Прожекторов у беляков нет. Это точно установлено. Артиллерию они не успели подвезти. Так что пусть бойцы пообсушатся, отдохнут, может быть, чего горячего поедят.

Колчаковцы хоть и выставили боевое охранение, но, должно быть, тоже не ждали быстрой стычки. На их берегу курились дымками крестьянские бани. Заслышав треск перестрелки, солдаты выскакивали из них и бежали в глубь деревни. А теперь, когда пулеметы и винтовки смолкли, в начинающихся сумерках к баням снова пробирались пугливые человеческие

фигуры. Желание смыть с себя накопившуюся за долгие недели походной жизни грязь, должно быть, пересиливало страх.

Чапаевцы быстро разобрались в обстановке, и через каких-нибудь полчаса вовсю дымили бани и на их стороне.

Лидка долго бегала по деревне, пока не нашла свою женскую компанию. Собственно, эта компания только по банному делу и собиралась. Летом в сторону от мужчин отходили и купались. Зимой раньше мужиков в бане мылись. Да еще день для стирки выбирали и над корытами вместе возились. Впрочем, стирка не касалась Лидки. За нее это добровольно делала санитарка Настя Вяльцева. Вот и сейчас она трет самодельной мочалкой худые Лидкины плечи, шутливо пересчитывает ребра, плещет на спину воду со щелоком из дубовой шайки. Хорошо! Лидка ежится от удовольствия и поминутно спрашивает:

— Устала? Давай я тебе потру!

Это больше из чувства долга. А на самом деле Лидке очень не хочется уходить из-под ласковых и заботливых Настиных рук, которые так напоминают материнские.

Восемнадцать лет Насте. Но для Лидки она на фронте — мать. Мать и самая верная подруга. Загрустит ли Лидка, обидит ли ее кто — всегда сначала к Насте боль и обиду свою вылить. Настя и ухаживала за Лидкой, как за дочерью. Обстирывала ее, следила за ее одеждой. Сводила цыпки с Лидкиных ног цинковой мазью. А в дорогах, в тряских вагонах подкладывала под Лидку свою стеганку или клала ее голову на свои колени и теплым материнским голосом напевала ей что-нибудь.

Чуть ли не все чапаевцы были влюблены в красавицу Настю. Кое-кто пробовал и выразить ей свои чувства. Но сведет к переносице Настя свои соболиные брови, сверкнет серыми строгими глазами, и отходит от нее в непонятной робости и великом смущении самый неотразимый сердцеед.

Только одному человеку позволяла Настя и глядеть на нее и разговаривать с ней по-особому — молодому командиру роты Даниле Рыбакову.

Но и тут было сказано:

— Не до любви сейчас, Даня. Поженимся, только после войны... Хорошо?

Ну что мог ответить Данила? Только одно: «Хорошо».

Точно на крыльях понесла Данилу Настина любовь. Другой бы беречь стал себя. А этот будто хотел доказать что-то Насте — лез в самое пекло. И ничего. Всегда жив оставался. Бойцы роты в нем души не чаяли. Когда назначили комбатом, делегацией ходили к Чапаеву — просили не выдвигать, не отнимать у них командира. Отругал их Чапаев, сказал, что радоваться надо за своего командира, которому большее доверие оказывают, а в конце разговора вызвал [illegible]:

— Цени! Видишь, как за тебя народ держится. Смотри не продешеви.

Доверие молодой комбат не продешевил, а Настю уговорить не смог и на этот раз.

— После войны! — сказала как отрезала.

Вот какая подруга была у [illegible]. Везло Лидке на хороших людей, сколько [illegible] их, да сколько еще встретит в жизни!

А после бани пили чай. За [illegible] столом с комиссаром полка Иваном Андреевичем Казуриным. Казурин сидел за хозяина у самовара, [illegible] Настю и Лидку и командира полка Малахова. Политруки получили от него приказ провести после [illegible] политбеседы в ротах по поводу предстоящего [illegible] наступления и сейчас не тревожили комиссара. Должно быть, беседовали.

Малахов после каждой выпитой чашки вытирал крепкую загорелую шею большим клетчатым платком и, секунду поколебавшись, снова подставлял чашку под кран.

— Еще одну, что ли, Андреич?

Настя с Лидкой весело перемигивались. Знали, что эта «одна» будет повторяться еще не один раз. Чаепитие внезапно было прервано влетевшим в избу командиром второго батальона.

— Комиссар, спасай! Там какая-то белая шкура такую агитацию разводит, что только держись. Почем зря Советскую власть кроет, да все с вывертами. Пробовали перекричать — не выходит. А среди наших кое-кто и уши развесил.

Подцепил Казурин свою шапку, папаху на голову — и в дверь. Лидка за ним.

Голос, доносившийся с того берега, был чистый и звонкий. Видно, что принадлежал он здоровому и моло-

дому, но очень злому человеку. Ненависть и злоба так и дрожали в голосе.

— Офицеришка какой-то надрывается! — пришел к выводу Казурин.— Ну, мы сейчас с ним поговорим.

Спустились к самому берегу. Комбат показал на чернеющее незаметное строеньице, нависающее над берегом:

— Вот из-за этой баньки и шпарит.

Человек был так близко, что теперь слышно даже, как он сморкается и откашливается.

— Эй, краснопузики! Того, кто к нам добровольно перейдет, не тронем. Накормим, оденем и отправим по домам. А если большевиков или комиссаров к нам притащите — на всю жизнь обеспечены будете. Бейте их и переходите на нашу сторону! Довольно немецким шпионам подчиняться! У нас, у русских, своя православная власть должна быть!

— Дядя Иван, а может быть, туда гранатой бахнуть? — высказала предложение Лидка, которая ни на шаг не отставала от комиссара.

— А в самом деле, дозволь, комиссар, я его, пожалуй, достану. Силенки вроде бы добросить хватит. Заткнем ему глотку, — оживился командир батальона.

— Ни в коем случае! — оборвал его комиссар.— Это значит, нам нечего на их агитацию ответить. Так, что ли? Ну-ка, дай закурить.

А с той стороны продолжалась словесная атака:

— Не верьте своим комиссарам! Они шпионское жалованье получают, шоколад домой семьям в посылках шлют. А вас на голом куске держат.

Казурин неторопливо выкурил цигарку и, приложив трубкой ладони ко рту, крикнул:

— Эй, господин оратор, ты это сам видел насчет шоколада или у тебя в твоей поганой инструкции написано, по которой начальство шпарить велит?

На той стороне воцарилось минутное молчание. Воспользовавшись этим, Казурин предложил:

— Давай, господин оратор, по-честному. Орать да собачиться каждый может. А мы давай толком да ладком поговорим. И пускай солдаты слушают. И ваши и наши. Пускай сами правду разбирают. Ты мне вопрос — я ответ. А потом — наоборот. Да по-честному. Не увиливать...

Опять молчание. К такому обороту дела офицер, очевидно, был не готов.

Инициатива явно уходила из рук белого берега. И «оратор» с той стороны согласился:

— Ладно. Вот скажи, почему вы против бога идете?

Казурин за словом в карман никогда не лез:

— А зачем он нам, такой бог, который только за богатых и сытых стоит? Плохой бог, если он одним от жиру лопаться позволяет, других по миру пускает. Возьмите его себе. А мы и без него обойдемся.

В красноречии офицер, может, и не уступал, но в находчивости явно проигрывал. И комиссар перешел в наступление:

— Ты вот скажи, господин белый офицер, за кого вы идете? Кого защищаете?

— За свободу идем!

— Чью свободу?

— Русского народа от большевистского и немецкого рабства! Свободу от шпионов!

— А мы так полагаем, что свобода вам для дворян, для фабрикантов да для купцов нужна. Чтобы русский народ свободнее было грабить.

— Ясно, большевистские штучки... Комиссар, наверное? — с плохо сдерживаемой яростью спросил «оратор».

— Комиссар,— признался Казурин.— И эту вашу свободу в полной мере на своей шкуре испытал. Не хочу больше. На «шпиона» же учили меня в городе Самаре. Может, слышал о таком? Есть там такая «шпионская» школа — Трубочный завод.

Внимательно, должно быть, слушали белые солдаты перепалку агитаторов. Сдержанно хохотнули.

— Вот там и научился ненавидеть вашу свободу.

Лидка слушала Казурина и радовалась. Вот как надо затыкать рот белякам. Разве против правды кто может устоять?

Он не торопился уговаривать белых сдаваться в плен, не оскорблял их, не называл «белопузиками», не ругался матерной бранью, и это было сильнее, чем грубые угрозы белого агитатора.

Выждав, пока беляк прокричит свои слова, которые теперь со стороны красных встречались громким смехом, комиссар продолжал лобовую атаку:

— Ты вот, господин оратор, насчет комиссарско-

го шоколада разорялся... Что такое шоколад, я только из книжек до вчерашнего дня знал. А вчера в вашем обозе офицерский запас пробовали. По две плитки на брата досталось. Всем поровну — что командир, что комиссар, что рядовой боец. У нас и котел общий. Все вместе друг у друга на глазах жуем и живем. А вы как, господин оратор, наверное, в офицерах состоите?

— Ну так что же? — ответил чужой берег.

— А то, что уж вы-то своим, наверное, куском с солдатом не поделитесь, свое жалованье в общий котел не кладете, а при случае и в зубы не прочь солдату заехать. У вас, у господ колчаков, это частенько бывает. Так, что ли?

Вскоре до Казурина и Лидки с того берега донеслись другие голоса. Оказывается, белые решили взяться за пропаганду всерьез. Они отобрали несколько грамотных и говорливых солдат и унтер-офицеров, слегка подрепетировали и сейчас забрасывали красных разными хитрыми вопросами.

Это был ход неожиданный. Надо было предпринимать что-то в ответ. И Казурин послал Лидку вдоль берега к политрукам батальонов, чтобы они на каждого вражеского «оратора» выпустили своего.

— Да скажи им, пусть правдой бьют. И побольше житейских вопросов: о хлебе, о мире, о бабах, о ребятишках, что без кормильцев с голоду...

Увязая по колено в грязи, то и дело проваливаясь в какие-то ямы, побежала Лидка вдоль берега, передавая распоряжение комиссара.

И закипела словесная баталия на речке Боровке. Тут тебе и политические речи, и целые партийные программы, тут и ругань, и состязание в остроумии. Два десятка людей скрещивали свое идейное оружие, не видя друг друга, в абсолютной темноте. А за их спинами стояли сотни и тысячи их боевых товарищей, ревниво следя за успехами своих ораторов. Удачный ответ или вопрос встречали взрывом хохота или возгласами одобрения, неудачу — неодобрительным молчанием или пренебрежительно едким замечанием.

На участке второго батальона поговорить с белыми вызвался длинный и сухой командир роты Косарев. Лидка осталась с ним. Про него говорили, что он болен

чахоткой. Но на болезнь свою он никогда не жаловался, трудности походной жизни переносил вместе со всеми, никогда не выпячивался вперед. До революции Косарев работал в типографии. Был наборщиком. В партию большевиков вступил еще в царское время.

Говорить много не любил. Но уж скажет — припечатает. Второй раз повторять не надо. Когда была сырая погода, ходил, закутав горло теплым вязаным шарфом. Стоило ему немного простудиться, и он долго и надрывно кашлял.

Но говорил Косарев, несмотря на больное горло, удивительно звонким и чистым, далеко слышным голосом.

Комиссар, [illegible] по батальонам, приказал, чтобы не было в серьезном разговоре пустых оскорблений, всех белых крикунов называть «господами ораторами».

Белый оратор крикнул Косареву:

— А что про немцев скажешь? Может, и это неправда, что они у вас всеми делами командуют? Купили они всю Советскую власть за сто миллионов немецких рублей и разъезжают в броневиках по Москве, приказы отдают. И говорить заставляют по-немецки русских людей и в веру свою немецкую обращают. А не хочешь — расстрел...

— Ты откуда это такую брехню принес, господин оратор? — изумился Косарев. — Может, сам таких немцев видел?

Чапаевцы, жадно внимавшие «идейному разговору», громко и дружно захохотали.

— Чего не видел, того не видел, — вдруг охотно согласился «оратор». — Да только к нам вчера новый командир батальона прибыл, он сам видел...

— А не видел ли он, как китайцы Питер заняли? А не знает ли, что африканские людоеды в Пензе всех детишек живыми съели? А как всех верующих стариков и старушек комиссары на случай голода в бочках солят, не рассказывал?

Теперь уже смеялись не только на красном берегу. Хохотали и на белом.

Поняв, что он со своим легковерием и наивностью попал впросак, «оратор», переждав, когда смех утихнет, стал оправдываться и переходить на более простые и понятные темы, в которых он разбирался куда лучше, чем в политике.

— Ладно, тут всякое может случиться. А вот как у вас, красных, дальше-то дела пойдут? Комиссары да большевики заберут себе земли да заводы. Нагребут себе полные карманы денег, сделаются хозяевами, а народ опять, как на прежних господ, спину на них гни. Так, что ли? И начинай все сызнова?..

Хотел ответить Косарев. Раскрыл было рот. Набрал было воздуха в грудь. И совсем некстати закашлялся. Да так, что кровь на губах выступила. Хорошо, никто не видел. Увели его бойцы под руки в избу.

А белый берег ждал ответа.

— Ну, дяденька, говори, что ли? — толкнула Лидка в бок пожилого красноармейца. – Подумают еще, что одолели нас.

Но дядя боязливо отстранился от нее:

— У меня язык, что твой жернов. Не сдюжу.

Обратилась Лидка к другому бойцу, молодому, недавно приставшему к дивизии. И тот замахал руками:

— Никогда не выступал на собраньях. Боязно. Вот если бы ругнуться, я бы не сплоховал...

И тогда Лидка не выдержала. Дрожащим от гнева и отчаянного желания не уступить голосом она, нарушая всякие условия «дипломатической вежливости», закричала:

— А вот и нет, белые гады! И не выйдет по-вашему! Ничего не будет по-старому. Ни царь ваш нам не нужен, ни Колчак, ни всякие генералы и помещики! Сами проживем. И никакие не хапуги наши комиссары! Ничего они не гребут. У меня папка — тоже комиссар в Самаре. Два года комиссарит, а у него как была одна рубаха, так и осталась. Пока, говорит, у всех по две не будет, и мне не надо.

— Постой, постой! Что-то разобраться не могу. Ты кто будешь-то, уж не девка ли! Что-то голос больно пронзительный...— растерянно спросил «господин оратор», даже не обратив внимания на оскорбительный тон Лидкиной речи.

— Девка! Четырнадцать лет ей. Бойцом у нас,— охотно пояснил пожилой красноармеец.— А чего, или стыдно с бабами агитироваться?

— Да нет, чего уж, пущай говорит.— И в голосе белого «оратора» Лидка уловила явное одобрение.

Теперь уже ничто не могло ее остановить. Она, поза-

зная, что перед ней враги, которые могут и не понять, рассказывала всю свою маленькую трудную жизнь. Рассказывала, вернее, выкрикивала, как и за что царские слуги пороли отца и его братьев в Пушкинском доме. Вспоминала ненавистную Продиадиху, жирного армянского князя и его сына...

А как потеплел Лидкин голос, когда она стала рисовать белякам, каких людей она нашла в Чапаевской дивизии, кто они такие, какими делами занимаются между боями, как мечтают о доме, как сидят за букварями, какие вести получают от родных с той, белой стороны!

И получалось, что девчонка не о себе говорит, не о своей жизни, а о жизни всех бедных, еще недавно задавленных нищетой и бесправием людей, которые сейчас, затаив дыхание, слушают ее на этой стороне Боровки и каких немало на той. Ведь большинство белых солдат только неделю или две назад получили шинели и винтовки на мобилизационных пунктах колчаковской армии. А не захотели бы брать добром — заставили бы силой. Они это умеют, колчаки! Их заплечному делу учить не надо!

Лидкино отчаянное слово объединило, сблизило берега. То там, то тут вспыхивали огоньки папирос и цигарок. Солдаты не прятались. Чтобы лучше слышать, выходили из укрытий.

И вдруг выстрел.

Это, не выдержав поединка, отчаявшись перебороть красного комиссара, в бессильной злобе выстрелил на голос Лидки белый офицер.

Пуля, к счастью, не причинила вреда. Чапаевцы не стали открывать огонь. Но обстановка для откровенного обмена мнениями, для прямого разговора была нарушена. Снова враждебно насупились берега, настороженно глядя друг на друга дулами пулеметов и винтовок... Снова нависла над рекой черная, враждебная тишина.

Эх, неважно, должно быть, чувствовали себя в эти минуты белые «господа ораторы»! Провалились с треском, с грохотом. Не помогли заранее заготовленные и заученные бумажки.

А потом Лидка пела в полковом хоре. Пела с большим удовольствием, как и весь хор, в который без малого входил целый полк.

...Где-то в темноте за ее спиной звучал, сотрясая воздух, густейший бас писаря Гончарова:

— Благоденственное и мирное житие, здравие и спасение и во всем благое поспешание на врага победу и одоление подаждь, господи!

Вот уж чего-чего, а такого ни беляки, ни жители обеих деревень, которым в эту ночь было не до сна, конечно, не ждали.

— Го-о-о-с-п-о-д-и по-о-омилуй! — тянули разинцы, задыхаясь и всхлипывая от смеха. Но так как хор уже спелся, то у всех вместе, несмотря на то, что каждый пытался выбросить в пении свое коленце, получалось очень внушительно.

— Геройской и непобедимой Чапаевской дивизии, с ее славным командиром Василием Ивановичем Чапаевым, с комиссарами и коммунистами, с командирами и горнистами, с ее летчиками и артиллерией, с кашеварами и кавалерией — мно-о-о-гая л-е-ет-а и по-бе-е-е-е-да! — продолжал сотрясать ночной воздух Гончаров.

— Д-мно-огая ле-та и по-о-бе-да! — выдыхали обрадованно и весело красноармейские груди.

Сбитые с толку нейтральным началом церковного песнопения, белогвардейцы, наверное, всерьез подумали, что красные устроили настоящее богослужение.

Но то, что красный хор пел в заключение, уже не составляло никакого сомнения — над беляками разыгрывается грандиозная и злая шутка.

С наслаждением, любуясь собственным голосом, выводил бывший дьякон слова придуманного им же акафиста:

— Во блаженном успении вечный покой подаждь, господи, сибирскому верховному правителю, всех трудящихся мучителю, белому Колчаку-адмиралу и каждому его палачу-генералу, каждому его попу и шпиону оптом и в розницу и вместе и поименно, каждому другу его — буржую заграничному, коему продает он Россию за похлебку чечевичную, каждой колчаковской сволочи с утра и до ночи — ве-е-ечная па-а-мять!

И среди огрубевших, простуженных и охрипших мужских голосов летел к черному беззвездному небу молодой звонкий голос Лидки. Голос радостный и счастливый, свободный от всякого страха перед неведо-

[illegible] богом, с именем которого Колчак гнал в смертный бой братьев на братьев:

— Ве-е-чная па-а-а-мять!

Провозились с агитацией да с песнями до полуночи. Можно было подумать, что бойцы просто колобродят. Кровь молодая играет. Вот, позабыв про сон да усталость, и развлекаются кто как может, взбаламутив тихую Казаковку.

А на самом деле [illegible] делали свое дело. Командир полка Ма[illegible] чуть ниже и чуть выше села переправы через [illegible]. Репетировал с комбатами на карте наступление, проверял готовность людей к атаке, намеченной на заре.

...Были и выстрелы. Были и крики ужаса. Но белые стреляли или в небо, или в своих офицеров. От ужаса кричали колчаковские командиры, поняв, что они попали в ловушку: красные не [illegible], так свои прикончат.

Солдаты сдавались взводами, целыми ротами. Сами связали и привели нескольких офицеров. Когда командир полка и комиссар стали утром обходить строй пленных, губастый неказистый солдат с бельмом на левом глазу обратился к ним:

— Сомнение у меня, господа-товарищи. Это вчера всамделишная девка агитировала нас или голос у кого из солдат такой особенный?

И когда Казурин показал солдату Лидку, тот, восторженно оглядывая ее, щелкнул языком:

— Вот мать честная! Куда уж, значит, нашему теляти волка задирати против вашего брата, когда у вас такая пичужка до большевистского корня дошла! Это ведь мне она вчера рот заткнула! Меня господин командующий батальоном,— солдат показал пальцем на связанного капитана-колчаковца,— четыре часа дрессировал. На побывку обещал отпустить, когда мимо моей деревни проходить будем. Ну я и старался. Только куда мне! Чужие слова — что мертвые камни. Молодец девка, одно слово — молодец!

И Лидке было приятно. Хоть и маленькая, а сумела, значит, сказать так, что людей за душу трогает.

Похвалил ее вечером и приехавший в полк Фурманов. Похвалил и добавил:

— Смотри-ка, сама на второй экзамен напросилась! Ну что ж... зачтем твою задушевную беседушку с колчаковцами.

ТАЙНА ДВУХ

Любила Лидка лошадей. Но с того дня, как завелся в штабе дивизиона отобранный в одном из боев с колчаковцами «фордик», потеряла сон и покой. Василию Ивановичу — что есть машина, что нет. Ему был бы конь под седлом, была бы добрая тачанка с пулеметом. Но когда начальство вызывало в штаб армии, который располагался в Самаре, он предпочитал автомобиль. И хоть не очень любил, а понимал: по хорошей дороге самый лучший рысак не догонит машину. Да и вообще показаться в городе на своем самокате совсем не плохо: знай наших, не лыком шиты, от людей не отстаем.

А так «форд» чаще всего стоял или находился в распоряжении кого-то из командиров. Кто попросит — Чапаев никогда не отказывал. В дни весенней распутицы он вообще махнул на него рукой. Вроде обузы стал «форд», то и дело застревает.

Вот за такое отношение к машине очень обижался на начдива его личный шофер Аверьян Капралов. И как только не приучал Чапаева к своему самокату! И верх-то сделал раздвижным: хороша погода — пожалуйста, открывай его, дыши воздухом, дождь — нажимай рычаг сбоку, и готова тебе брезентовая крыша. И лаком все металлические части покрыл, так что сверкала и переливалась машина на солнце, аж глазам больно. И спинку у сиденья заменил. Теперь она мягкая, и пружинистая, и черным хромом обшитая.

И все равно не пронял Чапая. Не лежала у начдива душа к «бензиновой железке», как он иногда называл автомобиль, да и все.

А Лидку хлебом не корми, дай около машины потереться. Капралов виду не подал, что заметил ее интерес, а на ус намотал. И иногда, как бы в пространство, когда Лидка оказывалась рядом, бросал:

— Эх, времени нету, а железка моя немытая стоит... Беда с этой погодой.

Лидка так и подпрыгивала:

— Давайте я, товарищ Капралов, помою. Вы только мне бензину в баночку налейте, чтобы ржавчину свести.

Капралов великодушно соглашался. Он уходил по своим делам, зная, что «форд» будет вымыт и вычищен, а от ржавчины, которая кое-где пробивалась из-под краски, и следа не останется. Про одно только не догады-

[illegible]ся, что бензин-то Лидке и не нужен вовсе, что баночка, которую он наполнит, уйдет не на ржавчину, а в зажигалки бойцов пешей разведки Разинского полка. Первым прибегал всегда Афонька Гвоздь.

— Ну, Лидух, давай-ка на заправочку.

После Самары они заключили джентльменское соглашение: Лидка добывает Гвоздю горючее для зажигалки, а он никому, особенно новичкам, не рассказывает о том «[illegible]». Куда деваться? Лидка согласилась. Сначала [illegible]ничивала бензин у заядлых курильщиков, [illegible], пользовавшихся трофейными офицерскими [illegible]ами, у машинистки из политотдела, которая [illegible] имела про запас бутылочку, — видно, для [illegible] аппарата, — у летчиков, которые после Самары тоже появились в дивизии с тремя самолетами. А [illegible] у Лидки у самой всегда запасец. Ржавчину на фарах тот же Афонька выводил песочком или куском [illegible] кирпича.

Лидка охотно выполняла все поручения Капралова. Но не ради самой чистоты. И не ради прекрасных глаз шофера. Глаза она и получше видела. У Леши Самарцева, например, они и веселые, и задумчивые, и с хитринкой, и с простодушным участием. И все в них сразу, все перемешано. А у Капралова что? Злой он — так кроме злости в глазах ничего и не видно. Ну а улыбнется — и в глазах улыбка. Самые обыкновенные глаза.

Крутилась Лидка около командирского шофера совсем по другой причине. Была у нее мечта — заметит ее старательность, ее любовь к машине и скажет:

— Ну-ка, подержись за руль, боец Лагунова. А я перекурю пока...

Но время шло, а никаких подобных слов не говорил Капралов своей добровольной помощнице, хотя катать катал. Посадит рядом с собой и по деревне или проселку промчит так, что только ветер в ушах. Сначала это было очень приятно и лестно. Деревенские ребятишки, разинув рты, глядели на Лидку. Да и простые красноармейцы завидовали. Многие из них никогда и пальцем-то до такой машины не дотрагивались, не то чтобы кататься на ней. Но катать-то Капралов Лидку катал, а чтобы руль подержать — и не думай.

И все-таки пришел на ее улицу праздник. Хорошая погода была в тот день. С утра солнце проглянуло,

грязь кое-где просушило. И мальчишки деревенские уже бабки вытащили на улицу.

Лидка только что пообедала. Были наваристые щи и жареная картошка со свиными шкварками. Нет, на этот раз она не у хохла Налейвощика харчилась. Просто повезло. Приехала к Петьке Исаеву, чапаевскому ординарцу, жена. Молодая такая, из себя видная. Волосы пшеничные из-под цветастого платочка выглядывают. Одежонка хорошая, городская. Может, свое, а может, заняла у кого в дорогу. Только выговор не скроешь. Лидка уже научилась по нему отличать городских от деревенских. Дуня была явно деревенской, а встретилась она с Лидкой напротив штаба. Стояла посреди дороги, держала в руке большой тяжелый узел и растерянно оглядывалась то на один, то на другой дом, которые справа и слева от нее стояли.

Тут Лидка и попалась ей на глаза.

— Ты, малой, скажи мне, где тута штаб-то Красной Армии? Гляжу и никак не могу понять. Сказал часовой — три конька да палисадник. А тут и справа три, и слева три. И палисады у обеих.

Вроде разведчица Лидка и наблюдательная и зоркая, а стыдно стало. Как это она сразу-то не заметила. И правда ведь — оба дома словно братья родные: зеленым тесом обшитые, с железными крышами в три ската, с резными воротами и с широкими, во весь фасад, палисадниками. Один дом попу принадлежит, другой его брату — купцу. И построили их два богача один против другого.

Поп-то живет себе в своих хоромах, в окошко на красных поглядывает да хмурится. А купец с беляками ушел. В его доме расположился штаб дивизии. Петька Исаев сейчас как раз бездельничает, нашел на купеческой подволоке старую балалайку без струн и, вытянув проволоку из телефонной жилы, чинит инструмент. Обещал к вечеру частушки петь под музыку. А чего ему, Петьке, делать? Начдив уехал без него, взял с собой другого ординарца.

Заметила Лидка — Чапаев Исаева бережет. Себя не жалеет, а своего первого ординарца всегда заставит и поспать, и хорошо поесть. Лидка как-то слышала: «Моего Исаева подучить малость, он любого фельдмаршала по части военной науки заткнет. Ба-альшие возможности в Петькиной башке содержатся!»

Но, сам собой, Чапаев мог своего ординарца называть Петькой. А Лидка это делала только мысленно. Так для нее он был ближе, понятнее, доступнее, что ли. А в глаза только Петром Васильевичем называла. Понимала, как много в ее судьбе зависит от чапаевского ординарца. Если рассердится — так пуганет, что запрячут Лидку куда-нибудь в обоз, и света белого не взвидишь. С ним ведь все по-хорошему: и комбриги, и командиры полков.

Вот иной прямо из боя, герой героем, а все равно спрашивает у Петьки, в каком настроении Василий Иванович. И если Петька ему своим сигналом — бушует, мол, начдив, словно красной тряпкой его раздразнили, — остывает человек, палец к губам и спиной, спиной к двери. Чапаева всякого уважали — и в боевом его азарте, и в открытом разговоре, и в великом гневе.

Ну а что хитрил Петька, так тут Лидка ничего такого не видела: надо и начдиву отдохнуть, голову на подушку приклонить, а может, и погоревать о ком-то из погибших товарищей. Кто же на виду у других горюет?

Так что не уважать Исаева Лидка никак не могла и, услышав просьбу женщины, называвшей себя женой Петьки, обрадовалась, что может оказаться полезной. Она привела Дуню в штаб и, показав дверь из кухни в горницу, где Исаев занимался балалайкой, хотела уходить. Но Дуня не отпустила ее:

— Ты погодь, малой. У меня гостинчики с собой деревенские. Я тебя ужо награжу.

Исаев вышел из горницы на голос, хохотнул радостно, увидев жену, обнял ее, а потом спросил строго:

— Какого это ты тут, Дунярка, малого собираешься угощать?

Лидка, пока они обнимались да целовались, водила пальцем по маленьким, еле заметным трещинкам на белом боку печки. И удивлялась, как здорово похожа эта печка с извилистыми паутинками-трещинками на штабную карту, которую Чапаев носит в своей боковой сумке. Там тоже такие паутинки, только цветными карандашами вычерчены. А что если и здесь эти трещинки цветными сделать? Вот удивятся-то...

Она еще не додумала затею с картой на печке до конца, как раздался этот насмешливый вопрос ехидного Петьки насчет малого. Ужо кто-кто, а он-то, Петька,

знает, кто колупает известку в кухне... Знает, а все равно спрашивает. Небось разыгрывает свою Дунярку... Так и есть.

Дунярка с готовностью показала пальцем на Лидку.

— Вот, значит, этот кавалер в красных штанах меня сюда и привел. В штабе, говорит, ваш Петр Васильевич.

— А, ну тогда — наградить его за такую великую услугу,— продолжал веселиться Исаев.— Тогда с ним и похристосоваться можно. Яиц-то крашеных принесла, что ли, ради пасхи?

Дунярка почему-то тихо, оглядываясь, хотя никого кроме них троих в кухне не было, сказала:

— Принесла, только бают, большевики-то бога не признают, пасху, значит, тоже не празднуют.

Петька хохотнул:

— Ну, раз принесла, так что ж... Глаза закроем, чтобы не замечать, крашеные или некрашеные, и съедим...

Он так и не раскрыл заблуждения жены насчет Лидки до самого обеда. В этом селе у Дуни оказалась дальняя родственница. У нее-то и состоялся знатный обед, на который ввиду особых заслуг перед четой Исаевых пригласили Лидку. Отказываться она, конечно, не стала... Тут, на обеде, и произошло разоблачение.

— Что-то я гляжу, Лидия Григорьевна, аппетита у тебя маловато...

Это он, конечно, так, в шутку: Лидка весьма старательно работала ложкой.

Дуня закрутила головой. Где это Петр еще какую-то Лидию Григорьевну увидел? Ведь в избе, кроме хозяйки Прасковьи, ее, Дуни, Петра да мальчишки в красных штанах, больше никого.

— Нет, я ничего. Я поела, как всегда,— сказала Лидка.

И уже по ее ответу Дуня поняла, кого она приняла за парнишку.

Хорошо, все смехом кончилось. Добрая и смешливая у Петра жена. И Лидке она даже очень понравилась.

День, начавшийся так удачно, удачно и кончался.

Шла Лидка по весенней солнечной улице, сытая, веселая, недовольная только тем, что на ней красноармейская форма. Да. Бывают такие минуты и у заслуженных военных. Так бы и побежала вон к той кучке ребятишек и сказала бы: «А ну дайте мне биту!» И пока-

[illegible], как она на Ярмарочной ударом наискось все коны опрокидывала. А тут разве подойдешь... Разве достойно это красной разведчице — детскими играми забавляться? Нет уж...

Впрочем, один разок почему бы не попробовать? Один, ну всего один раз швырнуть биту в строй таких чистеньких, таких отливающих желтым коровьим маслом пашков. Развалить и с гордым, независимым видом проследовать дальше.

Это гордое слово «проследовать» Лидка усвоила от одного из [illegible] дивизии, бывшего царского подполковника. Он с первых дней революции перешел на сторону Советов, служил им верой и правдой, а вот язык у него был какой-то старорежимный. Много было в нем непонятных и очень вежливых слов. Впрочем, были и такие, против которых Лидка ничего не имела. Ну, например, когда она, Лидка, шла навстречу подполковнику, он всегда кивал ей головой, улыбался, делал шаг в сторону и говорил:

— Я рад вас приветствовать, товарищ юнгфрау Лагунова. У вас, надеюсь, все в порядке?

Лидка каждый раз краснела от удовольствия и отвечала:

— Так точно, все в порядке.

А когда подполковник разговаривал с начальством штаба армии и его спрашивали про начдива, он отвечал, если Василия Ивановича в штабе не было:

— Товарищ начальник дивизии проследовал в полк Степана Разина.

Или:

— Товарища начальника дивизии в настоящее время в штабе нет. Он проследовал в полк Емельяна Пугачева на предмет проведения красноармейского митинга.

Проследовал... Ну, к пугачевцам, допустим, Чапаев ездил на тачанке с отделением конников.

А к разинцам чего следовать, если они тут же, под боком, в одной деревне? Пешим ходом пять минут. Но все равно... проследовал. Вот и она шарахнет по кону, ошеломит деревенцев и проследует дальше.

Но Лидка не успела ни шарахнуть, ни проследовать. Над самым ее ухом раздался знакомый звук автомобильного клаксона.

— Эй, товарищ помощник! Карета подана! Прошу!

И, конечно, забыв об игре, на глазах раскрывших рты сверстников, с которыми так и не успела познакомиться, Лидка влезла в машину, опустилась на мягкое сиденье рядом с Капраловым. Он, как всегда, был подтянут, гладко выбрит. На ногах начищенные краги. Над козырьком кожаной фуражки автомобильные очки. Руки в кожаных перчатках с раструбами по самые локти.

Говорят, что раньше Капралов был автомобильным гонщиком и зарабатывал этим делом себе на жизнь. Но Лидку мало интересовало прошлое. Она была убеждена — в прошлом у человека никогда не бывает ничего хорошего. Все хорошее происходит или сейчас, или потом, в будущем. Это она по собственному опыту знала. Вот что ей сейчас предстоит? Сердце замирало от возможного, близкого счастья. А вдруг именно сегодня и исполнится ее мечта. Выедут куда-нибудь за село, где никто не увидит, скажет ей Капралов: «Ну-ка давай, товарищ помощник, подержись за колесо, а я пока перекурю». Любил шофер покурить. Причем курил не какую-нибудь махру, а предпочитал трофейные офицерские папиросы.

Только за селом Капралов сказал, куда и зачем едет.

— В Ерофеевку к Кутякову пакет везем. Что-то вроде общего наступления намечается. До Ерофеевки рукой подать. Мигом домчим. Только бы не застрять.

Пока дорога была хорошая, и настроение у Капралова тоже было хорошим. Он прибавил газ, скосил глаза на Лидку и спросил:

— А может, тебе некогда, товарищ помощник? Может, тебя будут искать? Тогда высажу.

И сам рассмеялся своей шутке. Отъехали столько, что теперь девчонка и до темноты пехом не дотопает до штаба.

А Лидка всерьез приняла вопрос. Даже губы запрыгали от испуга и обиды.

— Больно кому я нужна... А урок по арифметике комиссар только через два дня проводить будет.

— Ну тогда ладно. А пообедать-то успела?

Лидка довольно погладила себя по животу:

— Щи с мясом такие, что ложка стояла. И пирог с яйцами.

— Повезло,— засмеялся Капралов.— А я вот голодный. Только за ложку, а мне приказ — пакет, гово-

рят, срочный. Ничего, у Кутякова пообедаем. Он голодным не отпустит. Это такой комбриг — душа нараспашку.

Он еще что-то хотел сказать насчет Кутякова, но тут машина забуксовала. Колеса вращались, отплевываясь грязными ошметками, и все равно ни с места.

Капралов выругался:

— Вот тебе и обед у Кутякова! Как бы не заночевать нам тут с тобой, товарищ помощник...

— Я сейчас [illegible], — с готовностью отозвалась Лидка. — Я [illegible], товарищ Капралов.

Шофера она звала только так. Он уважал, когда к нему обращались строго и [illegible] торжественно, и сам обращался так же, не прибегая к имени и отчеству. И Чапаева он звал — товарищ Чапаев и Фурманова — товарищ Фурманов.

— Ладно уж, сиди, сильная личность, — отмахнулся от нее Капралов. — Тут теперь только конный взвод поможет. Оружье-то есть с собой?

Лидка хлопнула себя по карманам и похолодела. Браунинг-то она оставила сохнуть в печурке хозяйского дома, где вместе с Настей стояли на квартире. Пистолет ей достался трофейный. Единственным его дефектом было ржавое пятно на рукоятке. Может, саблей полоснуло в бою, а может, пуля оставила след. И не давало то пятно Лидке покоя. Вчера нашла в хозяйственной роте черного лаку, покрасила рукоятку и положила в печурку на шерстяные варежки сушиться.

И вот теперь могут беляки наскочить, а у нее пустые руки.

Посмотрела виновато на Капралова:

— Забыла, товарищ Капралов.

Ничего не сказал Капралов, только головой покачал и потянулся за своей трехлинейкой, которую всегда носил с собой. Был у него и револьвер, но уважал он больше винтовку.

— Эта пушка — что? — пренебрежительно хлопал он по кобуре. — Это для ближнего боя вроде дуэли, когда за девку двое дерутся. Трехлинейка — эта и на версту вдарит так вдарит. Я ей, старушке, больше верю, дорогой товарищ.

Чапаевцы действовали в зоне, где бродили не только колчаковские части, но и уральские казаки генерала Дутова. Так что положение Капралова и Лидки было

невиданным. Все могло случиться. А тут еще как на грех замолк мотор. Несколько раз шофер принимался крутить заводную ручку, копался в моторе, но стронуть с места машину не мог.

— Ну, ты вот что, товарищ помощник, вылезай и топай в Капуевку. На бугор поднимешься и увидишь — там Интернациональный полк стоит. Штаб рядом с церковью. Скажи, пусть трех лошадей верхом пришлют. На конной тяге придется добираться. А я тут буду ждать — «форды» на улице не валяются. Не брошу. Давай, жми! В случае чего в кустах прячься!

А что делать? Не куковать же тут, в грязи, посреди степи всю ночь? Неизвестно еще, кто наскочит: свои или чужие? Вылезла Лидка из автомобиля и потопала по дороге.

Может, для колес «форда» грязь была и неглубокая, а Лидке чуть не по колено. Не прошла и сотни метров, так устала, словно пять верст отмахала. Подумала: так дальше будет — засветло до села не добраться. Оглянулась — совсем рядом «форд». Капралов стоит в полный рост, рукой ей машет, подгоняет: «Давай, давай!»

Дорога шла на подъем и к вершине холма стала покрепче. Сапоги так не увязали. А на самом бугре, обдуваемом со всех сторон ветрами, так и вовсе не было грязи.

Лидка остановилась перевести дух, огляделась. Все так, как сказал Капралов. Верстах в трех из-за небольшой кудрявой рощицы проглядывало село. Вон и церковь с красной колокольней и тусклым белым крестом. Если бы посуху, Лидка бы сейчас так ударила с горы вниз, только бы пятки сверкали. И не успел бы Капралов выкурить трех папирос, вернулась бы с помощью. Тем более обратно на конях.

А так, по грязи, бог знает сколько прошлепаешь. Здесь-то, на вершине, ничего еще, твердо, а чем дальше в низину, тем труднее будет сапоги из грязи выдирать.

Но она еще не тронулась с места, еще не сделала и шага, как заметила двух всадников. Откуда они появились, где находились до сих пор, Лидка так и не поняла. Ведь только что оглядывалась — горизонт со всех сторон был пуст. А тут прошло несколько мгновений, а на тебе — выросли как из-под земли двое конных.

[illegible] двести, а то и того меньше, спрятаться некуда. На вершине холма ни кустика, ни деревца. Кустарник [illegible] растет по склону, но туда уже не успеть. Нагонят.

Всадники тоже, должно быть, заметили Лидку. Скорее всего по красным штанам. И ехавшие сначала вразвалку, неторопливо, подобрались, пришпорили лошадей и поскакали к Лидке. А она лихорадочно шарила по карманам [illegible] галифе и находила там только хлебные крошки. От страха и неожиданности даже забыла, что нет у [illegible] оружия, что оставила браунинг в [illegible] вместе с Настей.

Но страх [illegible] живейшей радостью, когда увидела на [illegible] всадников красные звезды. Даже руки [illegible]

— Сюда, дяденьки, [illegible] — закричала Лидка, хотя и без того было [illegible] направляются к ней.

Лидка не хотела терять времени:

— У нас там [illegible] застрял. Выручать надо. Мотор не заводится.

Всадники [illegible] лошадей.

— Кто такой будешь? — спросил тот, который показался Лидке и постарше и посерьезнее. Были у него рыжие и почему-то мокрые усы. И немигающие ястребиные глаза.

— Ну, кто-кто...— зачастила Лидка.— Лидка я, Лагунова, из Разинского, а там вон «форд» с дяденькой Капраловым стоит. Три лошади надо.

Второй красноармеец, помоложе, с желтым чубчиком, спускавшимся на глаза, тронул плечо рукояткой плетки.

— Лидка так Лидка. Ты нам толком разъясни. Какой «форд» и откуда и сколько при нем людей?

И тут Лидка заметила, что красноармейцы переглянулись и молодой зачем-то толкнул старшего коленом в колено.

«Чего они? Не верят что ли?» — подумала Лидка и снова загорелась:

— Да ей-богу, застряли. А там всего один Капралов. Помогите! Вы вон какие сильные! Да и кони у вас ровно черти.

Это она хотела польстить красноармейцам, чтобы помягче и подобрее были. А то махнут рукой и уедут по своим делам. Тогда тащись в эту самую Капуевку,

утопая в черной грязи сапогами. А тащиться Лидке ой как не хотелось!

И не пришлось. Конные красноармейцы вдруг проявили полную готовность войти в положение.

— Ну, тогда давай веди к своему «форду». Поглядим, чего надо. Если подтолкнуть — это мы могем,— сказал молодой с желтым чубчиком.

Лидка зашагала меж двух конских морд. И чем ниже спускались с бугра, тем глубже увязали ноги в грязи. Никто из конных и не подумал посадить ее позади себя.

Лидка шла и возмущалась: «Ну куркули, ну невежи! Руки не могут подать, подтянуть к себе». Но возмущалась про себя, молча. Боялась: выскажешь обиду — еще повернут восвояси.

Потом догадалась: «Они же чистенькие. Боятся об меня замараться. Я вон какая вся с ног до головы грязью забрызганная».

И от этой догадки стало легче, хотя досада все равно осталась.

Когда заглохшая машина была уже совсем близко, старший натянул поводья и спросил младшего:

— Глянь — у него сзади-то пулемет. Не сыпанет?

Младший снова толкнул его коленом:

— Чего болтаешь, дурак! Кто же по своим... сыпанет?..

Лидка тоже встряла:

— Что вы, дяденьки! Он же видит — я с вами.

Капралов стоял у автомобиля во весь рост и смотрел на приближающуюся группу людей в бинокль. Острые зоркие глаза Лидки заметили, как он опустил бинокль и вытер лоб рукавом кожаной тужурки: «Ага, значит узнал, а может даже звездочки на фуражках увидел. Сейчас мы его вытащим. Только как? Чтобы лошади тянули «форд», веревки или вожжи надо».

И она подняла голову к старшему красноармейцу:

— А вожжи у вас есть? Чем цеплять-то?

— Есть, есть. Все есть у нас. Зацепить — это нам раз плюнуть,— как-то загадочно ответил младший.— Ты знай поспевай давай, а то плетешься, ровно некормленная.

И опять Лидка едва сдержалась. Вот невежи какие! Сами на лошадях, а ее подгоняют. Ну вот вытащат «форд», она им покажет, она с ними поговорит.

Капралов нетерпеливо переминался с ноги на ногу, [illegible]. А когда Лидка с красноармейцами оказалась рядом, он [illegible] оглядел лошадей и с сомнением спросил:

— А вытянут нас две? Я ведь за тремя посылал.

Лидка не успела объяснить ему, почему так получилось, как старший красноармеец заломил ей зачем-то руки назад и принялся вязать. Лидка крутнулась, хотела [illegible] по щеке, знала она таких, которые, [illegible] годы, уже пытались приставать к ней [illegible] честью. Но руки уже умело и надежно [illegible] ремнем, не то крепкой бечевкой.

— Товарищ К[illegible] он? — растерянно крикнула Лидка, [illegible] шофер сейчас наведет порядок и [illegible] заниматься тем, зачем их позвали. Но [illegible] у нее в горле, когда она увидела [illegible] Капралова, его удивленные глаза и [illegible] губы. И еще она заметила, что одна [illegible] колено покрыта пленкой серой грязи, а [illegible] только начищена. Так и сияла, так и [illegible] черным зеркальным блеском.

Руки Лидке вязал мокроусый с ястребиными немигающими глазами. А тот, что с желтым чубчиком, держал на мушке Капралова и командовал:

— Давай, Викулов, вяжи теперь этого.

Викулов, которого Лидка считала старшим, вытянулся, козырнул:

— Будет сполнено, вашскородь!

Вот теперь до Лидки дошло — она привела к застрявшей машине переодетых беляков. Наверное, казаки. И такой злобой она вдруг переполнилась к себе, такой ненавистью, что вдруг закричала во весь голос, захлебываясь внезапно хлынувшими слезами:

— Дяденька Капралов, прости! Это я их, дура окаянная, притащила сюда! Слепая я была, дяденька! Совсем слепая! Увидела звездочки — обрадовалась.

Тот, с желтым чубчиком, поморщился от Лидкиного крика и бросил Викулову, связавшему руки шоферу:

— Заткни ей глотку да брось на задок. Орет как зарезанная. Рано, девка, рассопливилась. Приберегла бы слезы для допроса.

Капралов молчал. Только крутые желваки ходили

…него под тонкой порозовевшей кожей щек. Когда …зак заламывал ему руки назад, пуговицы на кожанке с треском отлетели и теперь она распахнулась на груди, открыв матросскую тельняшку. Для Лидки это было новостью. Она не знала, что Капралов — бывший моряк. Поймала себя на этой мысли и больше прежнего рассердилась на себя. В плен попали по ее вине, смерть, может, вот-вот придет, а она, видите ли, удивляется, что до сих пор о моряцком прошлом товарища Капралова не знала, хотя и в дружбе с ним столько времени была.

И когда казак с ястребиными глазами стукнул ее по затылку, так что свалилась щегольская кубанка, и бросил, открыв дверцу, на заднее сиденье автомобиля, Лидка даже какое-то злобное удовлетворение почувствовала: «Так мне и надо, раззяве полоротой».

Уж что-то, а ругаться она умела. Хоть чужого кого, хоть себя так продерет, держись только.

Рядом посадили Капралова. Его не били. Вел себя тихо, молчал. Только желваки по-прежнему перекатывались на скулах.

— Ну, дело сделано. Готовься, Викулов, медаль получать. Какого красавца сцапали, а? Атаман пальчики оближет! А? Давай пока перекурим.

Викулов вытянул шею, повращал глазами и, словно ему уже нацепили медаль, выпятил грудь:

— Рад стараться, вашескородь!

— Да не тянись ты, не тянись... Не место. Перед этими нечего показывать, как ты меня любишь-уважаешь. А я и так знаю. Давай мозговать, как нам «форд» с живым товаром в штаб доставить.

Веревку они нашли в автомобиле. Она оказалась совсем новенькой и такой длинной, что ее перерезали пополам.

— Эх, хомуты бы теперь! — пожалел казак. Нерешительно посмотрел на офицера.— В кровь ведь изотрут шеи.

— Ладно, ладно,— недовольно пробурчал тот.— И протрут, так заживет. Давай привязывай. Долго что-то мы с тобой возимся. Чего доброго — нагрянет кто...

Через несколько минут кони дружно рванули, стронули автомобиль с места, и он довольно легко пошел за ними, но потом его стало бросать то вправо, то влево.

— Стой! Стой! — закричал офицер солдату, который вел лошадей.— Иди сюда!

Солдат подошел. Офицер расстегнул кобуру, достал пистолет.

— Ну-ка развяжи его,— кивнул он головой на Капралова.— И чего это мы с тобой сразу не сообразили? Пусть он сам и крутит это чертово колесо. На то у него и краги и рукавицы...

Испуг, охвативший Лидку, когда казачий офицер достал пистолет, прошел: «Ага, значит, Капралова развяжут. Он будет править машиной... Он вам направит! Как же... держи! Держи карман шире!»

А развязанный Капралов, за спиной которого до сих пор сидела Лидка, размял руки и, ни слова не говоря, сел за руль.

«Чего это он? — удивилась Лидка.— Согласился? Я бы ни за что...»

Офицер зашел с другой стороны, сел рядом с шофером, приставил пистолет к его виску.

— Предупреждаю, без шуточек! Чуть что — и...— Он выразительно щелкнул языком.

Капралов понимающе кивнул головой. Лидка быстро и решительно меняла свое мнение о шофере: «Уж и соглашается... Уже и готов. Да я бы... Если бы у меня руки были развязаны...»

Что бы она сделала, она так и не успела придумать. Офицер махнул рукой. Казак потянул лошадей, и автомобиль тронулся. Теперь он шел ровно, не виляя, не кренился, как раньше, то влево, то вправо, сползая с колеи.

Лидка не видела, какое лицо сейчас было у офицера, доволен он был своей выдумкой или нет, потому что перед ней была только его спина в потемневшей от пота на лопатках гимнастерке.

Она видела лишь часть бледного, напряженного лица Капралова и черное дуло пистолета, танцующего у капраловского виска. Только руку протянуть — вырвать этот проклятый пистолет. Офицер ведь от неожиданности не удержит его. И тогда... Она инстинктивно дернула плечом... И чуть не застонала от боли, так крепко кисти рук перехвачены веревкой. Умеют белые гады вязать, ничего не скажешь...

И вдруг Лидке захотелось спать. Лошади дружно тянули «форд», шел он ловко, без тряски. И Лидка

наверно заснула бы, если бы не боль в перетянутых кистях. И если бы не розовое, то увеличивающееся в размерах, то вдруг съеживающееся пятно перед глазами. Своей загадочностью и неопределенностью оно не давало угаснуть мерцающему сознанию Лидки, почему-то тревожило, вызывало необъяснимое любопытство.

Наконец, когда на какой-то ухабине, скрытой в воде, машина здорово присела и Лидкина голова резко мотнулась вперед так, что подбородок достал до спинки переднего сиденья, стало видно — впереди чуть выше маячит ухо. Большое, розовое, с мясистой, дрожащей, как студень, мочкой. «Как у нашей Продиадихи,— подумала Лидка. — Но у Продиадихи понятно — мочка длинная от тяжелых золотых серег. А у этого-то откуда такая мочка? Может, его в детстве драли за уши? Так обычно тянут вверх, а не вниз».

Теперь Лидка не отрывала глаз от офицерского уха. Какое-то смутное желание зрело и росло в ней. Злое и решительное желание. И раньше, чем она сообразила, что делает и что за этим последовать может, при очередном толчке, когда ее голова снова мотнулась вперед, Лидка впилась острыми молодыми зубами в студенистую дрожащую мочку офицерского уха. И тотчас же, разжав зубы, отпрянула.

Выстрел и страшный нечеловеческий крик раздались одновременно. Испуганные кони дернулись, понеслись вскачь... и завелся мотор, с которым Капралов так долго и безуспешно возился! Все запрыгало, затряслось, загрохотало в «форде», и вот он уже ударил радиатором одну из лошадей.

Как-то получилось так, что Лидка теперь не видела, что происходило в автомобиле, глаза ее хватали только предметы вдалеке и впереди машины. Одним из этих предметов, улепетывающих от страшного места, где «форды» сами заводятся, был белый, переодетый красноармейцем казак Викулов. Он забыл даже притороченные к седлам карабины.

А на переднем сиденье секунды борьбы решили, кому из двоих жить. Жить остался Капралов. Офицер с простреленной грудью сполз с сиденья под ноги шоферу. Капралов стрелял из револьвера в убегающего казака. Но лошади продолжали мчать, автомобиль заносило и пули летели мимо.

— Эх! — Лидка с досады чуть не плакала. — Уйдет ведь, уйдет! — кричала она.

Положение было смешное и в то же время ужасно трудное. Нельзя было упустить белогвардейца, нельзя было выпустить руль, чтобы лошади не занесли в канаву, не перевернули машину, нельзя было выключать мотор, а то вдруг опять заглохнет. И в то же время надо было что-то делать с лошадьми. Они стали совершенно неуправляемыми. И Капралову ничего не оставалось, как пристрелить их. Колеса машины, наехав на рухнувшие трупы казачьих коней, остановились. Капралов дотянулся до своей трехлинейки, поднялся во весь рост, прицелился.

Лидка тоже вскочила на ноги. Казак казался уже недосягаемым для выстрела. Еще минута — и фигура его совсем растает в начинающих сгущаться сумерках. Но когда грянул выстрел, Лидка даже подпрыгнула от радости: фигурка споткнулась, взмахнула руками и слилась с землей.

Автомобиль мелко дрожал. Капралов провел ладонью по лицу, как будто отгоняя от себя наваждение, потом охлопал карманы и достал портсигар.

— Не отобрали, гады!

Папироска долго не загоралась.

Лидка в нетерпенье сучила ногами:

— Товарищ Капралов, развязывать-то кто будет?

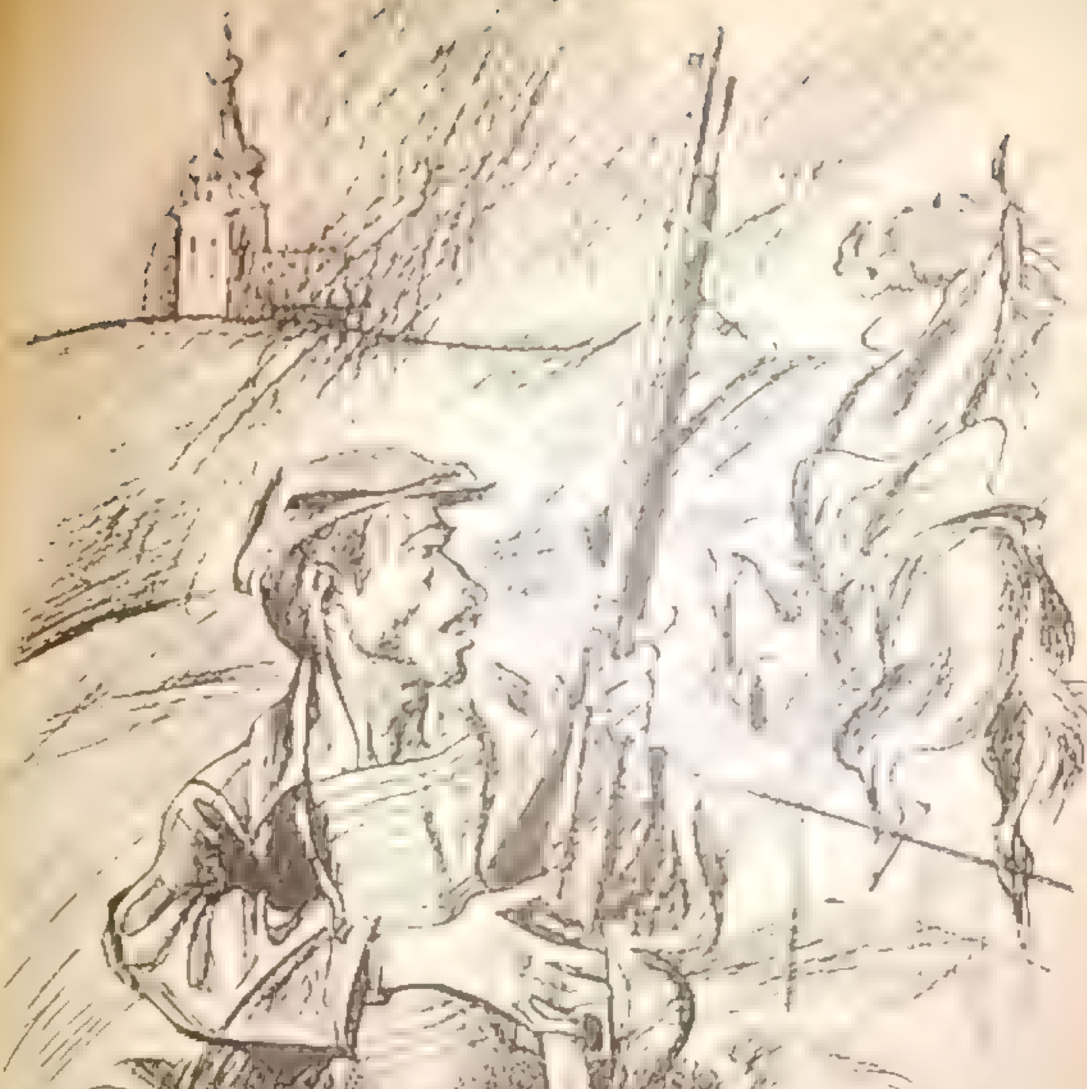
Капралов даже не посмотрел на нее. Затянулся дымом:

— И так хороша.

Потом нагнулся, взял убитого офицера под мышки, стараясь не запачкаться кровью, отстегнул его шашку, обыскал карманы и, открыв дверцу, пинком ноги сбросил труп на дорогу.

Губы Лидкины кривились. Она понимала: виновата, очень виновата. Так что же теперь делать? Неужели Капралов вот так, связанную по рукам, в таком позорном виде и привезет ее к своим? Тогда лучше не жить! Такого позора еще никто, наверное, не испытывал в Красной Армии.

Но как ни был сердит Капралов, а такой мысли в голове не держал. Чтобы не тратить время на развязывание, он перерезал шашкой кожаный шнур, которым стянуты были руки Лидки, и веревки, служившие постромками от лошадей к передней ра-



[illegible] «форда». Потом показал в сторону убитого казака:

— Дуй до того [illegible]. Обыщи как следует. Да шашку прихвати. Оружие никогда на поле не должно оставаться.

Когда Лидка вернулась, держа в руках казачью шашку, кисет с табаком, [illegible] книжку и какую-то серебряную [illegible], что нашла у Викулова,— автомобиль [illegible] стороне от лошадей. На бамперах [illegible] короткие обрывки обрубленных [illegible] лежали снятые с лошадей [illegible] и оба казачьих карабина.

Капралов [illegible] книжку Викулова, поглядел на [illegible] гимнастерки и скривился:

— Вот за такой [illegible], какой чуть с нами не получил[illegible]...

— Мне куда? [illegible], счищая прутиком грязь с сапог.

— Тебя бы, товарищ [illegible], никуда... Навела дружков... Голыми руками [illegible]...

— Так я ведь и... [illegible] было Лидка.

— Я ведь и...— не дал ей договорить Капралов,— выручила, хочешь сказать... Не следи я за тобой вот в это зеркальце, крышка бы мне была. Дуло-то все время он мне в висок упирал. Не толкни я его под локоть, когда ты его кусала, он мне бы котелок обязательно продырявил.

Лидка стояла перед Капраловым, наклонив голову, и по грязным щекам ее скользили чистые прозрачные слезинки. И шофер наконец понял — хватит отчитывать девчонку. Вон как переживает! И он, втянув ее за руку на переднее сиденье, сказал, заканчивая разговор, уже совсем другим голосом.

— Ладно, товарищ помощник, что было... Никто нас в плен не брал, никто нам никаких рук не связывал. Была маленькая перестрелка: двоих мы уложили. Вот их винтовки, вот документы. И все...

Как же быстро могут просыхать слезы! Это значит, никому не надо рассказывать о стыде своем и позоре! Раз дяденька Капралов берется молчать, что же она, Лидка, дура что ли, себя поносить да признаваться, как ее беляки обвели вокруг пальца? Хватит с нее

шофера. Она подняла заблестевшие глаза на Капралова и несмело улыбнулась.

Повеселел и шофер:

— Только держи, товарищ помощник, язык за зубами. Пусть наша тайна тайной двух будет. Согласна?

Лидка мотнула головой. Странно устроен человек. О чем она сейчас думала? Спроси ее об этом Капралов — ни за что не призналась бы. А думала она вот о чем: доверит он ей после всего руль или прощай мечта насовсем?

ЛИДКА, НЕ ЗАЗНАВАТЬСЯ!

Если говорить по правде, то после той, последней похвалы комиссара немножко закружилась голова у Лидки, да и взрослые бойцы виноваты в этом. Больше прежнего стали баловать свою любимицу. Где ни появится, все внимание ей. А зазнайство, оно ведь, как известно, добром не кончается. Пришла как-то раз к разведчикам молодая симпатичная женщина из политотдела дивизии. В кожаной тужурке, простоволосая, востроглазая. Собрала вокруг себя молодежь:

— Кто хочет, ребята, в самодеятельность записаться?

Лидка впервые услышала слово — самодеятельность. Тем не менее, когда записали Лешку Самарцева, Изю Шапиро и ровесника Лидки — Ваню Романова, Лидка не удержалась:

— Я тоже хочу.

Женщина записала. Теперь надо было ждать, что будет дальше. А дальше получилось вот что... Женщина (сначала ребята называли ее просто товарищ Позднякова, а потом просто Соня) собрала всех записавшихся в кружок и сказала:

— Будем организовывать свой красноармейский театр. А пьесы о борьбе белых и красных сочиним сами. Кое-какие наметки у меня есть. А вы добавите. Ну, кто из вас может быть драматургом?

Опять незнакомое слово. Но приятно уже хоть то, что и Ваня Романов его не знает. Стоит в растерянности.

Любопытный этот Ваня. Ростом почти такой же, как Лидка. Самый маленький среди чапаевцев. Личико

[illegible] детское, вихры длинные белые — девчоночьи. Губы всегда как со сна, припухшие. Голосок тоненький. Но важности и Ване на двоих. И в жару ходит в двубортной, перешитой на него офицерской шинели, в английских больших ботинках на толстой подошве. Никогда не расстается Романов с фуражкой. Она у него высокая, с зеленым околышем, с маленьким острым козырьком. Фуражку перешивать было некогда да и некому. И она постоянно сползала ему на глаза.

Ваня грамотный. Он [illegible] в школе учился. А тоже вот не знает, что [illegible] драматург. И Афонька Гвоздь стоит в стороне, независимо оттопырив губу и покачиваясь на носках [illegible] хромовых сапог, по всему видно — тоже озадачен. Хоть и не записался в кружок, а интересно. [illegible] Только Изя да Леня [illegible] и то повели себя по-разному.

Леня пригладил свой огненный чуб, одернул и без того [illegible] и стеснительно ответил:

— Я, Соня, не гожусь. Учен мало. Тут ведь голова какая нужна! [illegible] мой генерал. Вот Изьке это дело в самый раз.

Опять загадка. Шекспир какой-то...

Зато Изя так и загорелся:

— Хорошо, товарищ Позднякова! Очень хорошо! Знаете, какую мы пьесу сочиним... После нее хоть в бой! Согласен!

«Драматурги» долго сочиняли пьесу, целых три дня. Лидка чуть не лопалась от нетерпения. Приставала к Изе:

— Ну что вы там придумали? Поди страшное что-нибудь?

Он уходил от прямого ответа:

— Закончим — узнаешь. Все узнаете.

Наконец Соня, оживленная и веселая, велела собрать всех, кто записался в самодеятельность.

Пьесу, которую предстояло ставить на сцене перед красноармейцами, Соня и Изя читали по очереди. Один листочек — она, другой — он. Получался складный живой разговор. Да и не только разговор. Люди в этой пьесе очень были похожи на тех, которых Лидка встречала в жизни. Они ходили, ругались, плакали, собирались вместе, песни пели. И самое главное — воевали.

...В степное село приходит Советская власть. Богачи недовольны. Им жалко царя. Они посылают своего гонца за белыми офицерами. Офицеры приезжают в село ночью и арестовывают всех, кто устанавливал Советы, и в первую очередь председателя, бывшего матроса с Черного моря. Всех их, связанных веревками, запирают в амбаре. А наутро должны расстрелять. Но дочь самого главного богатея влюбилась в матроса. Она во время пирушки вытаскивает из кармана пьяного офицера ключи, пробирается к амбару и хочет освободить моряка. Но моряк гордо отвечает ей: «Не могу я бросить товарищей. Пойди и подними всех мужиков. Если поднимешь и придут они освобождать да побьют офицеров, значит, недаром мы боролись, и я женюсь на тебе. Если дома будут сидеть, струсят — пусть меня вешают. Увидят трусы, как умирают храбрые большевики!»

Будто в новом свете предстали перед Лидкой и Соня из политотдела, и Изя Шапиро. Вот они какие, оказывается! Такую за сердце берущую историю сочинили! Да ведь если ее в самом деле представить в лицах, так и слез не оберешься и прямо в бой можно. Такая у людей злость на богачей и беляков появится.

— Ну как, ребята? Может, у кого предложения будут? Или вопросы есть? — У Сони блестели глаза. Видимо, она и сама не верила, что так все здорово получилось. Изя тоже возбужденно хрустел длинными пальцами.

Насмешливый Лешка Самарцев, конечно, сразу же обнаружил изъян.

— А зачем же матросу время терять? Раз его развязывают, значит, он, мой генерал, остальных сам освободит. Быстренько и без всякого шума беляков бы накрыли после этого.

Афонька тоже тут как тут высовывает свой ехидный язык:

— А как же можно стол-то накрытый зазря оставлять? Перехватали беляков, ну и садись за стол! Не пропадать же добру... Почему этого нет? Если впишете да жареная настоящая картошка будет, я запишусь к вам.

Рассердившаяся не на шутку Соня сказала, что, наверное, у товарища Гвоздя слишком низкое сознание,

если он все время только и думает о еде. Ребята засмеялись. А Лешка подтвердил:

— Это для него первое дело. Пока курицу или пирог с горохом не доест, за винтовку не возьмется.

После читки и обсуждения пьесы началось распределение ролей. Единственная во всей пьесе женская роль досталась Насте Вальцевой, которую привел из санчасти Изя. Она охотно согласилась участвовать в спектакле. Сказала, что и у себя в Иваново-Вознесенске, на фабрике, она играла разные роли. Лене достался матрос. Роль деревенского мальчика, который бегал, носил записки от комиссара к богатеевой дочке и обратно,— Ване Романову. Изя взял на себя роль первого дружка матроса, который поддерживает его во всех делах.

А когда очередь дошла до Лидки, то остались всего две роли: палача, который пытает красных, и белого часового у амбара. Лидку обидела такая несправедливость до слез. Она обиделась на всех. На пугачевцев — Ваню Романова и Петьку М[illegible], на своих разинцев — Лешу Самарцева и Изю Шапиро, на Настю и даже на писаря Гончарова, который согласился играть белого солдата, переметнувшегося на сторону красных после того, как прочитал советскую листовку.

Соня долго раздумывала, куда пристроить Лидку.

— Бегло читать умеешь, Лида?

— Как это — бегло?

— А вот так...

И Изя быстро-быстро и непнятно, себе под нос, стал читать пьесу.

Лидка потупилась: так она читать еще не умеет.

Соня сказала:

— Жаль. У нас суфлера нет. Ну, тогда вместе с Сашей Вершковым будете по моему сигналу занавес открывать и закрывать. Идет?

Это походило на оскорбление, и Лидка не выдержала:

— Нет уж! Закрывайте сами. Ишь какие умные — разобрали себе все добро, а мне занавес закрыть...—

И она, гордо вскинув голову, удалилась. Ничего, проживет и без них, без артистов!..

Но независимости и гордости хватило только на то, чтобы скрыться с глаз товарищей. Увидела, что никого нет кругом, никто на нее не смотрит, и заплакала обидными и злыми слезами. Если бы не сигнал к походу,

Долго бы еще Лидка ходила насупленная и неразговорчивая.

Через два дня снова остановка в большой русской деревне. Переход был спокойным. Где-то в авангарде постреляли, отогнали беляков, а потом до привала шли без всяких помех.

После того как разместились по избам и пообедали, Лидку кликнули к Щербакову. Командир разведки сидел за дощатым, чисто выскобленным столом и с наслаждением пил кислый квас из запотевшего, только что из погреба, кувшина.

— Хочешь?

Лидка отрицательно мотнула головой.

— Ну-ка расскажи-ка, Лидия Григорьевна, какие у тебя такие неприятности приключились? Говорят, обидели? А?

И тут прорвало Лидку. Все рассказала, все выложила командиру. Уж кто-кто, а он-то поймет ее. Ей, заслуженной чапаевке, которая и пакеты, когда с белочехами дрались, носила, и в разведке была, и белых агитировала, занавеску предложили задергивать. А всем остальным — почет. Лешке — матроса. Насте — его невесту. Петьке Мозлову, который позднее Лидки записался,— и то хорошую роль дали: трубача-горниста. Даже Ваня Романов связного будет играть. А ей, которая столько для революции сделала...

Хорошо, что в злости своей, выкладывая все это, Лидка уткнулась глазами в белую скобленую доску стола, а то бы осеклась наверное. Щербаков смеялся всем своим широким рябоватым, на всю жизнь прокопченным лицом. Но смеялся беззвучно. И как только Лидка, окончив свою злую исповедь, подняла на него вопрошающие и ожидающие сочувствия глаза, лицо командира вдруг сделалось строгим и даже жестоким.

— Ежели бы у меня были отцовские права, зажал бы я тебе сейчас голову меж колен, снял бы твои шикарные галифе да добрым ремешком разов так двадцать отпустил бы...

Поворот дела был настолько неожиданным, что Лидка даже испугалась, втянула голову в плечи, как будто и в самом деле командир должен был исполнить угрозу.

— Откуда в тебе столько зазнайства, девка? Отец,

братья — народ скромный. В пролетарской семье росла. А спеси — как у дворянской дочки. Ты что же это, лучше всех себя считаешь, заслуженнее всех? Мозлов да Романов тебе дорогу перебежали... Эх ты! А чем они хуже тебя? Спроси командира Пугачевского полка, на каком счету у него ребята? Он тебе скажет, что дороже золота их ценит. Они с полком с первого дня, как он образовался. Детство свое в деревне под Николаевском оставили, пороху понюхали и крови побольше твоего повидали... Лучшие разведчики у пугачевцев. А Петька Мозлов, так тот у самого казачьего полковника Горшкова полевую сумку с секретными документами из-под носа утянул. Ваня Романов «языка» привел. А вон погодки Комлевы, чуть старше тебя, командира раненого через Самарку плавом перетащили.

Собственно, Лидка могла бы и не приходить по вызову Щербакова. Она уже не в его подчинении. Она при штабе. И если захочет, то может и не возвращаться в команду разведчиков. Но эта мысль, не успев родиться, погасла. Никуда Лидке от разведчиков не деться. Как только выздоровеет, придет вот к этому же сердитому рябоватому командиру и скажет: «Возьмите обратно, товарищ командир!»

И он, конечно, возьмет ее, потому что хоть и ругает, а злости в его голосе нет. И от этого Лидке вдвойне стыдно. Так же стыдно, как и в тот памятный вечер у военных моряков, когда Артем и Ганс Гансович рассказывали ей о Ленине и его волшебном аппарате. Сейчас-то Лидка умнее. Расспрашивала многих людей, в самом ли деле есть такой аппарат у Ленина? Из того, что люди в ответ смеялись, Лидка поняла: шутили моряки. Но заставить ее сейчас гильзу стреляную оставить на поле боя — пули будут кругом свистеть, а она все равно поползет, отыщет.

Никогда она не знала за собой такого греха — зазнайства. А оказывается, есть он за ней и людям в глаза бросается.

— Я тебе вот что, боец Лагунова, советую. Сейчас у тебя и основания нет, а если и появится, никогда не заносись, локтем никого не отталкивай, уважай людей и считайся с ними. Я тебе самую малость о ребятах из Пугачевского полка рассказал. Жизнь у многих хоть только и началась, а иной взрослый позавидует. Да и

тех-то, наверное, с кем дружбу водишь,— Шапиро и Самарцева, плохо знаешь. Все сама собой любуешься.

При первой же встрече с Ваней Романовым Лидка стала расспрашивать его о Петьке Мозлове. Ваня, чуть заикаясь, встряхивал длинными девичьими волосами и восторженно частил:

— Петька? Он настоящий герой! Знаешь, как он в Балашах всех своих выручил?

Лидка не знала.

Оказывается, был такой случай еще в первом походе чапаевцев на Уральск. Казаки под прикрытием стада коров, возвращавшихся домой, ворвались в село Балаши, где стоял Пугачевский полк, и захватили почти всю артиллерию и пулеметы красных. Петька вместе с другими ребятами, сбросив гимнастерки и защитные брюки, в одном исподнем, чтобы сбить белых с толку, огородами пробрались к пулеметным позициям и начали там свалку. Растерявшиеся беляки опешили: среди них бегали, метались, дрались, визжали дикими голосами какие-то чертенята в белом. А когда батарейцы и пулеметчики окружили «драчунов», ребята достали из-под рубах гранаты и пистолеты. Казачья пулеметная команда была почти полностью уничтожена.

А на следующий день случилось то, что вошло в историю дивизии под названием михайловской свалки. В хуторе Михайловском стоял совсем небольшой отряд чапаевцев — меньше батальона. Казакам казалось, что смять его не составляло никакого труда. Может, и смяли бы, если бы не Ваня Романов.

Об этом Лидке рассказал Петька Мозлов.

— Ты не смотри, что Ванька мал. Мал, да удал... Кто комбату подсказал насчет борон? Ванька Романов. «Давайте,— говорит,— товарищ командир, железные бороны соберем со всего хутора и кверху зубьями на дороги положим. Казара ночью поскачет и напорется. Я в одной книжке,— говорит,— вычитал, так крестьяне псов-рыцарей осаживали».

Петька подробно расписал, как ребята по приказанию командира таскали на дороги бороны, засыпали их пылью и травой, чтобы незаметно было. Окружали себя такой невидимой оградой на всякий случай, для опыта. Командир посмеивался — хоть и отдал приказ, а не верил в то, что из этого что-нибудь толковое может получиться. А наутро, когда отступавшие казаки

хлынули на Михайловское из Балашей, пошла потеха. Казачьи кони на всем скаку напарывались на острые зубья борон и, обезумев, опрокидывались на спины, ломали ноги, давили своих всадников. И не столько от пуль погибло тогда белопогонной казары, сколько от выдумки Ванюшки Романова.

Лидка не утерпела и о подробностях спросила у самого Вани. Но он рассказал ей совсем не героический эпизод:

— Тогда меня чуть казак не зарубил. Я даже растерялся. Думал, все, конец. Когда стрелять начали, выскочил из избы босой, в нижней рубахе. Про винтовку забыл. А тут казак во двор влетает, шашкой над головой крутит, зубы оскалил — прямо на меня. А посредине двора телега стоит. Я вокруг телеги, он за мной. Я под телегу, казак спешиваться стал, достать меня шашкой хочет. Только не пришлось ему. Какой-то боец ему пулю прямо в лоб из карабина. А конь мне достался. Ох и справный конь, Лидка!

Да разве только Петька Мозлов с Ваней Романовым удивили Лидку своей боевой биографией?! А Колька Тиранов, а Степка Рогачев, а Ванька Жикин...

Им ведь тоже по четырнадцать-пятнадцать, совсем Лидкины ровесники. Дел же боевых, славных за плечами их — ого сколько! Она по сравнению с ними просто кутенок. Правильно ее Щербаков словами высек. Даже если бы ремнем — и то нельзя бы было обижаться. Не лезь вперед, не гордись, не зазнавайся! Присматривайся к товарищам. Узнай их. Может, они в десять раз достойнее тебя и прав больше имеют.

И чем больше думала об этом Лидка, тем яснее становилось, что Щербаков прав.

Репетиции шли полным ходом, когда Лагунова пришла к Соне и сказала ей громко при всех участниках самодеятельности:

— Товарищ Позднякова, я согласна закрывать занавеску. И белого часового тоже буду играть. Только потом объясните, что я не настоящий белый, а временный...

Но все роли были уже распределены. Белый часовой тоже подготовлен. Тем более что это нетрудно было делать. Он за весь спектакль должен произнести всего три слова: «Слушаюсь!» и «Куда прикажете?»

Лидке остался занавес.

ДЕНЬ КРАСНОЙ ПОМОЩИ

Погода установилась. Противный запах гнилых камышей с озер сменился запахом молодых, набирающих силу побегов. Начались лягушачьи концерты. Солнце быстро сушило землю. Теперь она ждала зерна. А пахарей и сеятелей не хватало. Они воевали. Не хватало и лошадей. Они тоже больше ходили под седлом, чем в пахотных упряжках. Пожилые чапаевцы, растирая в жестких пальцах чуть влажный чернозем, сокрушенно качали головами:

— Самый раз. Переспеет — потом пиши пропало.

— Почему пропало?— удивилась Лидка, которая радовалась солнцу и молодой зеленой траве, вылезавшей из земли прямо на глазах.

— Потому,— объяснили ей, — что хороша ложка к обеду. Это тебе понятно?

Это было понятно, а насчет земли все равно что-то оставалось неясным. Впрочем, об этом Лидка не очень и задумывалась. Занятия по обучению грамоте продолжались. Капралов по-прежнему брал ее с собой, может, не придав значения тому, что произошло у них под Кануевкой, а может, задабривал Лидку — как бы не проболталась.

А тут приближалось представление. Товарищ Позднякова предупредила — как только остановятся где на два-три дня да будет подходящая сцена и зал для народа, сразу и состоится. Так что скучать было некогда.

О том, как много значит для людей Красная Армия, задумалась Лидка, только когда в полдень вошли и разместились в деревне Гореловке.

Разбирали крестьяне красноармейцев на постой из походной колонны. Прямо за рукава гимнастерки, за хлястики шинелей цеплялись.

— Нельзя. Еще команды не было,— нехотя отбивались красноармейцы, не скрывая, что очень довольны таким гостеприимством. Значит, слава о чапаевцах впереди дивизии на много верст летит. Значит, ждут не дождутся мужики красного войска. Знают — не обидят, не обманут, не ограбят чапаевцы. А самое главное — землю объявят народной.

Кое-кому и скотина перепадет, плуги, бороны и даже молотилки.

Когда наконец остановились по команде на Соборной площади большого, в три улицы, села и стали распределять бойцов на ночлег по отделениям и взводам, Лидка, соскочив с артиллерийской фуры, пошла искать Настю.

Они опять были все вместе: Настя, Изя, Леша Самарцев. Только еще прибавились к ним Петька Мозлов и Ваня Романов. Это, оказывается, товарищ Позднякова так велела: держаться друг за друга, если нет боевой обстановки, и селиться рядом, чтобы на случай репетиции не терять времени на сборы.

Настя стояла у ворот ветхой покосившейся избенки и разговаривала с пожилой женщиной, до самых глаз надвинувшей на лоб черный платок. Санитарка первой заметила подружку.

— Иди-ка сюда, Лида.

Лида подошла.

— Вот, хозяйка к себе приглашает двух человек. Мужчин, говорит, не надо, а женщин берет. Пойдем?

Вздохнула про себя Лидка. Вспомнила, в каком сытом и добротном доме поселили ее на последней стоянке, какие блины подавали на стол, какой рыбный пирог довелось ей попробовать. А тут что? Даже скотина во дворе не мычит и кур не видно. Одна картошка, поди?

Вздохнула и согласилась. Во-первых, Настя просит. Во-вторых, один раз картошку можно. Война не для жиру. Да и потом так эта хозяйка смотрит — словно, если откажешь, до смерти обидишь.

Самые худшие опасения Лидки оправдались. Не было у тетки Серафимы ни коровы, ни телки, ни лошади. Две курицы, да петух, да кошка — вот и вся живность в хозяйстве. Да семейство скворцов в скворечнике над пустым сараем.

Но хоть и бедно было в доме Серафимы, а чисто и опрятно. На окнах бумажные, под кружева, занавески. На полу самотканые половички. Лавки и стол добела выскоблены. И накормила хозяйка вполне прилично. Кринку молока парного принесла от соседки. Картошки на гусином сале нажарила. Яиц, сваренных вкрутую, деревянную тарелку выставила.

А сама не ела, сидела, подперев щеку кулаком, смотрела на гостей и молчала. Только когда Лидка отодвинула от себя тарелку с двумя оставшимися от обеда яичками, сказала:

— Вечером я вас чайком с медком угощу. А теперь отдыхайте, доченьки. Набили ноги-то в дороге...

Лидка уже привыкла к тому, что все ее на постоях жалели, все ахали и удивлялись, а порой и поругивали отца с матерью за то, что такую махонькую на войну отпустили. Ждала она этого привычного разговора и сейчас. Но тетка Серафима постелила им — одной на лавке, другой на деревянной кровати за ситцевой занавеской — и ушла куда-то.

Хорошо вытянуться после сытного ужина, подремать. Настя так и сделала. А Лидке не лежалось. Ну что это за порядки? Солнце еще высоко. Ребята деревенские еще, наверное, в бабки играют, в лапту. Со стороны бы хоть посмотреть...

Вышла Лидка во двор. Пусто. А ведь было, наверное, и здесь когда-то шумно и весело. Слева конюшня, справа, похоже, хлев. Двери с петель сорваны. Под навесом жиденькая поленница. Борона с деревянными зубьями прислонена к стене сарайчика, телега без колес... Словно разрушительный вихрь пронесся по двору и разорил небогатое, но ладное крестьянское хозяйство.

Задние ворота были распахнуты, и Лидка прошла через них в огород. Хозяйка копала землю. Лидка подошла поближе. Тетка Серафима тяжело дышала. Ее желтое скуластое лицо было в поту, и она слизывала языком крупные капли, падающие со лба на губы. А лопата входила в землю совсем неглубоко. Видно, сил у женщины было мало.

— Тетенька, отдохните, дайте я.

Хозяйка оглянулась, потрясла головой.

— Да куда тебе? Сама вон какая махонькая. Я уж как-нибудь покопаю. Другие-то уже посадили картоху. А я все никак. Сердце одолело.

Лидка все-таки выпросила лопату. Но и сама скоро упарилась.

Потом они обе сидели на лавке у жиденького хворостяного, с отвалившейся обмазкой плетня, и Лидка все допытывалась, куда корова девалась, почему лошади нет, кто еще в доме живет.

Тетка Серафима ответила глухим, безжизненным голосом. Голосом человека, уже привыкшего к своей беде:

— Мужик-то мой и сын с красными ушли. Сына,

Ванятку, убили. А Петра Федотовича вроде в плену у белых видели. Как чехи-то наехали, обыск в доме был. Тут волостной староста Кузька Непряднов командовал. Найти-то ничего не нашли, а корову со двора увели, поросенка и двух овечек закололи. А колчаки пришли — лошадь с собой забрали и зерно посевное дочиста выгребли. Оставили мне вот двух куриц да петуха!

Ветер шевелил распахнутое полотнище ворот, и оно тихо и монотонно поскрипывало, точно повторяя печальный рассказ одинокой стареющей женщины, на которую обрушилось столько бед.

— Я и ворота не запираю: и захочет кто, да ничего не вынесет.

Лидка чувствовала, как у нее пощипывает веки. Вот уж совсем ни к чему будет, если она сейчас разревется. Тоже красноармеец, да еще чапаевец называется! Поддержать надо хозяйку, ободрить, чтобы знала, кто у нее на постое, что все могут чапаевцы, когда захотят. Лидка сейчас очень хотела чем-нибудь помочь тетке Серафиме. А вот чем? Ну, разбудит она, допустим, Настю, ну достанут они еще одну лопату... Много ли они с непривычки вдвоем накопают? Огород-то все-таки не маленький. А ведь где-то есть у тетки Серафимы еще и поле, на котором хлеб сеяли. Вот если бы лошадь...

Это была уже идея. А идеи у Лидки всегда требовали немедленного осуществления. Так уж она устроена: если чем загорелась — не удержать. Бросив тетке Серафиме какие-то невнятные слова о том, что чего-то забыла в доме, кинулась Лидка во двор, вскочила на крыльцо — и к Насте:

— Вставай, соня! Дело есть!

Вяльцева думала, что ее вызывают в санчасть или в штаб, быстро оделась, сполоснула лицо и поинтересовалась только:

— Кто вызывал-то?

Лидка выпалила:

— Лошадь надо добыть!

Настя часто заморгала:

— Ну а я тебе-то зачем? Из-за лошади будила меня? — и повернула назад, в избу.

Да не тут-то было. Ухватила ее Лидка за руку и потащила к воротам.

— Пойдем к Изе, к Лешке. Тетке Серафиме помочь надо!

Дело понемногу прояснилось, и Настя уже не сопротивлялась.

— Во, мой генерал, золотой ребенок! Душа — края нет,— затеребил свой золотой чуб Самарцев, выслушав Лидку.— Пролетарская солидарность с беднейшим крестьянством! Правильно я выражаюсь? — Лешка скосил глаза на Изю Шапиро и тут же подмигнул Насте с Лидкой.

— Ладно, Лешка, брось ты свои подходы,— отмахнулся от него Изя.— Девчонки-то с делом пришли. А у нашей хозяйки что, лучше? Только разве корову не отобрали, а лошадь тоже увели... А я предлагаю — к комиссару. Или у наших обозников лошадей попросим или у здешних богатеев возьмем и вспашем.

Лешка еще яростнее затеребил свой чуб.

— А что, мой генерал, я, например, готов. И ради тетки Серафимы, и ради тетки Марьи. Веди, мой генерал. Только пусть покажут, как держать ручки сохи или плуга.

Фурманов выслушал нежданных гостей, ввалившихся всей ватагой в его жилище, и даже руками развел:

— Ну проницатели, ну оракулы! Да откуда же вы такие взялись? Ведь мы сейчас всем политотделом заседали, решали, как лучше провести завтра день красной помощи. Тут больше половины хозяйств колчаковцами разорено. Так что с утра все на поля, на вдовьи огороды.

Лидка просияла:

— Ой как здорово, товарищ комиссар! Просто очень здорово!

Но радость ее тут же сменилась растерянностью.

— А как же быть, если сеять нечем? Если все зерно отобрали?

— И о зерне подумали, товарищ Лагунова. Отобрали, да не у всех. Кое-кому, наоборот, прибавили. Вот этих, которые с прибылью, и заставим поделиться. А не захотят — сами поделим.

— А еще у моей хозяйки один гад корову увел...

— Все, Лидия Григорьевна, дискуссия на эту тему окончена. Завтра соберем сход жителей. У кого что не по праву отобрано, то и будет возвращено. На то мы и Советскую власть восстанавливаем. А теперь по домам. Предлагаю выспаться — завтра горячий денек у нас.

Договорились с Настей ничего не говорить тетке

Серафиме — пусть нечаянная радость придет к ней, когда увидит вспаханное поле и огород. Да только ведь как узнаешь, если не покажет хозяйка, какое поле ее? А если чужое разделаешь — может, его хозяин самый что ни на есть колчаковский помощник...

Вернувшись домой, пошла Лидка на хитрость.

— Эх, тетя Серафима, васильков бы сейчас нарвать.

Хозяйка, ставившая чугун с картошкой в печь, отозвалась довольно равнодушно:

— Да рано, рано для васильков-то. Вот рожь зацветет, и они засинеют.

Вот так попала Лидка в лужу! Но надо выкручиваться.

— А какие цветы сейчас на пашнях незасеянных цветут?

— Ну какие... Саранки. Где пониже да поводянее будет.

— А у вас поводянее?— с надеждой допытывалась Лидка.

— Поводянее.

— Ну вот и хорошо! Вот и пойдемте на ваше поле и нарвем саранок.

Настя сидела на лавке, расчесывала деревянным гребнем свои удивительные волосы и только ресницами пушистыми взмахивала, удивляясь настырности маленькой подружки: вот сейчас так заврется, что со стыда сгоришь.

А ничего, никто не сгорел. И все по-Лидкиному получилось. Повела-таки ее тетка Серафима на свое поле, не так уж оно и далеко оказалось. Нарвали там Лидка с Настей саранок и еще каких-то голубеньких цветочков с белыми тычинками посреди мелких чашечек. Настя нашла пустой глиняный кувшинчик, залила его водой и опустила букет в узкое горлышко. И сразу стало веселее и наряднее в пустоватой горнице. И хозяйка, ложась спать, перекрестила своих постоялок:

— Спаси вас бог, дочки. От лихого глазу, от пули супостатской, от плохого мужа. Одна-то с тоски чуть умом не тронулась. Беда да беда, горе да горе. А с вами чуток отошла, сердцем отмякла. Остались бы вы у меня. Войну-то уж, небось, и без вас бы закончили... Вон какая сила у Чапая!

Взвилась было Лидка. И по части бога хотела тетке Серафиме бой дать, и насчет того, что без нее с Настей

можно беляков одолеть. Да так посмотрела на нее Настя, что сразу язык прикусила.

А утром был смех и грех. Одно дело запрягать. Этому обучились все. У Лидки, пожалуй, лучше других получалось. Все-таки напрактиковалась на кухонной коняге Налейвощика.

В соху впрягли строевого коня, взятого по распоряжению комиссара из суровской конницы. Впрягли быстро и дружно. А вот дальше дело не пошло. Привыкший ходить под седлом гордый жеребец никак не хотел в борозду, и Леша, первым взявшийся за ручки сохи, очень быстро выдохся. Не борозда у него получалась, а смешной зигзаг, где-то лемех глубоко вонзался в землю и надолго застревал там, а где-то чуть не гладил успевшую зарасти сорняком стерню.

Попробовал Изя. И у него ничего не вышло. Сунулась было Лидка — от нее просто отмахнулись.

А ведь решение-то, выход из положения опять нашла она. Побежала в обоз, отыскала хохла Налейвощика и непонятно чем улестила, задобрила его — привела на Серафимино поле.

Поглядел повар, как мучаются ребята, усмехнулся в длинные висячие усы, взъерошил и без того всегда лохматую черную кудрявую копну:

— Хиба ж це можно? А ну, хлопци, зуспокойтесь та не мучайте коня, хай на травци гуляе.

— А как же тогда, мой генерал? — растерялся Леша Самарцев.— Все вспашут, посеют. А эта бедная тетка Серафима опять голодать будет?

Налейвощик поскреб плохо выбритый подбородок, пошлепал толстыми губами и, ничего не сказав, просто ткнул рыжим волосатым пальцем поочередно в грудь Изи и Лешки. А сам повернулся и пошел с поля. Шапиро с Самарцевым непонимающе переглянулись, но послушно двинулись за ним.

— Лагунова, отведи коня суровцам! — крикнул через плечо Шапиро.— Не годится он тут.

«Отведи... Как бы не так!» Это было одно удовольствие — прогарцевать на буланом стройном жеребце почти вдоль всего села. Даже о мечте своей подержаться за руль «форда» в эти минуты забыла.

В общем-то времени у нее на то, чтобы передать коня и вернуться назад, ушло бы и не так уж много. Да разве все предусмотришь? На обратном пути пришлось всту-

пить в стычку с сельскими мальчишками. Тоже забава... Нашли где-то галку с перебитым крылом и потешаются. Подбросят вверх и расстреливают на лету камнями. Лидка терпеть не могла, когда на ее глазах мучили птиц или животных.

— А ну отдай! — приступила она к мальчишке с зелеными разбойничьими глазами. Он как раз собирался подбросить птицу в воздух. Зеленоглазый смерил ее оценивающим [illegible] взглядом. Но на всякий случай отступил на несколько шагов.

— А тебе чего надо?

— Дай сюда! — не вступая в объяснения, потребовала Лидка и протянула руку.

— Ишь, [illegible] хитренькая. А если мы тебе по шее?

Этого Лидка [illegible] не могла. Вынула свой браунинг.

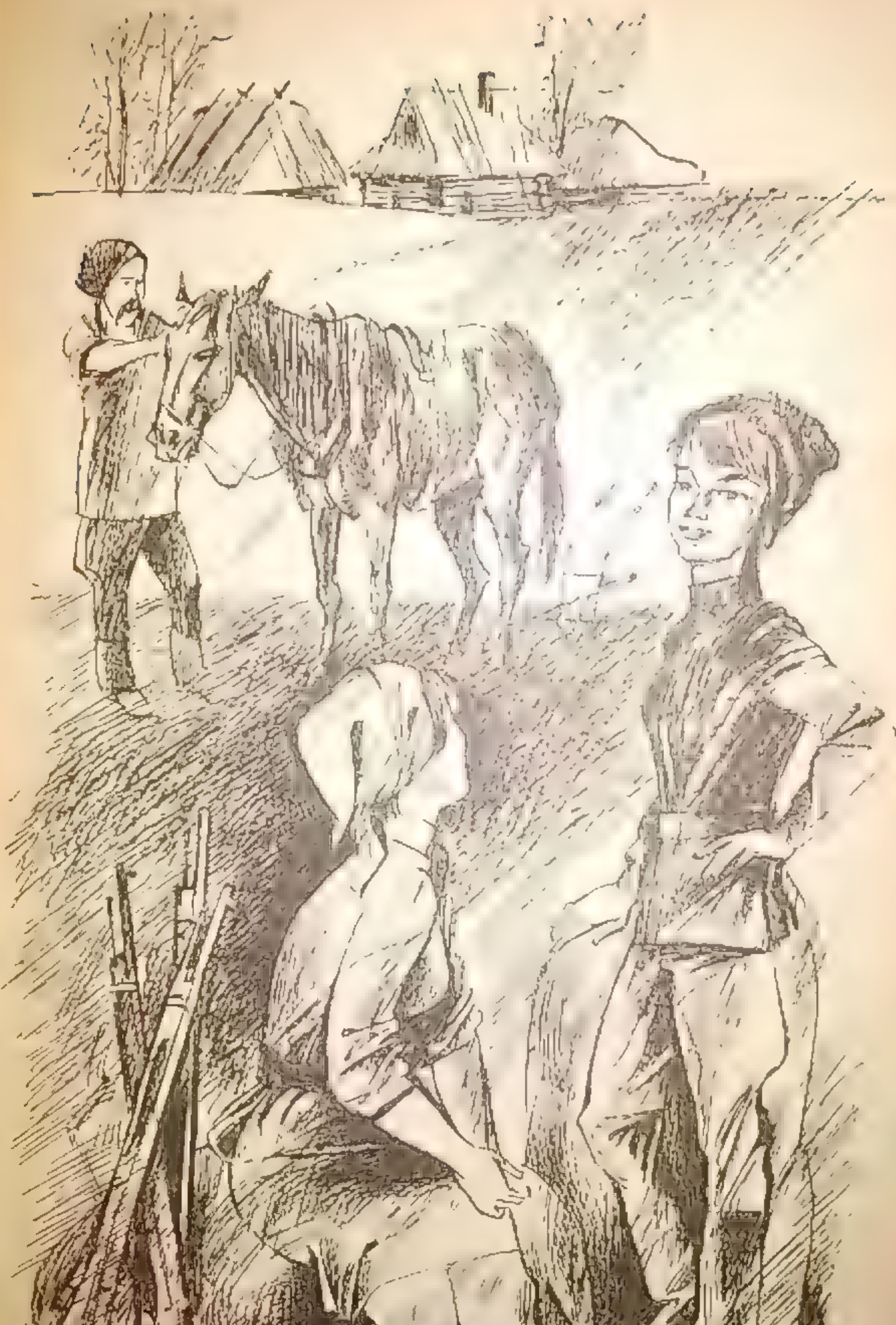
— Кого? Меня по шее?

Ух ты! Только пятки засверкали у мальчишек. Про все на свете забыли. И галку бросили. Валялась она на дороге и вяло шевелила целым крылом. Это хорошо, что уж не такими меткими стрелками оказались мальчишки. Ни один не попал в нее на лету. А то бы и крылом сейчас не шевелила.

Подобрала Лидка птицу, зажала ее теплое трепещущее тельце в ладонях и побежала к своим на Серафимино поле. Может, и не надо было так спешить. Но толкало ее так стремительно вперед одно: там же на пашне черви! Хоть и криво, коряво прокладывал Лешка борозду, а видела она, как обрадованно слетались на нее черные громадные грачи и выклевывали из влажных комьев чернозема жирных красных червей. Вот и галка увидит их, поклюет и сразу выздоровеет. И крыло поломанное зарастет. А не зарастет, Настя поможет. Слышала от кого-то Лидка, что и раненых птиц бинтуют.

Прибежала Лидка на поле и глазами захлопала. Пегушка! Знакомая медлительная водовозная Пегушка с полковой кухни разинцев тащила плуг, за ручки которого держался дядя Гера Налейвощик. Перевернутая соха валялась на меже. Поблескивая железными зубьями, прислонилась к ней борона. И совсем не та, что видела Лидка во дворе тетки Серафимы.

Тут же рядом стояли два мешка с зерном, лежало лукошко и дяди Герины сапоги. За плугом он шел босой.



Никогда Лидка не видела на лице повара такой счастливой улыбки. Маленькие заплывшие глазки его сияли. По лицу струились тоненькие ручейки пота, и, когда они доползали до губ, Налейвощик слизывал их, точно это был мед или квас из яблок.

— Где же плуг-то взяли? — спросила Лидка у Изи, сидевшего на одном из мешков.

Он хитро улыбнулся и, не отрывая глаз от Налейвощика, ответил:

— А зерно где? Через три дома, у какого-то кулака. Говорят, он твою тетку здорово обидел. Ну и мы его слегка обидели. А для чего это — или грачей дрессировать решила?

— И не грач это вовсе, а галка. Лечить ее надо. Крыло перебито.

— А-а-а, — одобрительно протянул Шапиро.— Ладно, я пошел учиться. — И он пристроился к Леше Самарцеву, который вышагивал по полю рядом с поваром и внимательно следил за каждым его движением, за тем, как он держит вожжи, как держит ручки плуга, как ступает, на какую глубину запускает в землю лемех.

И Пегушку и Налейвощика совсем не узнать. Точно другая лошадь и другой человек. Маленькая, неухоженная водовозная кляча совсем преобразилась. Идет в борозде легко, ровно, послушна малейшему желанию пахаря, и вид у нее совсем не понурый, будто дорвалась до любимого дела.

Но если кто был по-настоящему счастлив среди чапаевцев на Серафимином поле, так это, конечно, Налейвощик. Лицо его, всегда сонное, сейчас светилось тихой сосредоточенной радостью. И оплывшая фигура казалась фигурой сильного и статного человека. И совсем не было смешно от того, что он шагал по земле босой. Какой тут смех!

Пегушка точно понимала настроение своего хозяина, и он только легонько шевелил вожжами, когда надо было разворачиваться в конце борозды. На поворотах она, довольно помахивая кудлатой свалявшейся гривой, пофыркивала. Борозды ложились одна к одной ровной строчкой, и Леша, позавидовав тому, как все здорово получается у Налейвощика, не выдержал:

— Дай я, мой генерал. Вроде все понял. Сумею.

Изя тут же:

— А потом я, дядя Гера.

Но раньше чем Налейвощик передал вожжи в руки Самарцева, он провел еще две борозды и дал отдохнуть Пегушке, скормив ей с ладони толстый ломоть хлеба с солью.

Отдыхал дядя Герасим и сам. Настроение у полтавского земледельца было самое лучшее. Он вытер подкладкой буденовки, которую носил и летом и зимой, пот, довольно обвел вспаханную часть поля глазами и сел на мешок с зерном.

Настя, точно догадываясь, о чем он сейчас попросит, зачерпнула жестяной кружкой воды из ведра, предусмотрительно им же захваченного, и подала со словами:

— Ключевая, Герасим Иванович. Вон там, под березами, в овраге ключ бежит. Попробуйте, пожалуйста.

Давно, наверное, не ощущал Налейвощик такого любовного, такого доброго внимания. Готовил он неплохо, но хвалили редко. И, может, виной был сам: уж слишком всегда заспанным и нерасторопным казался. Да и по части чистоты не отличался. Другой черт знает как полевой кулинар сварит — хоть миску в лицо выплескивай, а его даже выругать не осмелишься, так важно он себя ведет, такой у него белоснежный колпак, поварешка и все медные части кухни так надраены — хоть смотрись в них вместо зеркала. Да и сам орел орлом. Такого не отругаешь. Отбреет да еще колпак свой под нос сунет — иди, мол, вари сам, а я воевать пойду.

А добродушного, безответного дядю Геру ругали все — и командиры, и рядовые бойцы. Иной котелок до блеска вылижет и ложку поцелует, а все равно критику наведет.

А сейчас все было по-другому. Дядя Гера просто купался в теплых волнах внимания и доброй человеческой зависти. Он был мастером хлебного поля. А для городских ребят — волшебником, совершающим чудеса.

Когда лошадь отдохнула, Налейвощик поставил ее на краю поля и сказал Леше:

— Берись за чапиги.

И Самарцев, находчивый, легкий на слово Самарцев, растерялся. Оглядел плуг, лошадь, вожжи потрогал и непонимающе взглянул на дядю Геру. Повар рассмеялся:

— Та то воны и есть,— положил руки на ручки плуга.— Берысь краще.— И он шел рядом с Лешей,

подбадривая, помогая ему и поправляя, когда тот делал что-нибудь не так. Потом учил пахать Изю.

— Ну а меня? А что я буду делать? — все суетилась вокруг них Лидка, заглядывая Налейвощику в лицо. Но и ей и Насте нашлось дело. Дядя Гера отстругал ей острую деревянную лопатку, и Лидка счищала землю с лемеха, когда попадалось сырое место и плуг шел тяжело. Потом подносили с Настей зерно из мешков к сеяльщикам, разбрасывавшим его из лукошек.

Из тайны, конечно, ничего не получилось. Тетка Серафима встала вслед за Лидкой и Настей и видела все, что происходило на ее поле, а потом и на огороде.

Где и у кого раздобыла она гуся, где достала белой муки — это для всех осталось секретом. Только когда уставшие, запыленные землепашцы вошли в избу, чтобы пригласить хозяйку принять их работу, в ноздри им ударил такой запах, что слюнки сами потекли. Эх и работали же их челюсти в этот вечер!

Как ни просили, а тетка Серафима так и не села с ними вместе. Подает на стол, смотрит на них и вытирает глаза передником. Уж так она была рада своим «постояльцам», как называла Лидку и Настю, и их друзьям! Так счастлива от того, что и у нее теперь как у людей — вспахано и посеяно! День красной помощи кончился спектаклем. И опять все получилось до удивления здорово.

Перед спектаклем Чапаев по просьбе местных жителей держал речь.

Лидка любила слушать речи Чапаева — вроде говорит об одном и том же, а все время по-разному. И главное — очень понятно. Вот другой вроде и шибко грамотный, и в книжку заглядывает, и из стакана воду отхлебывает, а послушаешь его — и скучно! А Чапаева слушать любо-дорого. Сколько людей ни слушает Чапаева, а все глаза и уши настежь. Слово боятся пропустить. Кончит он речь, отдай им любой самый невозможный приказ — и пойдут, сделают, что велит.

Только сегодня опоздала Лидка на речь. Ездила на кузницу с Ваней Романовым за железным листом, которым на спектакле гром за сценой делать будут. Еще в кузнице попробовали — чуть не оглохли.

Когда Лидка вернулась, Василий Иванович, сдвинув на затылок островерхую шапку, скинув бурку на руку

Петру Исаеву, бросал в затаившую дыхание толпу с крыльца бывшего помещичьего дома:

— И вот што я вам скажу, дорогие товарищи... Слышал я, што кто-то недовольствие высказывает против кормежки нашей конницы. Сена, мол, взяли, да не заплатили. Так я вот тут при всем народе разъяснение делаю. Не может такого быть. Не может и не может! Если кто даром взял да без спросу — ведите его сюда, сукина сына. Я его собственной рукой пролетарским судом покараю... — И рука Чапаева потянулась к кобуре.— Потому што не может Красная Армия грабить трудовое крестьянство, поскольку кто такой боец Красной Армии? Да сними с него шинель да гимнастерку, кто он будет?

— Да если еще штаны снять — может, и определишь!..— хохотнул кто-то.

Чапаев не ответил на шутку, только грозно сверкнул глазами:

— И будет перед вами тот же крестьянин да его брат, рабочий. Вот кто! Ну а уж если у тебя две лошади, а сена ты на десять запас, да жалко тебе для Красной Армии одной меры за деньги — значит, кто ты есть? Окончательная контра! И желаешь ты нам не победы, а поражения. И какой тут может быть вывод? А такой, што если ты затаил от рабоче-крестьянской армии фураж, значит, поджидаешь белых, чтобы ихних коней кормить. Или, может, я чего не так сказал, кого зря обидел?

Чапаев оправил гимнастерку, привычно провел пальцами по кончикам усов и, видимо, собрался продолжать свою речь.

Но тут из толпы, расталкивая людей, обступивших крыльцо, пробился хромой коренастый человек в полосатой тельняшке. Глубокий оранжевый шрам пересекал его лицо от левого глаза до правого уголка губ, отчего казалось, что человек все время улыбается. Только глядеть на эту улыбку было страшновато. Человек поднялся на первую ступеньку:

— Ты, товарищ Чапаев, очень правильно речь сказал. Только не думай, что все мы тут несознательные. Мы за Советскую власть куда угодно пойдем, что угодно отдадим. И конница твоя будет накормлена как полагается, и в обозе ты для нее и сено и овес повезешь. Не сомневайся. Контра, конечно, есть... Как без

контры в такой большой деревне? Только ты ее по одному сену не разглядишь... Иной и сенца тебе отпустит вроде с душой, а нож-то в кармане держит. Чуть ты к нему спиной, он и замахнется. Давай так... Тут нас четверо большевиков. Правда, все покалечены малость, по какой причине и списаны из солдатского звания, но составить гарнизон вполне можем. Бульдоги у нас у всех есть. Только патронов вы нам оставьте. — Хромой моряк обернулся к [illegible]: — Эй, братва, двигай сюда!

И тут же [illegible] выросли еще трое. У двоих на головах старые гвардейские фуражки со следами сорванных [illegible]. Военная судьба, должно быть, обошлась [illegible]. У одного кисти левой руки нет. У другого [illegible] черная повязка. Третий, в желтых обмотках и [illegible] шароварах, за грудь держится, то и дело [illegible] сильный кашель.

Что там [illegible], Лидка на этот раз так и не узнала. [illegible] рукав, да так, что вот-вот гимнастерка треснет. Лидка оглянулась — Ваня Романов.

— Ты чего?

— Глухая, что ли? Шепчу тебе, шепчу, а ты вроде совсем без ухов... Товарищ Соня зовет. Живой ногой, говорит. Лампы зажигать, фонари развешивать...

ЗНАКОМСТВО С КУПЦОМ ЗЕЛЕНЦОВЫМ И ЕГО ПРИЕМЫШЕМ

В газетах тревожные сообщения. Американцы с англичанами пошли войной на Советы. Готовят поход на молодую Советскую Россию польские паны. В Венгрии льется кровь рабочих-революционеров.

Слушает Лидка, читает, и стыдно ей. Про разные страны только по сказкам и знает да из случайных разговоров. Кому будешь жаловаться, что грамоте-то только-только выучилась? Правда, Дмитрий Андреевич сказал, что всему свое время, а раньше надо научиться счету, но теперь Лидке уже не терпелось.

В Бугуруслане она пошла на лекцию «О текущем моменте» какого-то приехавшего из Москвы докладчика. Город взяли малой кровью. Колчаковцы, попав в клещи, сдали его без боя. Город ничего. Люди разные. Русские, башкиры, татары. Даже китайцы есть. Ничего

город. Может, чуть похуже Самары. А может, и не хуже. На чей вкус.

Лидка, желая узнать на лекции все досконально, пробралась чуть ли не в первый ряд. Но все равно почти ничего не поняла. Размахивая перед носом очками, докладчик ругал Великобританию, грозил японцам и наваливался на французов и поляков.

После лекции Лидка жадно расспрашивала знающих людей, где находится эта Великобритания и правда ли, что там король на львиной шкуре сидит?

Или вот говорят, что Венгрия — это страна, где живут одни цыгане и, кроме изодранных шатров, на улицах у них не увидишь ни одного дома... даже в городах одни шатры! Только без заплат...

Никакого представления не имела она и о Японии. А оказывается, есть такая страна.

Спрашивала она и про Польшу...

Кое-кто отмахивался от Лидки. Иные отвечали:

— Польша — это, где раньше Украина кончается. Страна как страна, вроде России. Поменьше только. И люди такие же, как мы, разве что на другом языке говорят.

— А англичане такие же?

— Такие же. И богатые есть, и бедные.

— А чего же им тогда от нас надо? Если такие же? Били бы своих буржуаев...— допытывалась Лидка.

— А чего ты от нас требуешь тонкостей в чужих делах?— рассердился как-то сумрачный и тяжелый по характеру боец с темным лицом и густыми, сросшимися на переносице черными бровями.— По мне они все на одну колодку: буржуи да и только. Вон иди да лопочи с ними,— ткнул он пальцем в чапаевцев из Интернационального полка, проходивших мимо.— Не то поляки, не то мадьяры. Они тебе все разъяснят... А мы что — народ темный, неученый. Окромя Бузулука да Самары, других городов-то и не видывали.

Лидка не обиделась. А что? Конечно, про Польшу у самих поляков лучше всего узнать. Только одной как-то неудобно. Лешу Самарцева, что ли, с собой взять?

Леша с готовностью согласился:

— Изучение чужих стран, мой генерал, называется географией. Я четыре года в школу ходил. Могу тебе, конечно, сам кое-что рассказать. Да ихний разговор

интересней послушать. Им лучше знать, что за держава — Польша.

На окраине Бугуруслана, где расположился Интернациональный полк, Лагунова с Самарцевым нашли дом, в котором стоял комиссар польского батальона Ян Збаровский.

Когда Леша с Лидкой уходили из избы польского большевика, уже [illegible]нело. Леша, пощелкивая языком, говорил:

— Вот [illegible]! [illegible] на ладони представил. Значит, у них [illegible] в России. Помещик — это пан, а быдло [illegible]. Ну ничего, мы этим панам шею сломим. [illegible], Лагунова, сломим?

[illegible]ить. Увесистый камень сбил у нее [illegible] кусок кирпича просвистел и мимо [illegible] тели из-за высокого зеленого забора.

[illegible] наган и выстрелил в воздух. За [illegible] испуганный вскрик и под чьими-то [illegible] шагами зашелестели сухие листья.

Пока Леша деловито засовывал наган в кобуру, Лидка уже сидела верхом на зеленом заборе и кричала кому-то по ту сторону:

— Стой, гад! Все равно не уйдешь. Стрелять буду!

Когда Самарцев перелез через забор и оказался в просторном дворе приземистого, раздавшегося вширь не то купеческого, не то казачьего дома, он увидел такую картину: Лидка оседлала человека, обхватившего голову, и молотила его своими маленькими кулачками куда попало. Человек только покрякивал, но никаких попыток сопротивляться или вырваться не делал.

Леша не вмешивался. Когда Лидке надоело колотить по залатанному грязному полушубку, он подошел к незнакомцу и приподнял его за ворот с земли.

Перед ним стоял рослый, здоровый парень. Рядом валялся киргизский малахай. Но сам парень, видать, русский. Его белые волосы нечесаными космами торчали в разные стороны, голубые глаза смотрели в одно и то же время испуганно и изумленно.

— Руки вверх!— скомандовал Леша.— Обыскивай его, Чапаенок!

Парень нехотя, но без возражения поднял руки.

Лидка вывернула карманы полушубка. На землю выпала горбушка черствого хлеба, две луковицы и кисет с крошками махорки.

— Все? — недоверчиво спросил Леша и сам полез по карманам пленника, приказав Лидке: — Держи его на мушке!

Но, несмотря на все старания, он ничего больше не нашел у «несчастного буржуя», который, переминаясь с ноги на ногу, наконец осмелился спросить:

— Может, руки-то опустить? Затекли ведь...

— Ничего, ничего, не отвалятся. Небось, камнями кидать в чапаевцев не затекли.

Парень засопел:

— Да я если бы знал, что это вы, так и не стал бы. Я думал — большевики...

Леша обиделся:

— А кто же мы есть по-твоему, купеческая твоя душа? А ну скажи ему, кто мы! — обратился Самарцев к Лидке.

Лидка, подтянувшись, с удовольствием отчеканила:

— Чапаевцы-большевики!

Леша покрутил перед самым носом парня наганом:

— Понял, купеческая душа, с кем имеешь дело? А ну выкладывай, кто ты и где твой толстопузый батька живет? В этом доме, наверное? Поросенок от свиньи недалеко бегает...

Парень вдруг взбеленился. Он зло посмотрел на Лешу с Лидкой и резко опустил руки.

— Какая я тебе купеческая душа? Ты погляди на мои заплаты! Сам-то, небось, во всем крепком ходишь, а вон тот — в шелковых шароварах...— Он показал на Лидку. Она щеголяла по городу в ярко-красных галифе.

— Прибедняйся, прибедняйся! — прищурив глаза, насмешливо сказал Леша.— Как узнали с папашей, что красные идут, все добро в землю, а на себя всякую рвань натянули. Знаем мы вас...

Лидка не вмешивалась в разговор. Ей почему-то казалось, что парень не врет. Может, и в самом деле бедный. Был бы богатый, неужели стал бы черствый хлеб в кармане носить?

— Леш, может, он вправду батрак какой-нибудь? — протянула она неуверенно.

Парень вдруг поднял свой киргизский, с вытертым мехом малахай и, сгорбившись, уткнулся в него лицом.

Самарцев растерялся:

— Ну что еще? Долго мы с тобой будем тут баланду травить? Веди к своему дому!

Но своего дома у парня не было. Он показал на дом своего хозяина — купца Зеленцова. Тот взял его, Гришку Парамонова, из сиротского приюта десятилетним мальцом. И с той поры Гришка за миску постных щей да кусок хлеба ломает на него спину. Чтобы батрак умел вести, когда нужно, счет товарам, купец два года позволил ему ходить в приходскую школу, где Гришку обучали счету, [illegible] и закону божьему.

В строгости Зеленцов держал своего приемыша невероятной. Как [illegible] играют в бабки, Гришке удавалось [illegible] из щели забора. Купаться в речке приходилось [illegible] тогда, когда водил на водопой хозяйских лошадей. На [illegible] и на вечеринки, куда уже ходили парни его возраста, не приглашали. Знали — жадный и богобоязненный Зеленцов все равно не отпустит. Зато за каждую пропущенную обедню купец нещадно драл своего приемыша.

Перед приходом красных он позвал его на чистую половину, накормил вкусной пшенной кашей и сказал, истово перекрестившись:

— Конец света приходит, Гришутка! Надвигаются на нас антихристы в образе большевиков. С виду люди как люди, только во лбу красная звезда горит да наподобие наших казаков оружие носят. Но то с виду только. На самом деле — нет страшнее извергов. Человеческое обличье у них для обману.

Гришка слушал, пораженный и испуганный.

— Их истреблять надо! В порошок стирать!— захлебываясь слюной, все больше ярился Зеленцов и тряс своей лысой шишковатой головой.— Они ведь что хотят, Гришутка: именитых да почетных граждан — под корень, а таких, как ты, сирот — по миру. А ведь для кого я все это берегу, коплю, как не для тебя? А что в строгости держу — так это для праведной жизни берегу тебя. Сам знаешь, бог детей мне не дал,— ныл старик, заглядывая в глаза приемышу.

На какой-то миг Гришке стало жалко хозяина. Детей у старика действительно не было.

Зеленцову только этой жалости и надо было.

Он тыкал костлявым пальцем в грудь Гришки и злобно шептал, показывая корешки гнилых зубов:

— Будь я помоложе, я бы этих супостатов зубами грыз. Чем ни попало бил. Нож под рукой — ножом. Сук — суком. Камень — камнем...

У Гришки, когда он увидел большевиков с красными звездами на шапках, были под рукой кирпичи. Он и стал кидаться ими.

— Ну и дурак! — уже совсем беззлобно сказал Леша, когда услышал в комендатуре исповедь Гришки.

— Да, брат, темный ты человек, темный! — сочувственно покачал головой комендант города, командир в аккуратно подогнанной новенькой форме.

Лидке показалось, что она знает этого командира, видела его. Но где? Особенно знакомыми были умные и веселые глаза командира. И вдруг вспомнила:

— Дяденька Миронов?

— Я самый, — ответил комендант и в свою очередь стал вглядываться в лицо Лидки. Но не узнал ее. И немудрено. За эти годы она выросла, а главное — уже забыла, когда в последний раз надевала девичье платье. Пришлось напомнить о себе:

— Это я, Лидка Лагунова. Помните, вы еще у нас в доме насчет бабушки Брешковской агитировали, а потом валенок у гимназиста отобрали?

Ох какими глазами посмотрел на Лидку приемыш! Покраснел, веки заморгали часто-часто, даже привскочил с места. И к Лешке шепотом:

— Так она девка?

Самарцев ехидно ухмыльнулся:

— Откуда ты взял? Не девка, а большевичка.

А Лидка и Миронов вспоминали. Говорили шумно, перебивали друг друга, как будто стерлась разница в их возрасте.

— А что тебе, Лидуша, известно о фельдшере Иване Хрисанфовиче? Помнишь, с таким толстым красным носом?

Еще бы не помнить Лидке отцова друга!

— Он теперь на Самарской железке главный начальник по аптекам. А вы знаете, дяденька Миронов, где сейчас Федор Степанович, машинист, черный такой, с усами? У него еще сын Пашка и дочь Нюрка, моя ровесница? А?

Пашку и Нюрку Миронов не знал. А машиниста...

Подорвали его белые гранатой прямо в паровозе. Отказался их эшелон на красных вести...

Долго еще, наверное, сидели бы так и перебирали в памяти имена своих самарских знакомых боевой, трижды раненный красный командир и совсем еще молоденькая, но тоже уже понюхавшая пороху девчонка в форме красного кавалериста, если бы не ворвался вдруг в [illegible] красноармеец. Покосившись на [illegible], он что-то быстро-быстро зашептал [illegible] ухо. Комендант поспешно натянул [illegible] поверх портупею, проверил, заряжен ли [illegible], и сказал, обращаясь к Лидке и Леше:

— [illegible] ребята, с вами. Да ничего не поделаешь. [illegible] на подводах в мешках муки хотели [illegible] своим. Только что задержали, [illegible]. А этого отпустите,— уже уходя, [illegible] на Гришку.— Пусть посидит дома, [illegible] купца да поразмыслит.

— Слушай, [illegible] тебе этот лысый купец сдался? — спросил [illegible] Гришку.— Пошли к нам — в разведку устроим.

— Нет, Зеленцов хоть и плохой, да понятный. А вы что за народ — не знаю. Да и вещи кое-какие у меня за Зеленцовым остались...

— Ну и черт с тобой! — пренебрежительно сказал Леша и сплюнул под ноги.— Верно, Лидка?

Лидка тоже сплюнула.

— Конечно, еще купеческих приемышей в чапаевской разведке не хватало. Да и за барахло держится. Сам, наверно, во сне себя купцом видит.

На следующий день дивизия покидала город. Колчаку нельзя было давать передышки. Лидка и ее друзья уже сидели в вагонах, эшелон тронулся, когда по перрону заметался какой-то смешной человек в полушубке и киргизском малахае. Он был с небольшим деревянным чемоданчиком, перевязанным веревкой.

— Гришка! Гришка! Парамонов! Зеленцовский приемыш, сюда!— обрадовался Самарцев.

Парня, уже отчаявшегося найти «своих», втащили в вагон. Сундук этот и оказался у него «кое-какими вещами». В нем, кроме нескольких комплектов старых журналов «Нива» и книги «220 волшебных фокусов великого мага Хо Лин Тяна», ничего не было.

ПАТРУЛЬНАЯ СЛУЖБА

Перрон завален сундуками, ящиками, чемоданами. Среди них мечется здоровенный мужчина в английском френче, в галифе, в кожаной фуражке с красной звездой. Лицо у мужчины студенистое, красное, глаза шныряющие. Под носом короткие жесткие усики. Он все время взмахивает руками, точно отгоняет от себя мух, хотя какие мухи сегодня — ветер.

Рядом с мужчиной дама в теплом, несмотря на жаркий день, пальто. Она тоже очень неспокойна. То сядет на сундук, обитый медными поясками, то вдруг начинает бегать вокруг большого деревянного ящика и гладить его шершавые, из неструганых досок бока.

Но вот мужчина что-то сказал даме и заспешил, то и дело оглядываясь на вещи, к дверям вокзального помещения. Теперь и дама стала кружиться среди багажа, взмахивая руками, точно так же, как и ее муж.

Конечно, Лидка не знала, в каких отношениях между собой эти люди, но без колебаний произвела их для себя в мужа и жену. Очень уж они похожи были по своим странным повадкам.

Лидка на станции не случайно. Назначена в патрульную службу. Мало ли всяких контриков на вокзалах да железнодорожных путях ошивается. Бандитов и карманников, дезертиров разных тоже хватает.

Собственно, Лидку не назначили. Предложил Самарцев, а она и рада стараться. Почистила сапоги, протерла браунинг и — на станцию. Старший патруля направил группу на перрон.

Сначала на рукавах гимнастерок носили красные повязки. Потом Самарцев велел снять.

— Так мы с тобой всех контриков и бандитов отпугнем. Ни одного не поймаем. Неинтересно. Пусть принимают за простых красноармейцев.

Убежал зачем-то на привокзальную площадь Лешка. Сказал — на минутку и пропал.

А сейчас самое время посоветоваться, очень уж суетится этот во френче... Что-то тут нечисто. Но где его, рыжего непоседу, поймаешь?

Мужчина вернулся с красноармейцем, за плечом которого была винтовка с трехгранным штыком. Шел красноармеец как-то нерешительно, с удивлением по-

глядывая на обилие вещей на перроне. А краснолицый, оглянувшись по сторонам, быстро залез рукой в черный баул и вынул оттуда полбуханки хлеба. Красноармеец оживился, сунул хлеб в карман шинели и закивал головой.

Мужчина успокоился. Женщина тоже перестала суетиться и [illegible] руками. Они заполучили собственного часового.

Он степенно [illegible] среди чемоданов и время от времени [illegible] ремень винтовки, сползавший с плеча. Че[illegible] в непрерывном движении. Отщипывая от [illegible] по маленькому кусочку, он [illegible] снизу вверх в рот. И в эти [illegible] закрывал от удовольствия.

«Привык [illegible] — отметила про себя Лидка.— Саратовский, наверно»...

Были [illegible] люди. Но больше саратовцев [illegible]. И [illegible] другие любят щелкать подсолнухи: [illegible] семечко за другим в рот кидают, так [illegible] и не уследишь. Бывает, что не по одному, а [illegible] по целой горсти мечут.

В Самаре [illegible] по-другому семечками балуются. Степенно, по одному кладут на губы и не выплевывают шелуху на землю или на пол, а в кулак собирают, чтобы потом уж в подходящем месте, не на виду, выбросить...

Послышался паровозный гудок, и все на станции пришло в движение. И снова засуетился, забегал [illegible] вещей мужчина в английском френче. Стал вынимать из нагрудного кармана какие-то бумаги. Потом [illegible] тыча пальцами, стал пересчитывать ящики и [illegible]

Когда поезд остановился, он, расталкивая [illegible] локтями, побежал к головному вагону. Лидка [illegible] вокзала и пошла следом. Она теперь [illegible] что-то в самом деле нечисто у этой парочки, [illegible] часового. Интересно, куда они едут, что везут?

Высокий горбоносый, похожий на [illegible] с красной повязкой на рукаве [illegible] шинели, видимо, военный комендант станции, стоял в центре возбужденной толпы и, перекрывая галдеж, говорил [illegible] голосом:

— Слушай меня! Будем брать только военных, семьи с детьми и больных со справками. Все! Остальные на другой поезд.

Поезд... Лидка так бы не назвала. Ну какой же это поезд?

Вот до революции действительно были поезда! Лидка их отлично помнила. Красивые разноцветные вагоны с чистыми окнами, с веселыми нарядными пассажирами, с важными усатыми проводниками в тамбурах. Ребята с Троицкой часто бегали на вокзал встречать и провожать поезда. Просто так, ради интереса. Ну и еще с тайной надеждой, что именно ему достанется конфета в бумажке, выброшенная из окна какой-нибудь барыней. Была у богатых пассажирок такая забава: кидать на перрон горсть конфет, чтобы посмотреть, как ребятня пристанционная кидается на них. Чего греха таить — нередко доставалось и Лидке.

Да. То были поезда! А это что? Настоящих пассажирских вагонов-то всего четыре или пять, а остальные — теплушки да платформы с фанерными будками. Но и этому люди рады — лишь бы уехать в сытые края.

Хозяин охраняемых вещей мертвой хваткой вцепился в коменданта и буквально тащил его за собой.

— У меня военное имущество. Мне непременно надо его доставить по назначению. Вот бумаги. Прошу выделить полвагона.

Коменданта буквально раздирали на части. Медленно двигаясь вдоль состава, он кому-то давал разрешения, называл вагоны, подсадил в теплушку старую женщину, которая четыре дня сидела на станции, возвращаясь из красноармейского лазарета, где ее сын лежал в сыпняке, дал отпор мордастому мешочнику, посулившему шепотом кусок сала за «содействие». Наконец добрались до того участка перрона, который был занят сундуками и ящиками человека в английском френче.

Комендант оглядел скопление вещей, покачал головой, еще раз просмотрел документы и перевел взгляд на часового. Тот уже перестал жевать и шагал вдоль порученного ему хозяйства взад-вперед сосредоточенно и серьезно.

Видимо, именно часовой и убедил коменданта, что груз нешуточный и надо в самом деле принимать меры к его доставке. Смутила его только дама с бумажными цветами.

— А это кто? С вами?

— Да, это служащая по учету.

Комендант в уме перебирал какие-то варианты. На лице «Френча», как про себя окрестила его Лидка, напряженное ожидание.

— В четвертом вагоне налево нижние нары,— принял решение комендант. Он вырвал из крохотного блокнотика [illegible] и [illegible] торопливо черкнул в нем, послюнявив химический [illegible]

Лидка [illegible] лицо Френча [illegible] преобра[illegible] [illegible] еще [illegible]:

— [illegible], товарищ комендант. [illegible] Груз [illegible] ного назначения...

Но комендант уже шел дальше.

Теперь надо было как-то незаметно поговорить с ним, [illegible]

Но как?

И [illegible] Сейчас Френч [illegible]рет за хлеб грузчиков, они утащат вещи в вагон, а там...

Она [illegible] на перроне [illegible]нулась [illegible] женщина. Кто-то заорал:

— Налетчики!

Лидка стояла с [illegible] к ней подбежит [illegible]. Что [illegible] будет — она [illegible]. Но [illegible] всех, он-то должен [illegible] не трус, если действительно боевой командир.

Он оказался [illegible]. П[illegible]жал к Лидке, [illegible]:

— В чем дело, товарищ?

— Надо [illegible] Больно здоровые [illegible] Я [illegible]тала Лидка. — Я [illegible] в вагон уже понесли...

Она все еще держала пистолет дулом вверх, сло[illegible] собираясь вновь выстрелить. Комендант разглядел [illegible] конец, кто перед ним. [illegible] улыбке, обнажив кипенные зубы.

— Спрячьте оружие, милая дама. И [illegible] мной. Сейчас во всем разберемся.

Лидка облегченно вздохнула. Понял. Этого она и добивалась.

То ли чутье уже появилось, то ли опыт поднакопила, она ничуть не сомневалась, что поступает правильно. Хорошо, что вовремя успела предупредить коменданта.

Вокруг уже кипело человеческое море. Набежало множество любопытных. Тут были и красноармейцы, и мешочники, и станционная шпана. И все галдели, высказывали свои догадки, все хотели знать, что произошло. И куда это комендант ведет молоденького курносого парнишку в ловко подогнанной красноармейской форме?

Ввинчиваясь буравчиком в толпу, к Лидке пробивался раскрасневшийся, взъерошенный и вспотевший Леша Самарцев.

— Ну-у-у, что тут, Чапаенок, у тебя делается?

Лидка, как и коменданту, сказала ему на ухо о своих подозрениях.

— Прекрасно, мой генерал! Прекрасно!

Тоже новость: появилось у Самарцева еще одно любимое словечко: «Прекрасно!». И к месту и не к месту: прекрасно, да и все. Сам признался: «Как зараза какая привязалась. И не хочу говорить, а с языка все равно слетает. Вот Чапаев еще не слышал, а то ввалит, как за «монсира».

И сам же над собой смеялся.

Комендант обернулся, неодобрительно посмотрел на молодого красноармейца, который раньше времени заподозренного человека генералом называет, но ничего не сказал.

А Френч, как и предполагала Лидка, уже набрал грузчиков, и они тащили его вещи к указанному вагону. У многих челюсти, как и у нанятого часового, были в движении — ясно, Френч и их купил за хлеб.

Комендант заступил путь первому грузчику, который тащил чемодан и громадный пузатый баул:

— Назад! Несите в комендатуру за мной.

Грузчик непонимающе уставился на коменданта, повернулся к Френчу, не выпуская из рук вещей.

У того заплясали зубы с золотыми коронками:

— Что это значит? Вы же выделили вагон. Вы будете отвечать!

Самарцев похлопал по кобуре пистолета:

Русским языком сказано: в комендатуру!

Что оставалось делать грузчикам? Повернулись и понесли хозяйство Френча, куда сказано.

Замыкала процессию грузчиков дама в голубом пальто. Когда до нее дошло, что вещи приказано нести в комендатуру, она ахнула и упала в обморок.

Френч воспользовался этим:

— Женщина очень больна! Она несет персональную ответственность за изъятое имущество. Она может умереть от разрыва сердца... Я требую немедленной отправки важного груза! Вы ответите за самоуправство!

— Ответим, ответим! — вместо коменданта сказал Самарцев.

А комендант, как истинный кавалер, поднял женщину, поставил ее на ноги, отряхнул, надел на ее головку шляпу с цветами, взял под руку.

— Не надо волноваться, товарищ женщина. Маленькая формальность, и вы поедете своим путем. Это отнимет всего полчаса. Ваши места в вагоне никто не займет.

Но женщина не хотела успокаиваться. Она всхлипывала, вздрагивала, сопротивлялась.

— Куда вы меня ведете? Не хочу!

Когда вещи уже вносили в комендатуру, выяснилось, что Френч куда-то исчез.

— А ну пошли, Чапаенок, поищем!

Нашли его в палисаднике за водокачкой. Он торопливо сбрасывал с себя английский френч, из-под которого выглядывала серая сатиновая косоворотка. Щегольских коротких усиков у него уже не было. Значит, носил накладные.

— Эй-ей-ей, мой генерал! Зачем же так торопиться? Мы могли бы вам помочь раздеться и в комендатуре.

Френч зыркнул глазами вправо, влево и смирился. Тем более вид у этого совсем молоденького красноармейца в красном галифе такой решительный: чуть что — влепит пулю не мешкая.

Когда привели Френча в комендатуру, там уже знали, что он за птица и куда переправлялось спрятанное между двойными стенами и двойным дном ящиков оружие. Сами ящики были заполнены канцелярским имуществом и старыми бумагами одного полугражданского-полувоенного учреждения, которое было ликвидировано за ненадобностью и служило прикрытием для ловкого эсера — снабженца одной

из подпольных контрреволюционных организаций.

Когда патрулирование перрона подходило к концу, Самарцев сказал Лидке:

— Слушай, Чапаенок, раз мы отличились, значит, должны получить поощрение.

Она не сразу поняла.

— Че-го-о?

— Ну, может, ордена и не дадут, а похвалу-то обязательно. Айда в комендатуру!

Измочаленный, выжатый как лимон, комендант вымученно улыбнулся.

— Ну, кого еще отыскали?

— Да нет, больше никого. Пришли отметиться.

— А зачем отмечаться? Время вышло, и все по своим местам. Вон уже ночной патруль на смену пришел.

— Да нет. У нас другие порядки,— врал, глядя в глаза коменданту, Лешка.— Теперь начальник штаба требует, чтобы вы отметки ставили за дежурство, кто, как и в чем отличился.

— А-а-а!— повеселел комендант.— Письменно, что ли? Тогда какие вопросы...

Он достал из стола четвертушку бумаги, непроливайку, ручку с засохшим пером. Потер перо о краешек стола.

— Кому адресовать?

Лидка думала — начальнику пешей разведки полка. Ну, можно взять выше — начальнику штаба полка. А Лешка Самарцев бухнул:

— Самому Чапаеву.

— Чапаеву?

Комендант удивленными глазами уставился на красноармейцев, но переспрашивать не стал. Четко вывел должность Чапаева, имя, отчество и написал:

«Бойцы Вашей дивизии П. Самарцев и Л. Лагунова отлично несли патрульную службу на станции. Задержали опасного вооруженного врага Советской власти. Заслуживают награды и благодарности».

Вот такую записку принесли со своей патрульной службы в расположение взвода пешей разведки Лешка с Лидкой. К Чапаеву та записка не попала, но при всяком удобном случае Самарцев доставал ее из кармашка и показывал и приятелям, и начальству:

— Так что мы с Чапаенком, как видите, отличились. Вот как служить надо, мой генерал!..

Щербаков стоял на пороге железнодорожной будки и с надеждой смотрел на небо.

— Хоть бы тучи нагрянули...

Лидка и Гришка [illegible] не поняли, зачем нужны начальнику тучи. [illegible], когда небо синее и глубокое, только [illegible], пробежит кудрявое облачко...

Но когда Щербаков рассказал им о задании, они согласились: [illegible] будет потемней. Их посылали на опасное и важное дело.

— На рассвете быть в городе. Когда наши пушки забьют и [illegible] на центральные улицы перекинут, начинайте действовать. [illegible] под шумок пулемет на водонапорной [illegible]. Он для нас страшнее батарей. Ясно?

Лидка молча кивнула головой. Гришка же, взъерошив и без того лохматые волосы, заверил Щербакова:

— Не бойтесь, товарищ начальник, все будет в порядке.

Щербаков улыбнулся:

— За себя не боюсь. Ведь не я, а вы в берлогу к Колчаку идете. Вам бояться надо...

Гришка вопросительно смотрит на командира: серьезно он это или смеется? Ну конечно, смеется. Влажно поблескивают ровные чистые зубы Щербакова, расползлись от уголков глаз добродушные лучики. Он положил свои большие коротконалые руки на плечи разведчиков и задушевно сказал им:

— Это я шучу, хлопчики. Знаю, народ вы золотой. Только на рожон не лезьте. Чуть что, лучше пересидите опасность в саду каком или огороде...

Лидке хорошо и тепло от этого обращения «хлопчики». Щербаков никогда не обижал ее, никогда не давал почувствовать, что она девчонка, доверял любое опасное поручение. А если и ругал, то совсем по-домашнему, по-отечески.

...Черная вода. Черное небо. Весла бесшумно отталкивают лодку все дальше и дальше от берега. Как то встретит их та, чужая сторона? Может, прямо на засаду?

Но почему-то думается о другом. Жалко бакенщика. Проснется старик утром, а лодки нет...

Ткнулись в камыши, прислушались. Только лягушки стонут. Да где-то далеко, у Красного Яра, тяжело вздыхают орудия. Там идет бой.

Камыш — как стена. Лодка застряла в нем: ни вперед ни назад.

— Давай прыгай! — шепотом командует Гришка.

Лидка прыгнула и пожалела, что не смерила глубину веслом. Вода по самые плечи.

Кое-как выбрались из камышового леса. Выжали одежду, посидели, прислушались к ночным звукам в прибрежных кустах и пошли по дороге.

Мокрые рубашки и штаны прилипают к телу. Зябко. Сейчас бы наперегонки версты полторы-две! Мигом бы согрелись. Да нельзя. Надо держаться солидно, как подобает настоящим пастухам. Недаром же у обоих пастушьи сумки на боку и кнуты с длинными веревочными хвостами. У Гришки сверх того закопченный котелок. Спросят — объяснение готово: идут с летнего пастбища, где пасут коров уфимских мещан. Соли да харчей попросить немного. На летних выпасах коровам хорошо. А в Уфе долго ли до греха? Придут красные — пулей убьют или просто на мясо зарежут.

Шаг у Гришки тихий, легкий. Но Лидке кажется, что идет он, как слон, что шаги его слышно чуть ли не за версту.

— Неужели тише не можешь? — шпыняет его Лидка. — Ну чисто медведь!

Светало, когда они входили в узкие и кривые окраинные улочки Уфы. И здесь сразу не повезло. Из-за угла выехал конный офицерский разъезд. Колчаковцы и не заметили бы босоногих запыленных оборвышей, если бы не были пьяны. Старшему разъезда, розоволицему, с тонкими красными губами ротмистру, видимо, захотелось покуражиться над подростками. Подскакал, поднял коня на дыбы над Гришкиной головой. Лидка от ужаса даже присела. Вот-вот опустятся острые подковы на голову ее товарища.

Офицеры обратили внимание на забаву своего начальника только тогда, когда Лидка вскрикнула. Должно быть, худенький, молоденький офицер, который выехал на площадь позже других, тоже был поражен дикостью ротмистра. Он резко осадил коня и протестующе что-то крикнул.

Гришка не растерялся. Нырнул под живот коня и выскочил с другой стороны.

Ротмистру игра пришлась по душе. Снова кованые копыта повисли над головой Гришки. То ли терпение кончилось у парнишки, то ли понял: все равно не уйти... Снова выскочив из-под конского брюха, он вытащил из-за пазухи наган. Выстрелил. Побежал.

Гришка промахнулся. Опешивший офицер секунду топтался на месте. Потом, дико взвизгнув, ударил шпорами в конское брюхо и ринулся следом.

У Лидки сердце готово выпрыгнуть. Что-то будет? Только бы успел Гришка! Вот он уже перебросил ногу через [illegible]. Ну, ну, быстрее! Еще мгновение — и ищи-свищи. Нет, не успел!

Сабля белогвардейца достала его...

Лидка [illegible] искаженного лица юного [illegible] истерического крика:

— Потапов, это же зверство... Мерзавец!

В ушах ее звучало Гришкино отчаянное:

— Лидка, беги!

Но бежать [illegible] в руке Лидки — дамский браунинг. [illegible]. Не зря Щербаков хвалил [illegible]. Первая же пуля сняла ротмистра с седла. В самую последнюю секунду она узнала его. Узнала по наглым, чуть навыкате глазам, по розовому лицу алкоголика [illegible] удовольствию, которое выражало его лицо, когда он заносил саблю над головой Гришки.

Вот с таким удовольствием он пригибал к земле Лидкину голову в Гавриловке, заставляя целовать свой сапог...

Второго выстрела Лидке сделать не удалось. Рука, державшая оружие, повисла плетью. Удар свинцового наконечника казацкой нагайки пришелся по кисти. Пальцы разжались. Браунинг утонул в толстом слое дорожной пыли.

Лидка еще успела увидеть над собой раздувающиеся лошадиные ноздри и хищный оскал редких зубов казачьего есаула. Потом — боль, пронзившая тело с головы до ног. В глазах поплыли разноцветные круги. Лидка, не разбирая дороги, вслепую бежала по улице, а есаул все бил и бил ее нагайкой, перевесившись через голову коня.

[illegible] Лидка упала. Теперь, спрыгнув с седла, [illegible] бил ее по животу и ногам.

Пришла Лидка в себя только на следующий [день] в лазарете. Открыла глаза, а над ней забинтованная голова и знаменитые чапаевские усы. Даже не поверила. Думала — не проснулась еще. Снова закрыла и открыла глаза. Нет, не сон! Голова и усы не исчезают.

— Василий Иванович?

Глаза у командира дивизии печальные, ласковые.

— Больно?

Она пошевелила сухим языком, взмахнула ресницами, попробовала поправить сползающее на пол одеяло. Но рука не слушалась. Лидка застонала.

Чапаев зачем-то на миг отвернулся к стене, а потом, повернувшись к Лидке, весело улыбнулся:

— Домашкинцы тебя выручили. Григория Петрова знаешь? Комбат у них. Так он тебя от офицера отбил. На руки санитару сдал. Молодец парень! Теперь твоим крестным будет.

Заметив, как Лидка вторично попыталась поднять руку и скривилась от боли, Василий Иванович погладил ее по плечу:

— Да ты не горюй особенно-то, Лидушка. Подумаешь, нагайкой излупили. Злей будешь! Меня вот тоже сковырнули при переправе.— Он потрогал повязку на голове.— Еще злей я на этого Колчака стал.— И тут же серьезно: — Насчет злости я без шуток. Без этой самой злости к врагу на войне никак невозможно... Нельзя. Понимаешь?

Он что-то говорил еще, но Лидка уже плохо разбирала его слова. Смысл доходил с трудом. А потом показалось, что вместо Чапая над ней сидит отец с чапаевскими усами и забинтованным лбом. Лидка смотрела на отца и злилась: почему он, сильный, храбрый человек, комиссар, а не может вытащить Гришку Парамонова из-под лошадиных копыт? И Гришка тоже хорош! Стоит как дурак, вместо того чтобы бежать... Впрочем, и с копытами что-то случилось: висят в воздухе и не опускаются...

Лидка металась в жару и забытьи двое суток. Около нее постоянно дежурил толстый, с помятым от бессонных ночей лицом старый врач. Начдив, уходя, предупредил его, что если девчонку не поднимут на ноги,

медицина будет отвечать по всей строгости военного времени.

Когда жар спал и Лидка очнулась, врач подал ей два больших румяных яблока и фотокарточку.

— Вот, Василий Иванович просил передать.

На снимке — Чапаев в полной военной форме. На обороте надпись: «Маленькому Чапаенку. Иди за мной. Я покажу тебе светлый путь к коммунизму. В. И. Чапаев».

В этот день не переставали хлопать двери лазарета. К Лидке шли [illegible] и незнакомые. Подсаживались на койку и [illegible] просили:

— Ты [illegible]ки. Чапаев-то чего подарил...

Са[illegible] завидовали Лидке, разглядывая карточку и читая надпись.

С[illegible] Настя едва успевала выпроваживать [illegible]телей. Она не сомкнула глаз, пока врач не сказал повеселевшим голосом:

— Т[illegible]вет.

Но Лидк[illegible], не терпелось узнать все подробн[illegible]го посещения.

— Так и [illegible], Настя, чтоб обязательно меня на ноги поднять?

— Так и сказал, — подтвердила Настя, не открывая глаз.

— А [illegible] уже лучше. Ты знаешь, Настя, совсем-совсем хорошо.

Настя ниже и ниже опускала отяжелевшую голову. Но на Лидку напала словоохотливость. Она мечтательно уставилась в потолок:

— Мамка, наверное, напекла пирогов с луком. Ведь воскресенье сегодня, да?

— Есть хочешь?

— Нет, я просто так. А Василий Иванович любит с луком?

— Не знаю.

— Война кончится, каждый день пироги с луком буду печь.— Лидка подумала, прикинула, бывает ли еще чего-нибудь вкуснее. Добавила: — И с яблоками... А ты?

Но на этот Лидкин вопрос Настя уже не ответила. Она спала. И разбудить ее хоть сотней вопросов было невозможно.

С этой ночи и пошла Лидка на поправку. Неказиста

была палата лазарета, голы и скучны были ее стены, жестка и неудобна койка, но Лидке было тепло и хорошо, как дома. И теперь уже не в горячечном бреду, а чуть ли не наяву сливались в ее представлении два человека — отец и Чапаев...

И еще одну перемену внесла Уфа в жизнь Лидки. С этого времени как будто у нее и не было другого имени, как Чапаенок. На него она охотнее откликалась, чем на свое собственное, девичье. С этим новым знаменитым именем прошла она через всю гражданскую войну. Пронесла его через уральские степи, польский фронт, пески среднеазиатских пустынь.

БИЛЕТ № 316

Деда звали странным именем — Онишка. В избе у него было бедно, но чисто. Бабка Акулина сама предложила командирам занять избу для раненых.

— Если какие болезненные есть или раненые, у нас с Онишкой завсегда останавливаются... Вот только насчет еды мы уж больно плохие хозяева. Овсяной кисель да картошка прошлогодняя...

Впрочем, невесть откуда у стариков помимо этого оказался еще и мешок кедровых орехов.

Сухонькая маленькая бабка командовала дедом, как хотела. Он у нее делал все домашние работы: кормил телушку, варил щи, стирал рубахи, загонял по вечерам трех старых гусей в закуток. Он же ставил самовар. И все это у него получалось хорошо, ловко и как-то незаметно для глаза, будто по щучьему велению.

В избе разместили четверых раненых. Кроме Лидки, которой после Уфы полковой фельдшер еще не разрешал ходить, тут лежали командир роты Домашкинского полка Демид Хлебников и артиллерист Миша Досужий. Четвертым, к великому удивлению Лидки, оказался тот молоденький прапорщик, которого она мельком видела в офицерском разъезде там... в Уфе и еще раньше — в Гавриловке, куда ее посылали в разведку.

В уфимском лазарете они находились в разных палатах, и она не знала, кто лежит за стенкой. А теперь, когда их сняли с обозных фургонов и разместили по избам, волей-неволей пришлось встретиться. Узнав офицера, Лидка рванулась с соломенного тюфяка и, про-

тянув в его сторону забинтованную руку, закричала:

— Так он же колчаковец! Это они Гришку убили!

Она готова была броситься на офицера, но ее удержал Демид Хлебников.

— А ты сперва узнай, как да что, а потом и кидайся,— сказал он.— Это я его велел вылечить. Чего зря человеку пропадать? Он еще поживет и людям пригодится. Не думай, что раз у человека погоны, так он уж обязательно сволочь. Вот послушай...

Лидка недоверчиво посмотрела на Хлебникова и затихла. А он ловко, одними пальцами левой руки набил трубку табаком, сунул ее в рот, чиркнул спичкой о зажатый в коленях коробок и закурил.

Говорил он неторопливо и обстоятельно, как любят деревенские мужики говорить перед севом о том, хватит или не хватит хлеба до нового урожая, будет ли ведро или дождь на троицу, приедут ли на Волгу бухарцы продавать бракованных лошадей по дешевке. Только на этот раз разговор велся о другом и вполголоса. Прапорщик и Досужий спали.

— Ты село Поповку знаешь? Хотя откуда тебе знать? В тех местах не была — горожанка... Вот там я и родился. Там и горе мыкал. Отец на турецкой сгинул. Мать с воза на кол упала — живот распорола. Умерла. Взял к себе в работники богач поповский, Харитонов. Мужик злющий и жадный. Взял меня двенадцати годов. Пять лет в подпасках держал за одни харчи. Потом полтину в месяц посулил и перевел в работники по двору. И за дело, без дела бил. Ушел бы я от него, да деньги заработанные не отдает. А куда уйдешь в одних-то портках, если заплатки и той нет в запасе? Вот и тянул лямку. Силы у меня много. Работал здорово. А хозяину только того и надо. Была у него сестра — рябая и горбатая старая дева. Он мне ее и решил присватать.

«Давай,— говорит,— породнимся, Демид. Приданое дам. Только чур не разделяться. Дай слово, что в моей семье будешь жить, хозяйство поддерживать».— «Не бывать,— отвечаю,— Фрол Микитич, по-твоему. Я еще за человека себя считаю. Не приневоливай лучше».

И затаил он с той поры на меня злобу. Старухе приказал, чтобы щи без мяса давала. Износились сапоги — новых не выдал, и лапти, говорит, хороши бу-

дут. А было мне в ту пору, считай, уж двадцать пять. Девки давно заглядывались, да уж больно беден был. И разговаривать-то со мной боялись. Сколько раз брала меня злость на такую собачью жизнь. Хотел махнуть на все рукой — да и куда глаза глядят. Черт с ним, с этим пауком и с деньгами! Только вот он меня держал, Ленька Харитонов.— Демид дернул подбородком в сторону спящего офицера.

— Это ты правду, дядя Демид? — изумилась Лидка, и глаза ее зажглись любопытством.— Как же он тебя держал?

— Правда... Видишь, он на целый десяток лет моложе меня. Характером в мать — простой, сердечный. От отца ни ласки, ни доброты. Пинки да подзатыльники. И прилип ко мне душой. Я в луга за сеном — он лошадь бежит запрягать. А в ночное — ревом изойдет, если не возьму. На рыбалку ли, на пашню, в лес — все вместе с ним. Сколько раз ночевал со мной на сеновале. Среди ночи вылезет из-под одеяла, в окошко — и ко мне под дерюгу. Ну и я привязался к нему. За день-то намаешься — ни рук ни ног не чуешь, а около Леньки отходишь. Отец его во что бы то ни стало хотел чиновником по коммерческой части сделать. Послал в Самару к сродственникам. Там в гимназию парня поместили. Я уж думал: ну, теперь из Леньки настоящий барин выйдет, вернется на каникулы — на своих батраков глядеть не захочет. А вышло наоборот. Чуть из-за меня жизни своей не лишился.

Лидка совсем близко подсела к Демиду, слушает — не дышит.

— Пять классов кончил, что ли, Ленька, не помню. Приехал из гимназии и до петухов меня мучил каждую ночь. Все учил. Я ведь сейчас грамотный: и считаю бойко, и приказы не хуже писаря сочиняю на бумаге... А война началась... Знаю: не сегодня — завтра забреют. Стал подумывать о расчете. Говорю хозяину: так и так, Фрол Микитич, выдай мне нажитое — в солдаты иду. А я уже подсчитал — денег он мне порядочно задолжал. И избу поставить можно, и корову купить, да и свадьбу справить. А старый жила давай меня обхаживать: «Зачем тебе сейчас все, Демид? Пусть у меня остаются. Сохраннее будут. Вернешься с войны — возьмешь. Я даже проценты могу учесть...» Ну, стою на своем. Разозлился. «Хватит,— говорю,— мою кровь пить.

Больше никогда не вернусь в Поповку. Россия велика. Если жив буду, в любую другую сторону подамся. Давай деньги!» Аж позеленел от злости Фрол. Зубы оскалил и хвать вилы-тройчатки, что у дверей хлева стояли. «Разорить меня, босота, хочешь!» — кричит и на меня с вилами.

То ли испугался я, то ли все равно было, только стою — и ни с места. Чувствую — сейчас кишки выпустит. Даже глаза закрыл. Но кишки у меня целы остались. А вот сыну своему, Леониду, он бок пропорол. Еле отходили в больнице.

Лидка ничего не понимала:

— Как же это так, дядя Демид?.. Ведь он в тебя метил.

— Ну а Ленька из избы во двор, увидел, что отец на меня замахнулся, и прыгнул между нами. Уговаривать-то некогда было. На себя удар и принял.

— Ох! — только и смогла вымолвить Лидка.

А Демид продолжал совершенно спокойным тоном, как будто говорит не о себе, а о ком-то другом, постороннем:

— В солдаты меня забрили. И прямиком в окопы. Три раза ранен был. В лазаретах спрашивали: «Куда на побывку поедешь?» А я только рукой машу: пишите — обратно в окопы. Так за три года войны и не побывал ни разу в родных местах. Только после революции домой вернулся.

— И его не видел? — показала Лидка на прапорщика.

— Не видел.

С минуту Демид молчал, попыхивая трубкой. Лидка нетерпеливо дернула его за руку:

— Ну?

— Ну а теперь вот я его спас от глупой смерти. Вылетели мы из-за угла на разъезд. Петров к тебе бросился, отбил тебя от есаула. А я смотрю: лежит в пыли у плетня ротмистр-колчаковец, а рядом мальчишка с кнутом. А на коленях около мальчишки стоит молоденький офицеришка и пульс щупает.

Давно не виделись, а признал я его. Подбегаю к нему, ору: «Руки вверх!» Узнал ли, не узнал ли он меня, не знаю. Но про свой револьвер вспомнил. Вытаскивает его и к... своему виску. Хорошо, я его снизу штыком по руке... Кожу сняло, череп царапнуло, но не пробило.

Вот и все. Доктор говорит — через неделю можно повязку снять. Теперь мы квиты.

— А дальше-то он как? К кому пойдет?

Лидке очень хотелось услышать: «Ясно к кому — к красным! Они же за народ». Но Демид сказал другое:

— Это его дело. Пусть сам думает. Если душой переменился, с нами останется. А если отцовская кровь заиграет, обратно утечь может... Ну ладно, Чапаенок, отдыхай! Набирайся сил. Говорят, сегодня комсомольское собрание будет. Прием на повестке. После к тебе, наверно, целым скопом придут...

Лидка слушает Демида. Интересно. Но очень хочется, чтобы быстрее захлопали в доме двери...

Фельдшер! Все из-за него. Она вполне могла бы пойти на собрание и сама, если бы кто-нибудь поддерживал. Так нет ведь — не пускает. Вот теперь и мучайся в неизвестности, жди...

А ждать пришлось действительно долго. Уж кончила возиться у печи бабка Акулина. Дед Онишка давно высвистывал на полатях носом, когда в избу ворвалась Настя Вяльцева. Она раскраснелась и была такая сияющая и радостная, что Лидке сразу передалось ее настроение.

— Ну, ну! Чего там было? С чего началось? — нетерпеливо дергала она Настю.

— С чего, с чего! Сначала стол принесли, красной скатертью накрыли... Потом...

Лидка досадливо отмахивается:

— Ну чего это ты заладила про стол, про скатерть? Ты самое главное... говори...

Настя споткнулась и даже немного обиделась:

— Я хотела по порядку.

— Ну ладно, давай по порядку, — смягчилась Лидка.

— Ну, это, значит, выходит вперед Дмитрий Андреевич...

Лидка больше не перебивает подругу, а то Настя совсем рассердится. И ищи тогда другого рассказчика... А вдруг никто не захочет? Лидка подтягивает суконное одеяло на колени, слушает. И перед ней развертывается все, что происходило этим вечером в сельской школе.

Вступающих в комсомол немного — всего восемь человек. Но школа переполнена. Тут и коммунисты, и беспартийные, и деревенская молодежь, приглашен-

ная на собрание комсомольцами-чапаевцами. Сиде
негде — парты растащили на дрова. Поэтому распол
жились кто где мог: на подоконниках, на полу, на ст
пеньках низенькой сцены.

За столом начальство — знакомое и незнаком

Первым принимали в РКСМ Петьку Козлова. С
держался молодцом. На вопросы отвечал сразу и гром
ко, так, что слышали даже в самых дальних ряда
Только по единственной оплошности можно было дог
даться, что волнуется,— забыл снять свою фуражку
лакированным козырьком. А когда сказали ему об это
покраснел, смешался и стал яростно мять ее больши
и сильными руками взрослого мужика.

Вторым к столу на сцене вышел Колька из Суров
ского эскадрона, которого за горбатый нос, смуглы
цвет лица и кудрявый чуб все звали Цыганом. Он
возражал и, казалось, всем своим поведением и привы
ками старался поддерживать авторитет пришедшегос
по душе прозвища: лихо плясал, носил мягкие кавказ
ские сапоги без каблуков, оглушительно свистел, зало
жив три пальца в рот.

Ну и храбрый был — не отнять. И по джигитовк
и по рубке лозы не всякий с ним мог сравниться. Фами
лию Колькину до сей поры никто не знал. Привыкли —
Цыган да Цыган. Лидка думала раньше, что у не
совсем нет фамилии так же, как нет матери и отц
В чапаевцы попал из беспризорников. А у него, оказы
вается, фамилия есть. Да еще какая! Сладкопевцев

Пока стоял на сцене перед народом, смотрел почему
то в потолок и все время чему-то улыбался.

Потом комсомольский билет вручали пулеметчик
Федьке Шорникову, подростку, который стеснитель
прикрывал рот ладонью. Вопросов ему не задавал
В последней рукопашной схватке выбил ему беля
прикладом сразу четыре передних зуба. Перехвати
у него тогда Федька винтовку и тем же приклад
прибил насмерть и этого, который ему двинул в зуб
и еще трех колчаковцев. Так что какие уж тут вопросы.

А веселого, разбитного, всегда находчивого Леш
Самарцева просто не узнать. Мнется, мыкает, дерга
себя за огненный вихор. Принял билет — поклонилс
Вот тебе и «мой генерал!»... А тоже любитель над др
гими насмешки строить...

Несмелой рукой принимает из рук начальни

политотдела белую книжечку Настя Вяльцева... Стала еще красивее от волнения.

...Почему же о ней, о Лидке, ни единого слова? Она подала заявление о приеме в комсомол еще до Уфы. Носила на проверку к Фурманову — нет ли ошибок? Трижды переписала. Каждый день ждала этого собрания. Неужели не приняли? Лидка ревниво смотрит в глаза подруги и тревожно спрашивает:

— А меня?

И вместе с ней ждут ответа Насти раненный в плечо большевик Демид Хлебников и артиллерист Миша Досужий, и даже прапорщик, поднявший над подушкой белый шар головы.

Настя быстро тушит опасения Лидки:

— А когда твое имя назвали, хлопали громче всех... Вопросов, говорят, нет. Знаем Чапаенка. Достойна!

А потом к Лидке пришли Леша Самарцев и Изя Шапиро. Леша сразу же с порога начал шутить, балагурить:

— Привет лежебокам! Заштопали? Эх, мне бы полежать в такой благодати.

Несколько дней не видела Лида Самарцева, соскучилась по его острому языку, рыжему чубу и охотно ответила:

— Заштопали!

Вскоре разговор перешел на собрание. Леша чуть ли не каждого вступавшего в комсомол разыгрывал в лицах:

— А Федот Божков вышел за билетом красный как рак. Руки не знает куда деть. Кланяется и говорит начальнику политотдела: «Благодарю покорно!»

Но тут Самарцева срезал Изя Шапиро:

— А сам-то хорош! Речь хотел закатить, а слово сказал и молчит, как в рот воды набрал.

Леша смутился, но тут же нашелся:

— Это я поперхнулся. Горло перехватило. С кем не бывает...

Пришел Дмитрий Андреевич. Он принес Лидке комсомольский билет, белую книжечку с силуэтами Карла Либкнехта и Розы Люксембург на обложке. Отдал Лидке билет, поздравил, поцеловал ее и сказал:

— Запомни этот день, Лида! И номер билета запомни — триста шестнадцать! Пройдут годы, и когда-нибудь ты с гордостью скажешь молодым: «Мы всту-

пали в комсомол в трудное и счастливое время. Мы были первыми!»

Он оглядел комнату, понизил голос, вспомнив, где находится, и сделал руками такое движение, будто хотел обнять всех, кто здесь был. Леша, Изя, Настя сидели на своих местах притихшие, взволнованные, и во все глаза смотрели на любимого комиссара. Блестели из-под туго натянутого солдатского одеяла глаза артиллериста. Одобряюще покачивал головой Хлебников.

Фурманов провел рукой по усталому, бледному, но гладко выбритому лицу, как будто снимая с него усталость, и снова заговорил задушевно и просто, обращаясь на этот раз уже ко всем, а не к одной Лидке:

— Чур только, друзья, носа не задирать. Выгоним Колчака, спихнем японцев в море, и другая жизнь начнется. Умная, светлая, красивая.

Самарцев решил поспорить:

— А как же, товарищ комиссар? В ... ит, никакой борьбы не будет? А зачем же тогда в песне поется «И вся-то наша жизнь есть борьба»?

— Обязательно будет борьба, Самарцев! Обязательно! Только враг другой появится. Нам надо будет на разруху, на голод, на нашу отсталость и неграмотность в атаку идти. Только в первых рядах атакующих не солдаты со штыками пойдут, а инженеры, врачи, музыканты.

— А откуда же они возьмутся? — совершенно искренне удивилась Лидка.— Если старые, так они, многие на Советскую власть только из подворотни смотрят...

Комиссар хитро прищурился:

— Из нашего же брата. Самарцев, насколько мне известно, любит порох выдумывать. Значит, быть ему химиком. Вяльцева спит и видит себя детским доктором. Шапиро — этот в консерваторию пойдет. Будет профессором музыки. А ты, Лагунова... не знаю... Не определил еще твоих настроений. Может, учительницей будешь. А может... Ну-ка скажи сама!

— А морским капитаном можно?

Лидка только что прочла книжку о моряках, и ей так понравился там капитан, так здорово справлялся он со штормами и бурями, что ей захотелось стать обязательно такой же, как и он. К морякам у нее вообще дав

няя симпатия — до сих пор не может забыть ни Артема, ни Луйка.

Лидка думала, комиссар будет смеяться. Ничуть не бывало. Он был совершенно серьезен:

— До сих пор нельзя было. А вообще-то, почему же? Наверное, можно. Сейчас женщина все может! И корабли водить, и в воздухе летать. В летчицы не хочешь?

— Сначала в капитаны! — твердо сказала Лидка, хотя и против того, чтобы быть летчицей, она тоже ничего не имела. Но решила, что это еще успеется. Нельзя же сразу все...

Этот день для Лидки был двойным праздником. Как-то она с грустью призналась Насте, что дома никогда не устраивали елки, никогда не отмечали именин: не на что было. И Настя, как бы невзначай, спросила, когда у нее именины. Лидка сказала и сама давно забыла об этом разговоре. А Настя не забыла. Предупредила разведчиков.

Они принесли подарки и сконфузили Дмитрия Андреевича. Он охлопал себя всего, но в карманах, кроме исписанного блокнота, ничего не нашел.

— За мной будет, — пообещал комиссар и укоризненно погрозил ребятам пальцем. — Как же вы меня подвели, а? Не предупредили... Тоже друзья-товарищи...

Настя подарила Лидке маленький флакон духов. Изя — книгу Пушкина «Капитанская дочка». Протягивая ее, он сказал:

— Прочитай, Лидка. Это про Пугачева и про хорошую любовь.

Самарцев, как всегда, иронизировал:

— Эх, вояки-горюшко! Духи «фи-фи». Книжечки про сладкую любовь. — Он вытащил из кармана массивную зажигалку. — Во! Держи, Чапаенок! Это тебе, чтобы не потухал огонь мировой революции. Как, правильный подарок, товарищ комиссар? — посмотрел Леша на Фурманова, ожидая поддержки.

Тот лукаво скосил глаза на Лидку, которая, вытащив пробку, с наслаждением вдыхала удивительный запах, и ответил:

— Зажигалка, конечно, для курящего человека вещь неплохая. Но на мировую революцию, пожалуй, не потянет. Тут книжка посильнее будет.

— И Пушкин?

— И Пушкин.

— И духи? — все еще не сдавался Самарцев.

— И духи, должен тебе сказать, товарищ Самарцев, тоже не хуже зажигалки. Они революции никак помешать не могут...

Настя, хоть и была в глазах Лидки и взрослой, и очень выдержанной, обрадованно захлопала в ладоши:

— Что, Леша? Получил?

В окно кто-то постучал. Леша открыл окно.

— Комиссара надо! — донеслось из темноты. — Пленные говорят, что среди них [illegible] полковник переодетый находится...

Дмитрий Андреевич пригладил [illegible], натянул фуражку:

— Вот ведь, только разговоришься с молодежью, раскроешь душу, а ее уже [illegible] собирать надо. Я думаю так, ребята: чем [illegible] сейчас, тем ярче она расцветет после победы. [illegible] мир открытых и честных сердец. Мир радости [illegible]. А пока... Пока надо воевать. Ну, Лидия [illegible]на, давай я тебя еще раз поздравлю. И, [illegible], поправляйся быстрее! Дел у нас, сама понимаешь, [illegible]оворот.

Когда все ушли и Мишка До[illegible], [illegible] губастый парень, каждый день [illegible] отписать его обратно к пушкам, потушил лампу, к Лидке неслышно подошла Акулина.

— На-ка тебе, дитятко, — зашептала она и, нащупав Лидкину руку, всунула ей оловянную кружку с ореховыми ядрами, очищенными от скорлупы. — На-ка, еще стариковский гостинчик. У тебя сегодня ведь праздник вроде именин. Не грех орешки погрызть... Всем-то я не даю — мало осталось. А тебе можно, дитятко...

Лидка осторожно поставила кружку на пол, приподнялась с тюфяка, обняла старуху за худую морщинистую шею и поцеловала.

— Спасибо тебе, бабуся!

ПОБЕГ ИЗ ЛАЗАРЕТА

Невелик и небогат походный чапаевский лазарет, а хлопот он доставлял немало. Не хватало лошадей и повозок. Приходилось скандалить с зажиточными мужиками и казаками — хозяевами больших и просторных изб.

Старый фельдшер Виталий Порфирьич, человек с раздвоенной заячьей губой и толстыми пальцами, поросшими рыжими волосами, каждый раз после взятия села или станицы с больницей отправлялся на поиски халатов и шлепанцев. Но в больницах лежали свои больные: их не разденешь. А если и были в кладовках больниц кое-какие излишки белья и одежды, так у сестры-хозяйки их ни за что не выпросишь.

Выручил начальника лазарета командир роты Домашкинского полка Ефим Еремеев. В подвалах уфимской тюрьмы, из которой его рота по приказу Чапаева освободила заключенных, он нашел целый завал новеньких арестантских халатов с разноцветными тузами на спинах. Найденное тюремное добро он отправил на подводах Виталию Порфирьевичу. Тот на радостях наградил находчивого командира стаканом медицинского спирта. И вот все раненые, лечившиеся в походном лазарете, стали носить арестантские халаты. Тузы было решено отпороть, но на эту несложную операцию все как-то не хватало времени, а потом и просто привыкли к ним — перестали замечать.

На Лидкином халате тоже красовался бубновый туз из куска какой-то плотной зеленой материи.

За две недели болезни так опротивела Лидке лазаретная жизнь, что она только и ждала случая, как бы улизнуть оттуда. Она бы убежала и так, да обмундировки ее боевой нет под рукой. Далеко и надежно прятала личную одежду бойцов громадная, с мужским громовым басом Прасковья Ниловна — помощник начальника лазарета по хозяйственной части: сколько ни упрашивала ее Лидка, тетка была неумолима.

— Не торопись в пекло. Рану на рану не кладут. Пусть от казацкой нагайки сначала синяки заживут. Не проси — не дам!

И, поняв, что ждать милости от тетки Прасковьи — дело безнадежное, Лидка убежала из лазарета. Сбежала после обеда, когда фельдшер укладывал своих раненых на «мертвый час». Сбежала, как была, в тюремном халате, шлепанцах, в белой косынке, на которой сама, прослюнявив карандаш, нарисовала маленький красный крестик.

Появление ее среди разведчиков было таким неожиданным, что Щербаков даже растерялся:

— Откуда ты, Лидуша? — почему-то спросил, хотя отлично знал, где она находилась, сам позавч... принес ей большой кусок сахару.

Лидке стало смешно.

— А вы на спину мою посмотрите, товарищ ком... дир! — И повернулась к Щербакову своим бубнов... тузом.

Двор большого казацкого дома, где остановил... разведчики, наполнился веселыми и обрадованн... голосами Лидкиных приятелей.

— Чапаенок вернулся!

— Ого! Наряд-то у нее какой. Заглавного коз... подцепила!

— А что вы думаете? Теперь ей в разведку в сам... пору идти. Белые не тронут: за свою примут. Ска... что в большевистской тюрьме сидела,— поверят.

Только радость Лидки была очень короткой. ... глядя ей в глаза, выбивая давно потухшую трубк... каблук сапога, Щербаков сказал:

— Придется тебе, Лида, вернуться в лазарет. Не де... это — убегать от доктора, недолечившись. Чапаев кр... у нас насчет дисциплины. И тебе попадет, и мне влет... Дисциплина — она, брат, на войне — необходим... вещь.

— Пусть остается, товарищ командир,— заступил... за Лидку один из пожилых разведчиков, беря ее ... руку.— Мы ее сами выходим. На ходу быстрее попр... вится.

Остальные одобрительно загудели. Щербаков обв... своих бойцов внимательным прищуренным взгляд...

— Ну, так и быть. Только прячьте ее хорошеньк... Завтра Заячья Губа переверпет все подстилки. Уж р... взяли на себя, так не выдавайте.

На другой день к разведчикам пришла разгнева... ная Прасковья Ниловна и учинила скандал. Но ... к ее удивлению, сами помогали ей в поисках и зая... ляли, что в их расположении и духу Чапаенка не был... Убедили они голосистую помощницу Заячьей Губ... или нет — неизвестно, только, уходя из щербако... ского отряда, она вытащила из чистой наволочки, к... торую принесла с собой, буханку городского хлеб... два пакетика сахарина и плитку английского ш... колада.

— Отдайте ей. Нам чужой паек не нужен. До выш...

ки семь дней осталось. Вот тут на неделю и есть. Ну а крупы с солью у вас у самих хватит.

Лидка смотрела на хлопоты тетки Прасковьи в чердачное окно и чуть было не прыгнула вниз, чтобы броситься ей на шею. Это ведь только с виду тетка Прасковья грозная и сердитая, а сердце у нее доброе, как у матери.

Но не прыгнула Лидка. Отсиделась на чердаке в пыли и паутине, пока сурово насупившаяся и обиженная тетка не ушла в свой лазарет.

Во дворе ребята разбирали и собирали пулемет, раскладывая детали на чьей-то аккуратно разостланной шинели. Разбирали, а потом собирали медленно, подолгу вертя перед глазами какую-нибудь пружину или шток.

Метрах в двух от чапаевцев, прислонившись узкой худой спиной к молодой липе, стоял недавно зачисленный в разведку Юрка Решетилов и презрительно щурил маленькие ехидные глазки. Его слишком независимый характер пришелся явно не по душе ребятам. Ну хорошо, из беспризорников, на четырех фронтах был, два раза ранен. А зачем нос задирать? В здешних боях не был. В разведку не ходил. На подрывном деле не отличился. Чего же тут особенного? Нечего форсить — считали ребята.

Смотрел Юрка, смотрел, вдруг шагнул в середину круга.

— А ну завязывайте глаза! — И опустился около пулемета.

— Вот герой выискался!

— Фокусник базарный!

Но как бы там ни было, а ребятам интересно — неужели такой ловкий этот Решетилов? Проверить не мешает.

Лидка, открыв рот, как на волшебника, смотрела на Юрку, а тот, улыбаясь и пошмыгивая носом, в одну минуту собрал, а потом разобрал «максимку». Ребята сидели притихшие, покоренные.

— Есть вопросы? — спросил Юрка, не снимая с глаз повязки.

— А «гочкис» можешь? — неуверенно предложил кто-то.

— Давай сюда твоего англичанина, — махнул рукой Юрка.

— Ловко, товарищ, ловко! — одобрил Щербаков, появившийся в этот момент, когда Юрка заканчивал сборку «гочкиса».— Если еще так же и стреляет, значит — солдат ценный для мировой революции.

— Ну чего уставилась? — [illegible] Решетилов, когда все разошлись и перед ним [illegible] одна Лидка, до сих пор не отводившая от некрасивого и злого лица Юрки восхищенного взгляда.

— Вот бы и мне так...— чуть ли не шепотом сказала Лидка.

Юрка осмотрел [illegible] и презрительно рассмеялся:

— Чего [illegible]? [illegible] это мужская профессия. Понимать надо... А халатик у тебя ничего.— И он потянул за поясок тюремного халата. [illegible] на бал, [illegible] на прием к губернатору...

Разозлилась Лидка. Сейчас вцепится в противную Юркину [illegible]. [illegible] над бедным чапаевцем, [illegible] отличи[illegible]. Сразу позабудет свои дурацкие шуточки!

— Ты что, под арест захотел, сукин сын?— вдруг раздалось за его [illegible].— Я думал, настоящего бойца [illegible], а он зазнается — [illegible] паршивый. Чего над девчонкой изгиляешься?

Юрка съежился под гневным [illegible] Щербакова. Но ничего возразить не посмел.

Переступая с ноги на ногу, [illegible] надежды, что все может повернуться иначе, Лидка сказала:

— Он с пулеметом здорово управляется. Думала — меня научит... Страсть как хочется по камере из пулемета строчить...

— Ну а он что? Не согласен?

На лице Юрки полное равнодушие и скука. Но это для видимости.

— Мне что,— роняет он с достоинством.— Обучу. Было бы на чем...

Но, когда через два дня Лидка подошла к Юрке, чтобы напомнить ему его обещание, он посмотрел на нее так, будто видел впервые:

— Простите, мисс... Простите... Мы с вами незнакомы.

Видимо, без ехидства Юрка никак не мог.

Лидка повернулась и быстро зашагала обратно

А Юрка всполошился. Уж не жаловаться ли? Он догнал ее и пошел рядом.

— Подумай сама, какой из тебя пулеметчик! Тут сила и крепость мужские нужны. Во-о-о!— Он засучил рукав гимнастерки. - Потрогай! Ну?

Лидка уважительно потрогала и сказала:

— Ого!

Удовлетворенный испытанием, Юрка продолжал:

— Тебя же на пулемете трясти будет, как муху на дверной ручке. Вот, когда с мое будет у тебя здесь,— он похлопал ладонью по обнаженной руке,— тогда и поговорим...

Лидка не стала спорить. По утрам, забравшись куда-нибудь в укромное место, где ее никто не видел, она до изнеможения размахивала руками, сгибала и разгибала их, отталкиваясь от земли и снова припадая к ней. И вот пришел день, когда она решила, что силы у нее теперь достаточно. Решетилова нашла в пустом, с вынесенными взрывной волной рамами доме. Он стоял на коленях перед подоконником, на котором были расставлены нехитрые принадлежности солдатского туалета: осколок зеркала, старая, истонченная чуть ли не до ширины шила бритва, стеклянная банка с мыльной пеной и пучок сухой травы. Трава — это вместо помазка.

Юрка брил бороду. Вернее сказать, не столько брил, сколько пытался вызвать ее к жизни, потому что реденькие, кое-где пробивавшиеся, совсем незаметные волосенки можно было назвать бородой только при большом воображении.

Юрке не терпелось. Он мечтал об усах, рассчитывая, что они скрасят его физиономию, а может быть, даже и нос благодаря им будет казаться не таким кривым. К тому же от многих Юрка слышал, что чем чаще брить, тем быстрее растет. И он старался.

Юрка увидел Лидку в зеркале и смутился.

— Тебе чего?— недружелюбно спросил он, ожесточенно скребя острый подбородок.

Хитрая Лидка, желая ему польстить, сказала:

— Может, тебе лучше с усами-то... Зря, поди, бреешь.

Юрка неопределенно хмыкнул. Потом, изображая из себя человека, безразличного к своей внешности, пренебрежительно махнул рукой:

— Ну к чему мне эта растительность на лице! Трава должна не под носом у человека расти, а на земле.

Лидка, не зная, что ему на это ответить, протянула, стараясь попасть в тон:

— Ясное дело...

Когда Юрка наскоро ополоснул свое лицо и протер его крупным, в синюю и красную клетку носовым платком, Лидка без лишних объяснений оголила по самое плечо правую руку и согнула ее в локте.

— Вот, потрогай.

— Ты чего это мне свои мосолыжки кажешь? — удивился Юрка.

— Так ты же сам сказал — на пулемет сила нужна,— обиженно ответила Лидка, уже теряя надежду на благополучный исход дела.— Все время зарядку делала, как велел, занималась. Да пощупай же. Они у меня, как у тебя, твердые. Ведь сам учил зарядкой заниматься. Вот я и занимаюсь.

По кошачьим глазам Юрки Лидка поняла, что не ошиблась.

— Это другое дело,— сказал он, деловито постукав ребром ладони по Лидкиной руке.— Выберу свободный час — приходи, буду уроки давать.

И совсем не таким уж задавакой и воображалой оказался этот Юрка. Он вошел в роль учителя и теперь сам приставал к Лидке, когда нечего было делать:

— Ты чего лодырничаешь? Пулемет не винтовка. Он постоянного упражнения требует. Раз напросилась, так слушайся.

Когда Лидка путалась в названиях частей или раскладывала их при разборке не в том порядке, Юрка Решетилов быстро мешал в одну кучу все, что было разобрано, и властным командирским голосом приказывал:

— Пошла по новой!

И Лидка старалась до седьмого пота. Знала: не похвалит Юрка перед Щербаковым — значит, не стрелять ей из боевого пулемета по казаре. А пострелять ей хотелось в белую сволочь до слез. Наган или винтовка, конечно, тоже оружие. Только много ли гадов уложишь из них? Хорошо, если на выстрел по одному. А тут повел справа налево — тат-та-та! — целый десяток беляков скосить можно. На учебные стрельбы пулеметные ленты в полку не тратили. Наводкой, сухой

пристрелкой занимайся сколько хочешь, а стрелять только в бою. Берегли боеприпасы. Юрка сдерживал Лидкино нетерпение.

— Ты у меня еще экзамены сдавать будешь. Пока по-моему, с завязанными глазами, не соберешь «максимку», не выпущу из своей академии. Меня знаешь как в матросском отряде до лазарета на пулемете жучили? Бывало, сплю, а руками все воздух хватаю: вот тут затвор, тут глушитель, тут приемник...

Однажды Юрка не вернулся из ночной разведки. Щербаков встревожился. Посылали его в башкирское село, занятое белыми, к одному верному человеку.

Целый день прождали Юрку. Он не появлялся. К вечеру к разведчикам прибежал батрачонок местного попа Илюшка. Он долго не мог отдышаться. Потом, выпив кружку воды, выпалил:

— Ваш Решетников в балке лежит... Ногу сломал...

Балка была верстах в шести от хутора, где расположился штаб Разинского полка с разведкой.

Щербаков велел снаряжать тачанку. Поехал сам, взял с собой Лидку и Илюшку. Батрачонок с закрытыми глазами мог показать дорогу на двадцать верст в любую сторону. Все исходил с поповскими лошадьми и коровами, которых пас уже третий год.

Днем прошел дождь, и конские копыта почти не издавали звука. Только изредка поскрипывали рессоры тачанки. А Лидке казалось, что это стонет от боли Юрка.

Конечно, был и страх, была жалость к Юрке, было желание выручить его из беды. Но, пожалуй, самым сильным чувством была гордость. Она распирала Лидкину грудь, рвалась наружу. Ведь не кого-нибудь, а ее, Лидку, Щербаков посадил к пулемету. Пусть налетают враги! Хоть сто, хоть двести! Они узнают, как расправится с ними Чапаенок!

— Ой!

Лидка вскрикнула так неожиданно и громко, что Щербаков остановил коней.

— Голова...— застонала Лидка.

Выхвачен из-под сиденья укутанный в ковыль фонарь «летучая мышь». Щербаков сбрасывает с себя шинель и передает ее батрачонку.

— Заслоняй!

Второй чапаевец, дядя Игнат, который правил ло-

шадьми, тоже снял свою шинель. Лидка понимает — это чтобы белые не увидели огонек. На ровном месте далеко видно. Пустят погоню — разве с одной тачанки отобьешься. Понимает она, что подводит своих боевых товарищей. Хочет сказать, что не надо этого делать, что пройдет. Просто стукнулась раненой головой, когда колесо подпрыгнуло на камне, о край пулеметного щитка и... все. Пройдет!

Слова застревают где-то глубоко в горле. Хочет махнуть рукой: не надо, мол, не возитесь со мной. Но рука стала тяжелой, не поднимается... А по лицу что-то течет липкое, густое и соленое, заливает глаза, попадает в рот...

Она слышит, как Щербаков ругается вполголоса, сквозь зубы:

— У, старый дурень, вояка чертов, взял ребенка на погибель! Ей в лазарете лежать, а ты ее на казацкие пики попер во тьму египетскую...

Ругал Щербаков, конечно, себя.

Он туго перебинтовал Лидкину голову, и ей сразу стало легче.

Всю ночь искали Решетилова. На том месте, которое показал батрачонок, его не нашли. Свистели условленным свистом, обшаривали кусты на склонах и на дне балки — Юрки не было. Только на рассвете обнаружили его совсем в другом конце балки в глубоком обмороке, с распухшей, негнущейся ногой.

Вернулись назад без приключений. В дороге Юрка пришел в себя, понял, что беда миновала, и, превозмогая боль, по своему обыкновению, стал паясничать:

— Не знал, что вы так ко мне привязаны, Лидия Григорьевна! В спасительницы, значит, записались... Выслуживаетесь... Надеетесь, может, на то, что при выпуске из моей академии вам послабление выйдет...

— Лежи, лежи, не храбрись! — сурово прикрикнул на него Щербаков. — И до чего же паршивый у тебя язык, парень... Хоть оторви да брось!

Въехали во двор, и сразу сюрприз: там их уже ждали Заячья Губа и Фурманов. Увидев окровавленную повязку на Лидкиной голове, фельдшер так и взвился. Он тыкал короткими волосатыми пальцами в грудь Щербакова и наступал ему на носки сапог.

— Чья работа? Нет, ты мне ответь, кто виноват? Детишек раненых к черту в зубы бросать? А? Она убе-

жала — ты принял. А у меня на другой день за ней еще двое по ротам разбежались. Кто виноват, а?

Он наступал на Щербакова столь стремительно и говорил так быстро, что тот не успевал ничего возразить и только молча пятился в глубь двора.

Добрый и простодушный Виталий Порфирьевич разошелся не на шутку. Он ругался на чем свет стоит, грозился пойти к Чапаеву, призывал в свидетели комиссара, который в это время с тревогой осматривал раздувшуюся ногу Юрки.

«Неужели обратно в лазарет? — с испугом думала Лидка.— Вот попалась! И надо было наехать на проклятый камень. Не было бы крови — и шуму бы не было».

Но окончилось все не так уж плохо, как ожидала Лидка...

Щербаков слушал-слушал фельдшера, отступал, отступал... Потом разозлился и сам перешел в наступление:

— Ты мне Чапаевым не грози! У меня разведка, не детский приют. А Чапаенок мне в деле — во как необходима! На ней, можно сказать, половина дела держится. В лазарете она только изнывала от тоски да от ваших паршивых порошков. От хорошей жизни из лазарета не сбегают. Как арестантов, больных держишь. Тузы на спину вешаешь...

Лицо толстого фельдшера стало еще багровее. Он не ожидал такого сопротивления и опешил.

Фурманову с трудом удалось разнять разбушевавшихся начальников. Юрку на той же тачанке без пересадки отправили в лазарет. А Лидке было приказано на следующий день явиться в дивизионный штаб.

— Я думал, ты с грамотой дисциплинированней станешь,— строго заметил ей Дмитрий Андреевич.— Ошибся, выходит. Придется пройти с тобой этот предмет особо. Прикомандировываю к штабу. Возьму под личный контроль. Ясно?

ЗОЛОТО

Отбушевала белая метель яблоневых садов, а степь все цветет. Такое яркое разнотравье, такие дурманящие запахи стоят в воздухе, что раскинешь руки — и кидаешься в эти травы, цветы и запахи, как в целебное море.

Полежишь на спине, полной грудью вдыхая в себя крепкий здоровый настой молодого степного лета, последишь бездумно за белыми легкими облаками в неестественно синем небе — и поднимаешься с ощущением необычайной силы и радости. Хорошо жить на земле, быть нужной людям и иметь добрых товарищей! Хорошо, когда вокруг тебя вот такая чудесная природа, быстрее всяких врачей восстанавливающая здоровье!

Вот выгнать бы еще беляков из этих степей, обезвредить кровожадных, озверевших казаков, чтобы везде над городами и селами красные флаги взмыли,— тогда бы Лидка была совсем счастлива. Что будет потом, она представляла смутно. Но это потом должно быть обязательно очень светлым и необычайно интересным. Свое собственное будущее она не определяла. Дмитрий Андреевич сказал, что, возможно, из нее выйдет учительница. Она же заявила, что хочет быть морским капитаном. Потом подумала, подумала и решила стать летчицей. Ребята тогда долго смеялись, шутили над ее жадностью. Все самые лучшие профессии хочет захватить. А чего тут смешного? Ведь как это здорово — уметь все! Поучила, допустим, зиму школьников разным наукам, а на лето в море на пароходе уплыла. Объехала земной шар, потом красивый дом с колоннами, как на бывшей Дворянской, для бедных людей выстроила. Для таких, которые всю жизнь в подвалах ютятся.

Ну а когда будет закончен дом и Лидка проследит, чтобы в него не въехал кто-нибудь из бывших буржуев, можно будет записаться в летчики. Слетает куда-нибудь, куда пошлет командование, и поставит перед начальством условие, чтобы разрешили слетать в Самару. Опустится на базарной Троицкой площади. Новенькая кожаная куртка на ней. На глазах — громадные очки. Само собой — краги. Через плечо — планшетка. Ну, точь-в-точь как у тех летчиков, которые служат в Чапаевской дивизии и разведывают сверху беляков. Народ, конечно, удивится. А она скажет, чтобы покараулили ее самолет, и пойдет навестить своих. Люди дорогу ей уступают, оглядываются, ребятишки на заборы влезают, глазеют, завидуют. Не каждый день военные летчики в Самару прилетают...

...А вот и дом. Братишки и сестренки высовываются, узнают и не узнают ее, мать и отца зовут посмотреть

на какого-то необычного военного, который смело идет к ним и приветственно помахивает рукой...

— ...А я думаю, где это Чапаенок пропадает? Куда она от людей так часто бегает? А ты, оказывается, белых барашков по небу гоняешь... Ну, плясать будешь?

И жалко Лидке, что вспугнул Василий Петрович ее сладкий сон, и рада тому, что он принес ей какую-то добрую весть.

У него привычка: если хочет обрадовать знакомого человека, всегда начинает с предупреждения: «Сначала спляши!»

Впрочем, он не требователен. Достаточно два раза топнуть каблуком о землю, и он уже доволен: уважили старика. И тут же выкладывает приятную новость или вручает письмо.

— Держи! Письмо тебе из дому.

Вот так радость! Лидка готова была снова пуститься в пляс. Протянула руку.

— Давай, дядя Вася!

Дядя Вася любовно пошуршал в огрубевших пальцах конвертом и спрятал его за спину:

— А ну, отойди на пять шагов, стрекоза. Я вот твое письмо буду тебе вслух читать. И чтобы ты не заглядывала, не подсказывала. Сам.

— А может, там...— заикнулась было Лидка.

— Может, чего не для разглашения?.. Так не бойся, я только конверт прочитаю. На все-то у меня пороху не хватит.

Пока Лидка лежала в лазарете, дядя Вася здорово усовершенствовался в грамоте. Он сначала читал про себя, сморщив лоб и шевеля губами. А потом действительно произносил почти без запинки целые слова и даже несложные фразы.

«Восточный фронт. Штаб двадцать пятой дивизии, рядовому Лидии Григорьевне Лагуновой...»

— А от кого там написано?

— Написано: «Город Са-ма-ра. Александр Лагунов». От брата, значит... Теперь сама читай.

Письмо было действительно от Саши. Он после Дмитрия в семье самый грамотный. Вон как красиво пишет! Почти как полковой писарь Гончаров. Лидке бы так научиться! Впрочем, она уже многому научилась за это время. Читать научилась? Научилась. Из пистолета стрелять научилась? Научилась. На лошади гало-

пом скачет? Скачет. Пулемет разбирает? Разбирает. Ну и красиво писать научится.

Сашка описывал, как обрадовались дома, когда получили от нее, Лидки, первое письмо. Мать долго не верила. А отец показывал его всем своим знакомым и вслух зачитывал приписку комиссара.

Дома все здоровы. Отец по-прежнему на железной дороге. А он, Сашка, ого какой важный начальник! Его осенью, когда Лидка ушла на фронт, приняли в комсомол. А теперь он сам уже в Коммунистический Союз Молодежи ребят принимает, работает во Втором райкоме комсомола, заведует в нем агитмассовым сектором.

А дальше Сашка жаловался. Дважды в городе объявляли комсомольскую мобилизацию. Дважды он записывался добровольцем. И оба раза его отправляли со сборного пункта домой. Вышел какой-то приказ, по которому из армии [illegible] все лица моложе семнадцати лет. Так [illegible] и Лидка скоро домой вернется...

У Лидки похолодели кончики пальцев. Неужели отчислят из дивизии? Не может быть! Интересно, знают в штабе об этом приказе или не знают? Если не знают, она просто никому не покажет письма — и все.

Видимо, по выражению Лидкиного лица поняв, что есть в весточке из дому что-то тревожное, дядя Вася спросил:

— Может, неладно что?

Поспешно глотая слова, пропуская самое главное и тайное, Лидка читала дяде Васе про то, что в Самаре идет сбор сухарей и хлеба для голодающих рабочих Питера и Москвы, про то, как чекисты и комсомольцы воюют со спекулянтами. Прочла и о том, что Борьке из меховой горжетки, которая досталась по ордеру Лидке, сшили зимнее пальто. Верх по пояс из меха, а низ по колено из стеганой ваты.

Особенно интересно и подробно Саша описывал, как он со своими друзьями Сережей и Женей Ильиными, Лизой Булушевой, братьями Матякиными и Иосифом Галкиным организовывал Второй городской райком комсомола.

Но все это дядя Вася слушал без особого интереса. Лидка еще не успела дочитать письмо до конца, он уже поднялся с травы. И вид у него был озабоченный и за-

думчивый. Лидка испугалась: «Уж не догадался ли он, что она утаила от него самое главное?»

Нет, оказывается, дядю Васю больше всего задело сообщение о том, что самарские комсомольцы собирают сухари для рабочих столицы.

— Эх, мы-то, дармоеды, и кулеш лопаем, и хлеб белый пшеничный уминаем, и мясом балуемся... А там у нас, наверное, ребятишки с голоду пухнут.

Никогда бы не подумала Лидка, что из-за нескольких строчек письма, которые она считала не такими уж важными, может подняться такой шумный разговор, который дойдет до каждого чапаевца всех трех бригад дивизии. Первым, кто узнал от дяди Васи, что Лидка получила письмо о делах самарских комсомольцев, был, конечно, Леша Самарцев.

Леша подъехал вечером к избе, где остановилась Лагунова, постучал в окно, вызвал Лидку на улицу:

— Ну-ка, Чапаенок, неси письмо!

Лидка, привыкшая во всем доверять Леше, повернулась и пошла за письмом, но тут же вспомнила строчки о приказе и остановилась.

— Ну чего ты?— удивился Леша.— Давай быстрее. Сейчас мы народ поднимем. Знаешь как закипит все!

— А я его уже порвала... Правда, правда...— вдруг зачастила Лидка.— Прочитала, значит, и — на мелкие части. Комиссар же учит, никаких лишних бумаг при себе не держать.

Но не так-то легко провести Лешу. Зажал Лидкину голову в ладонях, повернул лицо к себе, вонзился в него своими зеленоватыми глазами и спрашивает:

— Врешь ведь? Ну, признавайся!

— Вру.

Лидке стало неловко.

— Ладно. Принесу. Только ты не читай там одно место...

— Ради бога... Меня твои личные вопросы, так сказать, любовного содержания, вовсе не интересуют. Пропущу между глаз. Неси, что ли...

Между глаз он, конечно, ничего не пропустил. И то, чего боялась Лидка, прочел в первую очередь.

— Значит, этого, мой генерал, боитесь? Давай чернила или химический карандаш.

Лидка сбегала в штаб, принесла непроливайку с ученической ручкой. Подала Леше. Он с самым серьез-

ным видом обмакнул перо в чернильницу и густо замазал сплошным фиолетовым пятном опасное место.

— Вот так, мой генерал. Если спросят, скажешь, что так получила. Ясно? А теперь давай его мне.

И покатилась по дивизии [illegible] собраний и митингов. Сначала Леша прочел письмо Лидки на своей комсомольской ячейке. И тут же заявил:

— Стыд и позор, что [illegible] не додумались. Самарская ребятня на [illegible], да сухарями с Москвой делится. Мы чуть [illegible] пуза едим, а о своих товарищах, которые [illegible], даже не вспомнили. Давай свой хлеб [illegible] рабочим!

Сказать, что [illegible] Лидке в самый благоприятный момент [illegible] нельзя. После взятия Уфы чапаевцев [illegible] Уральский фронт. Надо было выручать [illegible] казаками Уральск.

Оренбургские [illegible] казаки собрали и двинули на совет[illegible] армию. Ее эскадроны гонялись по [illegible] за маленькими красноармейскими [illegible] и истребляли их, отбивали обозы [illegible] между частями и соединениями 1-й армии [illegible] делал попыток командарм Авксентьевский [illegible] Уральск из казачьей блокады, ничего у него не получалось.

А тут еще [illegible] себя командир 22-й дивизии Сапожков. Он [illegible] против казаков так нерешительно и [illegible] совсем обнаглели. [illegible] руках у них оказались [illegible] Пугачев, Новоузенск, они уже всерьез [illegible] о походе на Самару и Бузулук.

Вот тут-то и решил Михаил Васильевич Фрунзе послать выправлять положение на Уральском фронте Чапаевскую дивизию. Он верил в боевой дух чапаевцев, знал: где Чапаев, там и победа.

Дивизии приказано было сосредоточиться вдоль железной дороги. Каждой бригаде намечалась определенная станция, где она должна была высадиться и откуда ей полагалось выходить на Уральск.

Так что решать вопрос о продовольственной помощи голодающему населению двух самых главных советских городов приходилось уже в теплушках эшелонов.

Когда воевали на Восточном фронте и гнали Колчака в сторону Сибири, питались хорошо. Крестьяне, особенно из тех, в семьях которых были красноармейцы

угощали чапаевцев всем, что было лучшего в доме. И случалось, к походным ротным кухням в час обеда никто не подходил, не гремел котелком, не требовал добавки, а кашевар на чем свет ругался, жалея о напрасно затраченных усилиях и продуктах.

Теперь другое дело. Знай свой рацион — и не больше. Так что если отрывать, то не от излишков. Но коммунистов и комсомольцев это не смущало

— Давайте недельный паек хлеба отчислим,— на одном из митингов призвал Самарцев. — Я в каком-то журнале читал: человек может без пищи двадцать четыре дня прожить. Без воды — одиннадцать. Если, конечно, в тени, без солнца. А у нас вагоны. Не будем вылезать наружу, и получится все равно что в тени. А уж за неделю-то, ясно, ничего не случится. Разве только ремень на две дырки вправо передвинешь... Кто за?

Но не успел Леша посчитать поднятые руки, как на штабель досок, с которого он выступал, вскочил откуда-то появившийся комиссар дивизии:

— Подождите, товарищи, тянуть руки! Дайте мне слово.

Митинг шел на маленьком, затерянном в степи полустанке. Митинговали, пока ремонтная бригада исправляла развороченное белыми разведчиками железнодорожное полотно.

Дмитрий Андреевич удержал на штабеле Лешу, удивленного и даже обиженного вмешательством комиссара.

Леше было непонятно, почему тот его перебил. Если бы, допустим, Самарцев агитировал против, тогда другое дело. А то хочет как лучше выручить московских и питерских товарищей. И по глазам чапаевцев он видел, что многие сочувствуют ему, понимают...

Фурманов окинул взглядом толпу красноармейцев, в которой было много зеленой, еще необстрелянной, мало знающей, почем фунт солдатского лиха молодежи, и, дружески обняв Лешу за плечи, сказал:

— Очень хорошая смена у большевиков растет. Смотрю на комсомольцев и радуюсь. До чего же хорошие ребята! Ничего для революции не жалеют. Но порой и перехватывают в своем революционном рвении. Я не сомневаюсь: и Алексей Самарцев и вон, скажем, Чапаенок Лида Лагунова, и Шапиро, да и, наверное,

очень многие готовы принять предложение на недельную голодовку и каждый день затягивать на ремне по лишней дырочке. Только теперь давайте посмотрим, что из этого получится.

После голодовки вам дня три пешком до указанных позиций топать. А путь нелегок. Измотаетесь, а вам командуют: «В атаку!», вы же и подбородком вперед дернуть не сможете. Так вас казаки голыми руками и накроют. Нет, друзья! Всему есть мера и край. Истощать себя вам никто не позволит. Советской власти нужна мощная, сильная и здоровая Красная Армия. И лучшей помощью нашей Москве и Питеру будет наше успешное наступление. Чем быстрее вырвем из рук врага хлебные районы, тем быстрее города России перестанут страдать от голода. Так что давайте насчет недельной добровольной голодовки отставим. Есть предложение коммунистам и комсомольцам отчислить в фонд помощи голодающим двухдневную норму хлеба, а всем остальным — норму одного дня.

Лидка переводила взгляд с Фурманова на Лешу. Она сочувствовала Леше и, когда он говорил, целиком соглашалась с ним. А теперь, когда взял слово Фурманов, она была согласна с комиссаром. Конечно! Какой же красноармеец вояка, если он голодный? Силы не хватит ружье таскать.

Леша, должно быть, быстро понял, что и в самом деле перехватил. Поэтому он, когда Фурманов окончил свое выступление, согласно кивнул головой и улыбнулся комиссару немного смущенной, но, как всегда, озорной, хитроватой улыбкой. Странное свойство было у этой Лешиной улыбки. Никто не мог удержаться от ответной, если этот рыжий, зеленоглазый да еще в придачу веснушчатый паренек приподнимал уголки своих больших, иронически изогнутых губ и показывал свои кипенные молодые зубы.

И не хочешь, да улыбнешься в ответ. И на лице Лидки, как на экране, всегда отражалось Лешино настроение. Как и сейчас, когда комиссар и Самарцев обменялись понимающими дружескими улыбками. У всех вокруг поднялось настроение. Люди как-то подобрели друг к другу, стали откровеннее, проще, мягче.

Были, конечно, среди чапаевцев и недовольные общим решением отдать дневной паек хлеба в помощь голодающим. Афонька Гвоздь разнылся:

— Мне, может, самому этой пайки мало... Что я, психический, последнее отдавать...

Леша подрезал его на корню:

— А кто втихомолку по ночам чавкает? У кого по утрам губы в сале, мой генерал? Давайте-ка, ребята, проверим у Гвоздя сумочку...

И Гвоздь сразу пошел на попятную:

— Да я же просто так... Как все, так и я. Пожалуйста, раз надо, я и три дня могу поголодать.

Изя задумчиво и с грустью посмотрел на Афоньку и сказал свое слово:

— Ты, Афонька, босяк.

Афонька даже обрадовался:

— Ну да. Конечно, не буржуй. Вон сапоги опять никуда... Скоро босиком придется...

— Нет, не в этом беда, что босиком. Ты босяк по духу, по психологии. Для тебя главное не революция, не общее дело. Тебе бы желудок набить да карман. Такие бывают страшнее буржуев. Они за грош продадут кого угодно.

Лидке стало жалко Афоньку. Заступилась за него и присутствовавшая при разговоре Настя:

— Ну, ребята, не надо так. У Афони это вроде болезни: человек всегда хочет есть. Понимаете? — И, видимо, желая перевести разговор на другую тему, она сказала, снимая с пальца серебряное кольцо с маленьким зеленым камешком: — А наши сестры в санчасти решили в фонд голодающих все украшения отдать: колечки, брошки, перстеньки, если они из серебра или золота.

Леша восторженно хлопнул себя фуражкой по колену:

— Молодцы, девчата! И я в вашу компанию. — Он стал отстегивать карман гимнастерки и вдруг, опустив руку, мрачно посмотрел на Афоньку. — Если бы... раньше.

Лидка поняла: Леша до сих пор не примирился с тем, что у него уже нет отцовских серебряных часов, все время забывает, что отдал их Афоньке. А вот теперь полез за ними и вспомнил, что их уже нет.

Комсомольцы разведки Разинского полка и штабных подразделений все-таки втихомолку сэкономили по общему согласию не по две, а по три хлебных дневных

найка. Присоединился к ребятам и боец комендантского взвода дядя Вася.

— Давайте-ка, дружки, я в ваш мешок свою долю определю. А то, вишь, хитрые. Обмануть старика захотели. Тут тоже от трех дней, значит. Мне-то легче, чем вам. Я уже не расту. Кости устоялись. А ваши распрямляются и вширь и в вышину раздаются. Питание им нужно...

В общем, со сбором сухарей было все в порядке, и мысли Лидки приобрели другое направление. Она стала мечтать о кладе. Говорят, таких кладов в степных курганах видимо-невидимо. Клад представлялся ей горшком с золотыми и серебряными монетами, в худшем случае — с серьгами и кольцами. Другим вещам, про которые говорят, что они золотые, после истории с иконным окладом Лидка не очень-то доверяла.

Она не раз во время остановок ходила с саперной лопатой к степным холмикам, копала дерн, но ничего не находила. Сначала увлекла идеей отыскать степной клад и своих друзей, но они скоро остыли к этой бесплодной затее.

Клад открыл Петька Мозлов. Гуляя по станции с непонятным башкирским названием, он зашел в один дом напиться. И наткнулся на двух полупьяных мужиков, которые при его появлении вдруг чего-то испугались и выпрыгнули один за другим в окно. Сообразительному Петьке не пришлось долго гадать, что случилось. Вещи в комнате были разбросаны. Крышка большого, окованного медными листами сундука откинута. Видимо, Петька вспугнул грабителей. Положение сложное. Действовать одному — чего доброго, подумают, что это его рук дело. Он выглянул в окно. Один из жуликов уже скрылся за углом. Другому до поворота метров десять-пятнадцать. И Петька сделал несколько выстрелов, стараясь попасть в ноги. Меткости Мозлова не учить. Глаз молодой, точный, рука твердая. Попал-таки. Грабитель споткнулся, упал. Подошел один человек, другой, третий. Вскоре вокруг раненого была целая толпа. Возле дома, из окна которого стрелял Петька, тоже.

Петька Мозлов явился в штаб с небольшим узлом в руке, сопровождаемый двумя вооруженными красноармейцами и представителем местной ЧК.

— Принес реквизированные ценности, товарищ комиссар.

В недограбленных сундуках бежавшего с белыми начальника тюрьмы он нашел несколько золотых чайных ложек, столовый серебряный сервиз и сотню николаевских серебряных рублей.

Все это аккуратно переписали. А потом стали думать, что же делать с таким богатством? Хозяина нет. А если бы и был, его бы арестовали. И тут Мозлов нашелся. Рассказал о сборе средств для голодающих рабочих Питера и Москвы. И его предложение приняли.

Лидка с видом знатока взяла ножик и царапнула острием по золотой ложке:

— Может, латунные или медные?

Она помнила, как быстро разобрался в окладе Георгия Победоносца Пал Палыч. Но Фурманов, рассмеявшись, отнял у нее нож.

— Золото и серебро, боец Лагунова, иначе определяют. Или кислотой пробуют, или на пробу смотрят. Тут цифры должны быть выбиты — номер пробы. У золота — свой, у серебра — свой, у мельхиора — тоже свой. Видишь, пятьдесят семь. Значит, настоящее золото.

Золото и серебро, принесенные Мозловым, запечатали вместе с другими ценностями, собранными по полкам и бригадам дивизии, в тяжелый железный ящик и понесли к паровозу. С минуты на минуту начальник станции обещает подогнать порожние вагоны для погрузки сухарей.

Мешки с сухарями стояли на платформе, как солдаты на параде — по четыре в ряд. Интенданты возились с подсчетами и оформлением документов. Лидка тоже шла вдоль застывшего сухарного войска и вслух считала ряды. Фурманов вышел из станционного здания как раз в тот момент, когда Лидка уже заканчивала подсчет.

— Ну, доложите, Лидия Григорьевна, сколько насчитали?

Лидка вытянулась. Ответила по всем правилам. У комиссара изумленно и обрадованно поднялись брови:

— Не ошиблась?

Лидка обиделась:

Я до тысячи свободно... Сами же научили. А тут два раза считала, и сходится.

Лицо комиссара еще больше просветлело:

— На пятьдесят мешков больше, чем рассчитывали. Ты понимаешь, Лида, что это такое? — И он тоже ткнул пальцем в шеренги мешков с сухарями. — Золото!

— Золото? — недоуменно уставилась на него Лидка, и вдруг острая зависть к удачливому Петьке Мозолеву кольнула сердце. — Да, здорово Петьке повезло. Ложки-то из настоящего золота...

Комиссар рассмеялся:

— Да я не о том. Я о другом золоте, Лида. У бойцов наших души золотые. Не будь золотыми, разве эти лишние пятьдесят мешков [illegible] бы?

ИЗЯ ШАПИРО

Лидка была при штабе [illegible] по особым поручениям. Но поручений не было. И она изнывала без дела. С одной стороны, приятно, конечно, сидеть за столом с самим Чапаевым, с комиссаром дивизии и чапаевским порученцем Петром Исаевым. А с другой — и стыдно немножко. Все они почти каждый день в боевых порядках бывают, опасности подвергаются. А она? Только объедается да букеты из васильков в штаб носит.

Фурманов так привык к цветам на своем окошке, что, когда не находил их, хитро поглядывал на Лидку и говорил:

— Эх, что-то давно я не слышу, как поле ржаное пахнет.

И наутро над его изголовьем снова появлялся снопик пахучих полевых цветов.

Лидка очень довольна, что к штабу приписали и Изю Шапиро. Никак не хотел он уходить из разведки. Но дисциплина есть дисциплина. Сказали, здесь будешь нужнее — значит нужнее. Выбрали Изю секретарем комсомольской ячейки штаба. А обязанностей — и прямых и косвенных — навалили на него целую гору. В самом скором времени Изя стал известен во всех бригадах и полках как артист и поэт. Это он сочинял боевые марши и песни, он рисовал карикатуры на белых и писал зажигательные лозунги.

Изя был на три года старше Лидки. Высокий, худой, с черными длинными волосами, часто падающими на глаза, в больших роговых очках, он был очень представительным. Вот только обмундирование у него слишком простое и бедное.

Носил Изя старую зеленую гимнастерку, залатанную на лопатках двумя разноцветными кусками материи, голубые обмотки до колен.

Говорили, что он приехал вместе с Фурмановым из Иваново-Вознесенска и еще, что он музыкант.

Лидка не верила, что музыкант. Тогда где же у него балалайка или гармонь? Изя ни на том, ни на другом не играл. Чаще видели его [illegible] с книгой или [illegible].

Чапаевцы любили Изю. Хотя он был рядовым бойцом, называли его Изей-[illegible]. Он писал домой [illegible] неграмотных писем, [illegible] газеты, рассказывал разные смешные и грустные истории, мог целыми [illegible] наизусть [illegible] стихи.

Из багажа у него [illegible] как попавший в его руки австрийский кожаный ранец. Лидка думала, что в таком ранце [illegible] удобно носить домашнюю колбасу и пироги с капустой. Но однажды Изя показал ей содержимое ранца... Там лежали книжки, карандаши, листы чистой бумаги, старые желтые фотографии и бутылка с клеем.

На одной фотографии была изображена узкая и кривая городская уличка с булыжной мостовой, маленькие и косоглазые домишки с железными трубами, с крышами набекрень. На другой — под навесом покосившегося дома стоит целая семья... Старик с белой, чуть не до колен, бородой, опирающийся на палку, старуха в каком-то старомодном, до пят, наглухо застегнутом под подбородком платье и два худеньких мальчика в коротких штанишках на помочах и больших грубых сандалиях. Один постарше. Другой помоложе. У старшего очень знакомое лицо и знакомые глаза.

— Изька, ты?— забыв о разнице в возрасте, спросила Лидка.

На нарушение субординации комсорг не обратил никакого внимания. Он как-то машинально ответил:

— Я.

Лидка заметила, что углы его губ печальной скобкой опустились вниз. Она сердцем почувствовала не-

ладное. Видно, что-то очень дорогое и в то же время горькое было связано у него с этой заброшенной бедной улочкой, заросшей лебедой и колючками.

— А где это снято? У вас, в Вознесенске?— Теперь Лидка спрашивала уже робким, извиняющимся голосом.

— Нет, Чапаенок, это в Минске. Только ныне уж нет там ни этого домика, ни этих людей. Один я остался.

И Лидка услышала страшный рассказ о еврейском погроме, во время которого спалили бедный Изькин дом, где жили его бабушка, дедушка и младший брат Ицек. Изя уцелел потому, что был в это время в школе. А когда вернулся домой, от дома остались одни головешки. Родных своих нашел вечером в морге, куда их отвезли на полицейских дрожках.

Жить было не на что. Школу пришлось бросить. Тринадцатилетнего Изю Шапиро взяли к себе в оркестр бродячие музыканты. И он два года ходил с ними по маленьким пыльным городишкам Белоруссии и бил в медные тарелки, пока не встретил одного хорошего человека, который взял его с собой в Иваново-Вознесенск и устроил учеником в музыкальную мастерскую своего друга латыша Густава Карловича Верзиня. Верзинь скоро заметил музыкальную одаренность Изи, его тонкий слух и стал учить его играть на пианино. Через год Изя работал тапером в кинотеатре. А потом... Потом из ссылки вернулся тот человек, который привез его из Минска, и познакомил Изю с большевиками.

— Кто же этот человек?

— Фрунзе.

— Ну да!— недоверчиво протянула Лидка.— Наш самый главный начальник, который и Чапая выше?

Шапиро утвердительно кивнул головой.

Лидка снова пожала плечами. Ей все-таки кое-что было непонятно.

— Тогда скажи, почему он тебя с собой не возит или каким-нибудь командиром не сделает, раз ты ему как родной? Может, ты просто неспособный? А?

Шапиро снял очки и посмотрел на Лидку добрыми близорукими и немножко растерянными глазами.

— А я не хочу командовать. Рано еще. И сам Михаил Васильевич мне сказал: «Поварись-ка, дружок,

в крутой солдатской каше. Хороший большевик всегда с самого низа начинает... На рядовом солдате армия держится. На рядовом большевике — партия. Помни, дружок!» Вот я и помню.

Лидка задумалась. Пожалуй, правильно. А то ведь она часто горевала, зачем родилась девчонкой. Военная жизнь Лидке явно по вкусу. Только где примеры, чтобы девчонки или там взрослые женщины командирами выдвигались? Неужели всю жизнь так и будет она ходить в рядовых? А вот, оказывается, умные и большие люди об этом совсем по-другому думают. Значит, и Лидке надо подумать.

В Бузулуке, где разгружалась 74-я бригада вместе с дивизионным штабом, на станции Лидка увидела такую картину... В заплеванном и прокуренном зале ожидания стоял, блестя черным лаком, большой и красивый рояль. Крышка откинута. Вокруг толпятся любопытствующие красноармейцы. Время от времени кто-нибудь, соблазненный манящей белизной клавишей, подходил к инструменту и тыкал в них пальцем. Потом, пугаясь гулкого голоса рояля, отдергивал руку и отходил назад.

Наконец нашелся один смельчак, который притащил откуда-то колченогий стул и решительно сел за рояль. Не снимая с плеч походного мешка, высоко поднимая локти, он ударял по клавишам и пел манерным, деланным голосом:

— Чижик-пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил...

А нога его то и дело била по какой-то желтой железке, похожей на собачий язык, под самым основанием рояля.

Окружающие посмеивались. Делились своими мнениями:

— Здорово собачий сын шпарит...

— Как по нотам.

— А чего это он только на три штуки надавливает? Дальше рук не хватает, что ли?

— Что играешь-то, Фомкин?

Краснощекий боец на минуту прервал игру и, обернувшись, небрежно бросил:

— «Чижик-пыжик», или «Собачий вальс». Меня в киевском госпитале сестра милосердия баронесса фон

Макуха обучала. «Играйте,— говорит,— солдатик, образованным кавалером будете». Вот я и играю... Что закажете, господа публика? Все могу...

Но исполнителю «Собачьего вальса» больше не пришлось удивлять народ своим искусством. Торопливо вбежавший в зал ожидания запыхавшийся бледный Изя Шапиро так посмотрел на него, что у горе-музыканта отпала всякая охота разыгрывать чужую роль.

У Изи были тонкие и очень живые пальцы. Они летали по клавишам быстро и в то же время осторожно, почти нежно. И лицо у Изи тоже было другое — счастливое и красивое. Из-под его пальцев лилась такая хорошая и светлая музыка, что Лидка просто застыла на месте от радостной неожиданности.

Шапиро играл долго. И люди молча стояли вокруг, во все глаза глядели на музыканта и боялись даже чиркнуть зажигалкой, чтобы не нарушить очарования. У многих во рту так и торчали незажженные цигарки и козьи ножки.

Когда вверху, под высоким сводчатым потолком, отзвучал последний аккорд, неподвижные, казалось, улетевшие мыслями далеко-далеко от этой шумной железнодорожной станции, от этого прокуренного, заплеванного подсолнечной шелухой зала люди стали бурно аплодировать.

Сбоку к роялю была прислонена Изина винтовка. А очки, которые он снял перед игрой, поблескивали на том месте, где полагается стоять нотам.

В это время трубач протрубил сбор. Лидка испытывала чувство какой-то особой благодарности к Изе, как будто он преподнес ей неожиданный, но очень хороший подарок. И она захотела чем-то выразить эту свою благодарность. Но чем? Как? Взгляд ее упал на его винтовку. И когда рука Изи потянулась к оружию, Лидка опередила его.

— Давай я понесу, Изя!

И такую преданность прочел Шапиро в глазах Чапаенка, что не посмел отказать.

— А что ты играл? Это песня какая-нибудь?

— Полонез Огинского.

Лидка ничего не поняла. Но признаваться не захотелось, и потому она понимающе кивнула головой.

С той поры в любом городке, хуторе или станице, где находили рояль, пианино или даже старинные

клавикорды, на всю улицу раздавался призывный и торжествующий крик:

— Изьку сюда! Шапиро-музыканта!

И красноармейцы заставляли Шапиро бросать дело, каким бы он ни занимался, и чуть ли не на руках тащили его к найденному инструменту. Начинался концерт. Изя играл много и долго. И, казалось, не уставал. Играл все: от фуг Баха до «Камаринского». Бывало, что его слушатели пускались и в пляс.

Лидка не пропускала ни одного Изиного концерта. Она каждый раз оказывалась ближе всех к музыканту. Теперь она уже не смотрела на пальцы, а следила за выражением его лица. Она слушала музыку, смотрела на Изю, и ей казалось, что она все понимает. Вот зашлись под его рукой серебряные колокольчики, а глаза посветлели и брови взлетели вверх, и Лидка чувствует, видит — ведь это зеленые камыши перешептываются на тихом ласковом озере под легким ветром, встречая утреннее солнце.

А когда брови музыканта сходились, губы плотно сжимались, а рояль начинал гудеть своей левой половиной сильнее, чем правой, Лидка ощущала надвигающуюся откуда-то опасность, топот тысяч копыт, грубые голоса барабанов и труб, зовущих на поле боя.

...Изя Шапиро был худым и стеснительным. Ну чего тут, кажется, зазорного — не наелся в обед, попроси у кашевара добавки. Так все делали, и Лидка тоже. А вот Изя стеснялся. Никогда не просил он поесть и в домах, где останавливались на ночлег. Лидке было жалко его. Нельзя же быть таким умным и таким худым. И она, как могла, подкармливала его.

Зная, что каптенармус, он же штабной кашевар, любит побаловать ее, она частенько в неурочное время подбегала к нему:

— Дяденька Митрофан, дай хлебца! До обеда-то вон сколь долго...

Митрофан изумленно таращил на нее глаза и ругался:

— Да что ты за прорва. Маленькая, с полевую мышь, а жрешь, как полковой командир. Хоть бы видно было, что впрок. А то ведь ни кожи, ни рожи...

Но никогда не отказывал. Лидка хватала кусок, прятала его под гимнастерку и бежала разыскивать

Шапиро. Если тот не был занят своими солдатскими делами, то, примостившись где-нибудь в укромном месте, читал. Читал, почти уткнувшись близорукими глазами в книгу, а очки держал в руке, или они у него торчали из кармана гимнастерки.

Лидка совала ему в руку хлеб:

— На, ешь!

Он каждый раз спрашивал смущенно:

— А где ты взяла?

Лидка отвечала не задумываясь:

— Да у нас каптер добрый. Как бы, говорит, хлеб не засох... А то новый привезут, а старый не успеем съесть. Берите, говорит, кому надо...

И она снова протягивает ему кусок.

— А сáма?

Лидка разламывает хлеб пополам, и Изя со спокойной душой принимая Лидкины россказни за чистую монету, жевал свою порцию, снова уткнувшись в книгу.

Чапаевцы шли на Соболевскую. В этой станице располагался штаб генерала Савельева, который готовил свой конный казачий корпус к решительному бою с красными. Небольшую передышку бригада и дивизионный штаб сделали в маленькой чистой деревушке Скворцовке.

Лидка сидела в штабной избе и занималась канцелярской работой. Начальник штаба поручил ей подшить накопившиеся бумаги. Разложил их по стопочкам, дал иглу сапожную с длинным хвостом дратвы:

— Вот каждую стопку по отдельности и подошьешь. С самого левого краешка, чтобы отгибать легко было. Да смотри у меня — не перепутай!

Когда Лидка закончила порученное дело, она увидела облако пыли за околицей. Сам громадный бригадный табор еще не тронулся с места. Шли только приготовления к походу. Запрягались лошади, грузились на подводы боеприпасы, красноармейцы, дожевывая на ходу, строились.

— А эти куда? — показывая на облако пыли, спросила Лидка Петра Исаева, который места себе не находил без своего командира. Чапаева вместе с Фурмановым вызвал к себе Фрунзе.

— Проучить кулаков пошли. В Сурикове они ком-

тет бедноты перерезали. Только один ушел. Вон на телеге избитый сидит.

На плохонькой телеге сидел, свесив ноги в разбитых, забрызганных кровью лаптях, пожилой крестьянин. Его низко опущенная голова моталась из стороны в сторону.

— Едва, говорит, убежал,— продолжал пояснять Исаев,— видишь, как ему лицо-то отделали... Все в синяках. Ну, раз такое дело — мигом собрание. Роту отправили в деревню. Изька Шапиро первый вызвался. Наведут порядок, догонят нас.

Лидка пожалела, что рота ушла без нее. Она бы тоже пошла в Суриково. Кулаков этих надо лупить без пощады. Что делают! Негодяи! Своих же деревенцев режут...

За избитым бедняком заботливо ухаживала. В телегу рядом с ним поставили берестяной туесок с холодной водой, дали чистую тряпицу, чтоб прикладывал к распухшим местам. На выбоинах и колдобинах, когда телега подпрыгивала, он болезненно морщился и стонал.

Сердобольная Лидка шла, держась за задок телеги, и с сочувствием смотрела на избитого человека. В одной из небольших балок возница соскочил, чтобы потуже подтянуть подпругу. Суриковский мужик перестал стонать, схватил туесок и с жадностью приник к нему губами.

Лидка смотрела на поросший рыжей шерстью двигающийся вверх и вниз острый кадык, на сильно раздвоенный тяжелый подбородок, и ей очень захотелось посмотреть на усы этого человека. Но когда человек отвел от лица туесок, усов не оказалось. Зато маленькие тускло-голубые глаза человека, встретившись с глазами Лидки, вдруг вильнули в сторону.

«Он или не он? Если он, то где же усы? А не он — почему так похож? Ведь такого костистого, продавленного посередине лба Лидка не встречала ни у кого, кроме городового Семеныча. Если он, надо предупредить».

Все эти мысли вихрем пронеслись в Лидкиной голове. Опасливо косясь на телегу с человеком, похожим на Семеныча,— как бы не убежал, она заспешила вперед.

Как назло никого из знакомых командиров вблизи не оказалось. Исчез куда-то и Исаев. Поэтому Лидка обрадовалась, увидев Харитонова. В другое время встреча с ним не принесла бы ей особой радости, потому что хоть и тронул ее рассказ Демида, она все еще не могла примириться с тем, что у этого нынешнего чапаевца совсем недавно на плечах были золотые погоны. Но сейчас она обрадовалась ему.

И он, увидев ее, тоже широко улыбнулся.

Уфимская история, ранение, разговоры с Демидом не прошли для него даром. Лицо у него бледное — без единой кровинки. Глаза горят каким-то лихорадочным, немножко нездоровым блеском. Хотя с чего бы, кажется? Два раза он уже побывал в бою и даже заслужил похвалу командира бригады. Но с чапаевцами держал себя как-то робко, словно бы даже виновато. Не знал, как себя вести и с начальством. Общительным и веселым он бывал только в компании подростков. Потому и заулыбался, увидев Чапаенка.

Лидка поделилась с ним своими сомнениями.

Через каких-нибудь десять минут Харитонов, Демид и невесть откуда появившийся Петр Исаев — Лидка, понятно, тоже — шли рядом с телегой, везущей избитого мужика. Тот лежал ничком на ворохе свежескошенной травы.

Допрос решил вести Исаев.

— Эй, дядя,— пошевелил он тонким прутиком больного.— Что, здорово саднит?

Мужик, не отрывая косматой головы от подстилки, простонал:

— Ох, сынок... Места живого нет. Всего измолотили. Ажно нутро ноет...

— А ну, дядя, покажи, где больше всего-то болит? — сочувственно спросил Петр.— Может, мази какой найдем, помажем — все легче будет.

Мужик стал ощупывать голову:

— Тут, в голове, ровно колокол гудет...

— А еще-то где? — продолжал допытываться Петр. Глаза у него сузились, желваки под кожей ходят. Должно быть, понял, кто перед ним.

Больной как-то неохотно и вяло провел рукой по заплечью и спине.

— Тут тоже места живого нет. Кровищи, наверное...

Теперь у Петра голос жесткий, командирский, на чапаевский похож:

— А ну-ка, дядя, скидавай рубаху! Скидавай, скидавай, будь как дома.

«Дядя» испуганно дернулся. Да куда убежишь? Кругом голая степь, а рядом чапаевцы. И у каждого если не винтовка за плечом, так пистолет на бедре. Пришлось снимать рубаху. Тело у мужика было белое, с жирком, без единой царапины или синяка.

— А ну, Чапаенок, отвернись... Снимай штаны, дядя! Есть ли там живые места, посмотрим... Ах бедный, бедный, как же ты богу душу не отдал?— издевался над переодетым городовым Исаев.

Семеныч понял: спасения нет. И вдруг ловко оттолкнув Петра, он сбил с ног Лидку и бросился бежать. Хорошо, Харитонов успел подставить ногу. Семеныч растянулся, и Леонид сел на него верхом. Городовому связали руки, подняли с земли. Харитонов долго вглядывался в его лицо. Видимо, признав, он спросил у Лидки:

— Так ты говоришь, он из Самары? То-то я его в особом отделе у генерала Сахарова встречал. Сильным специалистом считался! Красных на засады наводил...

Страшная догадка сжала Лидкино сердце. Может быть, и на этот раз Семеныч сделал свое черное дело — заманил роту в ловушку?..

Да! Рота действительно попала в западню, ловко подстроенную белыми.

Бригада замедлила движение. Потом совсем остановилась. Комбриг Кутяков, оставшийся за командира дивизии, послал на выручку целый полк. Но было уже поздно. Рота легла в неравном коротком бою до последнего. Вечером из Сурикова пришло два десятка подвод с телами погибших красноармейцев.

Лидка до тех пор не верила в смерть Изи Шапиро, пока не увидела свесившуюся из-под рогожи узкую белую руку с длинными тонкими пальцами. Эту руку она могла бы узнать среди тысячи других...

Изи Шапиро нет в живых. Как же это? Ведь только вчера он сидел с Лидкой на крыльце штабной избы и говорил удивительные слова о бессмертии.

Она помнит все, что он сказал. Такие разговоры на забывают... Она вдруг представила себе, сколько

прекрасных людей погибают на войне. Поделилась своими печальными мыслями с Изей.

А он ответил:

— Убить человека легко, Лидка. Вот, возможно, и меня не будет, и Леши, и Насти. А все равно мы останемся. Приедет человек в Самару, например, и спросит: «Это какая улица?» Ему ответят: «Алексея Самарцева». «Пароход вон у пристани, красуется?..— «Лидия Лагунова».— «А вот та музыкальная школа? Чьего она имени, не могу разобрать?» — «Исаака Шапиро». И будем мы с тобой на людей глядеть. Я тебе огоньками помигаю. Ты гудком ответишь... Ответишь?

— Конечно, отвечу! — радостно выдохнула тогда Лидка.

Лидка не пошла на похороны к братской могиле. Начальник штаба, тронув ее за плечо, сказал:

— Шла бы ты, Чапаенок, отдала бы последний долг товарищам. Там ведь и твоего дружка хоронят...

Лидка сердито ответила:

— Не пойду!

По красным глазам, по дрожащему голосу начальник штаба понял: сейчас Чапаенка лучше не трогать.

ЛОЖКА И ТЕЛЕФОН

Комсомольский билет Лидка зашила в потайной карман гимнастерки. Берегла его пуще глаза. Ей казалось, что, став комсомолкой, она и ростом выше стала, и сил у нее прибавилось, и умом стала богаче. И еще появилась уверенность в том, что теперь она будет делать только то, что необходимо для мировой революции. Не будет ни проступков в ее жизни, ни ошибок. Все впереди понятно и ясно. Лидка и домой писала так:

«Разобьем гидру, устроим мировую революцию, я вступлю в большевики и тогда приеду к вам.

Ваша дочь — боец Лидия Лагунова».

Но всякое было еще на ее пути: и проступки, и ошибки, и слезы. Взять ту же ложку... проклятую казацкую ложку. И зачем только взяла ее Лидка? Лучше бы руки отсохли, чем такой позор переносить! На всю дивизию осрамилась...

До обеда в тот день все шло хорошо.

Чапаев работал с картой. Лидка ему помогала. Он любил крупномасштабные, на которых отмечены самые маленькие поселки, самые тощие рощицы, разные холмы, речки и даже ручейки.

Беда только, что такая карта не умещалась обычно на столе. Но это не смущало начдива. Выгнав всех из штаба, он раскладывал карту на полу и всласть ползал по ней, делая отметки, вымеривая что-то циркулем, рисуя дуги и кружки цветными карандашами.

— Ты чего в одиночестве-то колдуешь? — спросил однажды Фурманов.

Чапаев удивленно посмотрел на него:

— Аль не понимаешь?

Тот развел руками, откровенно признался:

— Уволь, Василий Иванович, не понимаю.

— Вот оно и видно — ничуть ты об авторитете своего командира не печешься. Вот меня полководцем в газете обзывают. Полководец я или не полководец? Как ты обо мне понимаешь? Раз полки в моем подчинении есть, значит, я кто?

— Полководец, Василий Иванович. Полководец. Тут и слов нет.

Чапаев вздернул один ус, потом другой. Прищурился:

— А разве пристало полководцу на карачках ползать? Где еще такой позор видывали? Вот скажи — Наполеон лазил? Или, может, Александр Македонский? Или итальянец Гарибальди? Они, поди, достойно карты-то разглядывали, честь честью, на столе. А я пока по ней брюхом не поелозил, не разберусь и не пойму что к чему. А простому народу этот мой маневр ни к чему знать... Или, может, не так объясняю?

— Так все равно всех потом наприглашаешь. И начштаба, и комбригов, и комполков, и начальников всяких служб.

— Ну, так это потом, когда с брюха поднимусь, на колени встану. Да и они на коленях-то лучше разбираются. Тут уж вроде все равны. А пока я ползаю — не мешай... И не шуми.

Последнее было брошено с улыбкой через плечо в сторону Лидки. А она и не шумела. Только один раз всего-то и спросила:

— Василий Иванович, а меня научите карты читать?

Он чуть не зарычал на нее:

— Не сбивай с мысли, красноармеец Лагунова! Нет тебя, когда я раскладку завтрашнему бою делаю. Никого нет. Поняла? Вот чай пить начнем, о чем угодно спрашивай. Есть у тебя дело — значит, и делай его, исполняй в точности. Не то освобожу от должности.

И ведь без улыбки. Всерьез. Это он теперь, когда наползался по карте и поднялся на колени с приходом Фурманова, разулыбался. А дело у Лидки вот какое: чинить цветные карандаши и подавать их начдиву. Они у него часто ломались. Как войдет в азарт, нажмет посильнее — и... чертыхнется. Значит, подавай новый.

В общем-то не ахти какое уж важное дело. Но Лидке нравилось смотреть, как начдив работает. То песню какую-нибудь запоет, то кого-то ругает вроде бы про себя, то думает вслух.

И что еще очень важно — за то время, пока Василий Иванович на карте ползает, узнает Лидка от него столько всяких сведений, так он представит ей, разговаривая сам с собой, военную обстановку, что она лучше многих других больших командиров знает, где какой полк стоит у неприятеля или как располагаются войска соседней дивизии, где у бригад стыки, какое вооружение и даже о чем думает, допустим, тот же генерал Толстов.

Сейчас Чапаев на чем свет ругал командира 22-й дивизии Сапожкова, которую окружили белоказаки в Уральске и на помощь которой шла 25-я.

— Вот чертов эсер! Не дивизией ему командовать, а портомойней с бабьей командой. Иметь такую силу и дать себя окружить! Я бы ему взвода не доверил. Нет, ты только посмотри, как он полки свои разбросал! По всей Уральской области рассеял и о связи не позаботился. Словно нарочно. А ведь их надо в кулаке держать. Что он со Вторым Новоузенским полком сделал? Я же знаю — отличный боевой полк. И комсостав там разумный. И комиссар боевой. Всю зиму в Лбищенске продержать без всякой надобности... А его бы в погоню за казаками пустить вниз по Уралу! Зима-то совсем сухая. Никаких сугробов. Казачишки драпали после поражения под Уральском без задних ног. Вот и не давай им опомниться. Вот и гони! Так нет...— Чапаев с досадой повертел головой, расстегнул верхнюю пуговицу френча.— Ну вот, а генералы-то

у белых не дураки. Видит Толстов, что никто его не гонит, не преследует,— и давай в Гурьеве перья оправлять и прихорашиваться. И сколотил опять группу конную в тыщу двести сабель. Так и надо наказывать разгильдяев!

Лидке странно. Вот так раз! Генерал-то белый, а Чапаев его хвалит... И она не сдержалась, высказала свое недоумение.

Василий Иванович хмыкнул, мельком взглянул на Лидку.

— Ребенок ты еще, Лидка, Лидия Григорьевна. Народ-то што говорит? Народ говорит: «На глупого-то друга рукой махни, а к умному-то врагу прислушайся». Учат они нас, умные враги-то. Уроки нам преподают. Хоть они кровавые, а все равно уроки. Какой начдив начинает операцию без разведки? Да любого царского унтера спроси, нужна войскам разведка или нет,— так он тебе без всяких академий ответит, что без нее на войне и шагу нельзя. А вот Сапожкову... Он, видите ли, такой храбрый герой, каких поискать. Ему разведка без надобности. Он полки в наступление вслепую посылать может!.. Вот и довоевался. Разбросал дивизию по белу свету и связаться ни с кем не может. И новоузенцы с ним бы пропали, если бы в полку стоящий комиссар не оказался. Казаки-то уже крошить начали, а он беглецов остановил, пулеметы на флангах выставил да в штыковую пехоту на конницу повел — и выиграл бой! Да, за таких комиссаров горой стоять надо, а Сапожков зубы, говорят, на них точит, лишними в войсках считает.

Какое-то время Чапаев ползал по карте молча, что-то вымеривая линейкой, записывая какие-то цифры на узеньком листочке бумаги. Потом снова забранился:

— Не голова у эсера, а чугунок с дыркой. Довоевался. Ты посмотри, чем командует, что у него под рукой? Один Двадцать второй Новоузенский полк, комендантская рота, батарея да штабной состав. А важности-то да форсу — на тыщу генералов ведь хватит.

Хоть и ругался Василий Иванович, а настроение у него было очень даже неплохое.

— Будешь, будешь ты у меня, Чапаенок, разбираться в военной науке. Буду, буду я давать тебе такие уроки.

А потом... Знали бы Лидка, лучше бы п...
осталась.

Была у Лидки, как и у всех, своя ложка. ...вянная, круглая и очень удобная. Носила ее ... за голенищем сапога, как и остальные ча... И вот треснула ложка. Потом и вовсе сломалась.

Обедала как-то Лидка с Василием Ивановичем и ...бистами в богатом казачьем доме в отбитой у ка... станице на реке Чагане. Хозяйка — здоровенная ...стая казачка со злыми глазами, в низко прис... ном на лоб платке, вывалила из глиняной чаш... стол целую груду ложек. Лидка сразу потян... к этой — необыкновенной, складной, из алюминия ... черенке то ли шилом, то ли еще чем-то острым выб... цифра «1914». Должно быть, с германской войны.

Вылезая из-за стола, Лидка прихватила обл... ванную ложку с собой. Рассудила, что хозяйке до... но и оставшихся.

«И так жирно живет. По глазам видно — враж...на,— решила Лидка.— Обойдется. А мне без ложк... хоть пропадай».

И в этот раз Лидка обедала в той же компании — только в другой станице. Ребята из штабного отря... раздобыли где-то бредень и, пройдя пару раз под кр...тым берегом Чагана, выловили несколько ведер кр...ных судаков. Задымились походные кухни. Уха полу...лась наваристая, вкусная.

Ели из общей чашки. За столом было тесно. На...чальник штаба, порученец, писаря, шофер Чапаев... сам комдив, Лидка. В распахнутые окна летней пр...стройки, выходящей в огород, вливались острые зап...хи полыни и мяты. У Петра Исаева от нетерп...ния уже раздувались крылья чуткого на все аппети...ное носа. Была бы Петькина воля — первым бы дел... обмакнул в навар вот ту лежащую сверху аппети...ную горбушку из настоящей, без всякой приме... пшеничной муки. Но нельзя... порядок!

К еде Чапаев относился серьезно, по-крестьянск... Любил, чтобы во время еды люди вели себя чин...степенно. Недовольно морщился, если кто-нибудь тор...пился, захлебывался или сопел. Впрочем, это случал... редко. Все, кто садился с Василием Ивановичем ... стол, знали привычки командира и не нарушали их. Знала их и Лидка. Но на этот раз ей не удалось ...

пробовать жирного разваристого судака. Чапаев вдруг ожег Лидкину руку взглядом:

— Слушай-ка, Чапаенок, я помню, ложка-то у тебя деревянная была, с цветиками. А теперь — железная. Откуда?

Дрогнула Лидкина рука. Не донесла ложку до рта. Залила себе колени ухой. Часто-часто замигали веки у Лидки. Похолодело внутри. Его проговорила:

— Я нечаянно, Василий Иванович. Забыла положить.

За столом воцарилась мертвая тишина. Даже Исаев, которому дозволялось и прощалось многое, не смел перечить или говорить что-либо комдиву в минуту гнева.

Лидка поняла — сейчас будет буря. Она не раз слышала да и сама видела, как круто Чапаев расправлялся с нечестными бойцами, с людьми, которых называли очень странным и, должно быть, страшно позорным словом «мародеры».

В глазах Чапаева мелькнула бешеная искра. Он схватил плетку с подоконника, с силой ударил черенком по краю стола и крикнул, как выстрелил:

— На коня! Где взяла, туда и отвези! Ну?

И вот, нахлестывая Орлика, вся в слезах, Лидка скачет назад, в станицу, где вчера взяла ложку. Ни о чем не думала Лидка — ни о том, что ее может перехватить казачий разъезд, что в станице, вчера покинутой чапаевцами, сегодня может оказаться белоказачья сотня, ни о том, что возвращаться придется ночью.

Жег стыд. Вот тебе и Чапаенок! Теперь, чего доброго, отберут у нее это имя и назовут «мародеркой». А ведь Фурманов еще не знает. Уехал зачем-то в бригаду Плясункова. Вернется, узнает и напишет о Лидкином поступке брату Дмитрию, который сейчас комиссаром полка на другом участке Уральского фронта. В Самаре на каком-то совещании Фурманов познакомился с Дмитрием Лагуновым. И с той поры они переписываются время от времени, Фурманов как-то показывал Лидке одно из писем Дмитрия, в котором тот спрашивал, как воюет его сестра Лидка.

...Вот теперь комиссар и напишет: «Она у нас не воюет, а ворует...»

Лидка во весь опор проскакала полстаницы и ос-

тановилась у раскрытого окна памятного н...
жизнь дома. Не слезая с коня, достала лож...
бросила ее через окно на стол, застланный до...
красивой скатертью, которой и в помине не было,
здесь обедали чапаевцы.

Лидка догоняла своих, когда над степью уже ...
пали крупные мохнатые звезды. На обратном ...
встретила мчавшегося наперерез всадника. Это
Леша Самарцев.

— За тобой,— объяснил он.— Сам Чапай по...

...Говорят, что беда никогда не приходит ...
Не прошло и двух дней, Лидка снова провинил...
Заснула на посту.

Переход был тяжелым. Жара такая, что, ка...
вода во фляжках вот-вот закипит. А тут еще ...
ки: то с левого фланга наскочат, перестрелку ...
жут, то с правого лаву пустят. Измотались за ...
чапаевцы так, что к вечеру едва на ногах держа...

Лидка после истории с ложкой попросила ко...
дира комендантского взвода включить ее в дежур...
И вот пришла ее очередь. Но назначили ее не в ...
ружный караул, а к штабному телефону.

Днем в уральских степях жарко, ночью холо...
Выбирать место под штаб было некогда, и его р...
местили в плохоньком, с разбитыми окнами и ра...
шимися дверями заброшенном доме. Протянули те...
фон, поставили на подоконник. Лидку посадили ок...

Ночь. Ветер гудит за окном, гуляет сквозняк...
по холодному дому, играет пламенем в керосин...
лампе.

В штабе никого, кроме Лидки. Все ушли на ...
щее деревенское собрание, которое проходило ...
усадьбе казачьего генерала. Крестьяне попросили Ч...
паева рассказать, как теперь будет насчет земли, пр...
да ли, что казаков теперь под корень, а всю ...
землю иногородним, когда окончательно прикон...
красные Колчака и белоказачье войско.

После чапаевского выступления будут судить ...
нерала, который до прихода 25-й дивизии пове...
десять молодых парней за то, что они отказал...
идти к белякам в пластуны.

...Хуже нет стоять на часах. Сиди вот тут, кар...
эту говорящую трубку и тоскуй. А там, за окн...
идет настоящая жизнь: люди не дыша слушают ...

Чапая. Соня из политотдела дивизии готовит с ребятами самодеятельный концерт. Старый генерал, наверное, молится перед неминуемой смертью.

Ветер тоненько поет в трубе. Хоть бы зазвонил кто-нибудь, что ли! Но никто не звонит. Хоть бы пришел кто! Но никто не идет...

Если не считать Афоньки Гвоздя. Принес его черт. На огонек, говорит. С тех пор, как его покусали собаки и Лидка передала его в руки Насти, стал он страшно вежлив и предупредителен с Лидкой. Говорил чуть ли не торжественно:

— Спасибо тебе, Лидуха! Мне в санчасти рассказали, как люди от собак с ума сходят, так я посинел весь от страху. Если бы не ты, может, и в самом деле сбесился бы. Так что ты как бы моя спасительница. Привет тебе и слава!

Лидке было даже противно его подхалимство. Тем более видела: лучше Афонька не стал. Все такой же шкода, как и был. Хотела прогнать, да раздумала. Очень уж скучно одной. А тут все-таки живой человек.

— Чего же ты на собрание не пошел?

— Что я, психический?— ответил, по своему обыкновению, Афонька.— Да и нездоровится что-то... Я лучше у огонька делом займусь.

Сколько обсуждали разведчики Афоньку за это его дело! Наказывали — ничего не помогает.

— Я же для своих так, задаром делаю! Никакой коммерции.

Но пройдет неделя-другая, и коммерция у Афоньки снова в разгаре. Заключалась она в том, что Гвоздь в свободное время вырезывал из жести пятиконечные звездочки. Особенный спрос на них был у деревенских мальчишек. Эти что угодно за звездочку из дому притащат. Один даже коня предложил привести с отцовского двора.

Вот и сейчас Афонька достал из кармана консервную банку, и завизжала в его руках узенькая пилка, вгрызаясь в звонкое, упругое железо.

Лидка не вытерпела:

— Эй, кустарь! А может, ты где-нибудь другое место найдешь? Все уши прожужжал.

Афонька не стал спорить. Спрятал жестянку и пилку обратно в карман. Спросил дружелюбно:

— Лид, а Лид, ты слышала, какой генер[illegible] тый? Говорят, у него золота куры не клевали.

Лидка тоже слышала об этом.

— Говорят. Так что?

— А то, что при обыске ничего не наш[illegible] чит, спрятал куда-то. Может, в тот флигел[illegible] рый рядом с баней. Старый такой, черный... [illegible] в подпол. А может, на чердаке.

— А тебе-то что? — подозрительно посмотр[illegible] Афоньку Лидка.

— Да так просто, ничего... — ответил в[illegible] странно заблестевшие глаза Гвоздь. — Просто [illegible] если богатство никому не достанется...

Он посидел еще немного и, громко зевая, [illegible] спать. Но Лидку не обманешь. Посмотрела в окно. [illegible] как бы не так... Не к себе в избу, а к генеральском[illegible] гелю заскользила Афонькина тень. Догнать бы его, [illegible] пугнуть как следует, чтобы не шкодил. Да нельзя [illegible] бросать... А вдруг в это время самое важное сооб[illegible] по телефону передадут... Пока думала, что пред[illegible] нять, Афонькина фигура уже растаяла в темноте.

Опять она одна. Ох как клонит ко сну. Но [illegible] ни в коем случае! Вот разве помечтать немн[illegible] И Лидка уже не в холодной штабной избень[illegible] неприютных уральских степях, а в чудесном [illegible] Хорошо кругом, словами не передать. С веток св[illegible] ваются золотистые, медом налитые яблоки. По[illegible] гами журчат ручьи, а над головой поют как[illegible] диковинные птицы. И поют так, что куда там пр[illegible] них нашим бедным соловьям! Только почему у од[illegible] из птиц такое знакомое пение?

«Трр-р-трр!»

Лидке кажется, что с птицей этой случилась как[illegible] то беда. Может, в горле у нее случайно застр[illegible] железка? И Лидке страшно хочется помочь бе[illegible] певунье. Но как это сделать? А птичка продолж[illegible] захлебываться железным звуком:

«Трр-трр!»

И вдруг странная птица вытягивается и прев[illegible] щается в ременную плетку Чапая, которая со сви[illegible] сечет воздух и вгрызается в подоконник. Лидка [illegible] пуганно вздрагивает и поднимает глаза.

И опять этот гневный взгляд командира:

— Так-то ты на посту стоишь? Тут донесение [illegible]

ное люди передают. Телефон захлебывается, а она сны сладкие смотрит. Марш отсюда! Вояка!

Только сейчас до нее дошло, что это не птица железным голосом пела в райском саду, а телефон надрывался. Она бросилась к аппарату, но Чапаев уже прижал трубку к уху и что-то сердито, отрывисто кричал.

Вышла Лидка из избы, села на крыльцо, обняла винтовку и заплакала. Опять она оскандалилась. То одно, то другое. И почему она такая невезучая! Доверили важное дело... Может, по телефону помощь с позиции кто просил... Может, казаки за ночь всю бригаду Плясункова вырезали... Может, из Самары какой приказ передавали. А она проспала... Эх, Лидка, Лидка! Снова не оправдала доверия. А еще комсомолка! Она с испугом пощупала комсомольский билет. Тут ли? Тут.

Холодный ветер забирается за воротник гимнастерки. И на душе холодно. И надо же было написать домой еще неделю назад: «Служу хорошо. Василий Иванович доволен. Фотокарточку подарил».

Теперь, наверное, сидят вечером за чаем отец с матерью и письмо Лидкино им Саша вслух читает. Да еще, наверное, и знакомых пригласили: фельдшера со станции Ивана Хрисанфовича, слесаря из депо Петра Дмитриевича. Пьют чай и хвалят Лидку. Вот, мол, молодец, герой Чапаенок!

А она никакой не герой, а самый несчастный человек на земле.

Не слышала Лидка за своими горькими мыслями, как скрипнула дверь за спиной, как вышел Чапаев из штаба. Почувствовала только, как кто-то накинул на ее продрогшие плечи полу сухой бурки и прижал к теплому боку. Сидеть бы так долго-долго и молчать. И вот если бы Василий Иванович тоже помолчал. Лидка знает — ругать все равно будет. Но разве нельзя выругать... потом, позднее, а не сейчас, когда так хорошо сидеть под теплой командирской буркой. И, как бы угадывая Лидкино желание, Чапаев действительно долго сидел молча.

Только тогда, когда она уже совсем согрелась и опять чуть не заснула, он спросил:

— Как же это ты, Чапаенок, опростоволосилась? А?

9*

Голос у Василия Ивановича мягкий, до... и немного грустный. Наверное, вспомнил сем... шек. Говорят, их у него пятеро, и тоже ... меньше. А вот вырваться к ним никак не ... боится дивизию оставить. После каждой ... бирается домой... И после Самары, и после ... лана, и после Уфы... Да все никак не ... И у Лидки растет в душе большая жало... сильному и храброму человеку. Хоче... ему что-то очень хорошее и ласковое, ... отцу.

Но Василий Иванович опередил ее:

— Ишь ты, сжалась, как ежик. Молчи... страшно, когда Василий Иванович сердит... ничего, я уж больше не сержусь. Отходчив.

Чапаев уселся поудобнее, вытянул ноги. Л... но завидовала его мягким, без каблуков ... сапогам, которые сшил ему киргиз Оглобл... в них легко, бесшумно. Потому, наверное, ... слышала, как Чапаев вошел в штаб, как ... него...

— Ты на меня обиду не имей. Война, она ... не щадит никого. Ведь вот прозевай я этот ... и поминки бы справили по Пугачевскому ... А тут еще суровские кавалеристы сено у дру... ка украли... Много вокруг разной гадости. Ох ... го! Слыхала, наверно, генерала сегодня суд... сять парней повесил. Думаешь, за что? В ... пластуны идти отказались... А ты говоришь, ... легко.

Лидка робко возразила, хотя и понимала, ... паев не столько спрашивает ее, сколько дума...

— Я не говорю.

Чапаев смотрел куда-то вверх, и, казалось, ... его тоже были далеки от этой маленькой ... деревушки, от завтрашних боев, от необходим... поряжений и телефонных звонков.

— Взял бы я сейчас лошадь, илуг бы на... и в поле... Стосковался по настоящему дел... А командуй. Таким, как ты, слезы утирай.

Чапаев провел ладонью по Лидкиному лиц... с ее щек невысохшие слезы и сказал чуть д... ним голосом:

— Ну ничего, ничего, Лидушка. Брось гру...

Если плакать будем, ни в жизнь генералов не разбить. А они хитрые и жестокие, черти! С ними слезами не сладишь... Давай-ка лучше песню споем.

Лидка знала все любимые песни Чапаева. И большей частью они почему-то были грустные. А голос у Лидки, несмотря на малый рост и возраст, сильный и, люди говорят, даже красивый. Бойцы на привалах просили ее:

— А ну-ка, Чапаенок, давай нашу любимую.

Лидка не отказывалась.

Любил слушать ее и Чапаев.

Она набрала в грудь побольше воздуха и запела:

Сижу за решеткой в темнице сырой...

Чапаев слегка дрожащим тенорком подхватил:

Вскормленный в неволе орел молодой...

Над спящей станицей, улетая далеко в степь, плыли, то сливаясь, то раздваиваясь, два дружных, слаженных голоса. И не один боец, наверное, в эту ночь грустил вместе с певцами.

Спели «Узника». Спели «Черного ворона». Спели лихую «Домашкинскую».

Прокричал первый петух. Чапаев остался сидеть, а Лидку прогнал спать. Показал на чернеющий напротив штаба большой дом с палисадником:

— Иди туда. Это моя штабная квартира. Хозяйке скажешь, Чапаев послал. На окне кувшин с молоком и горбушка хлеба. Поешь. Я выкурю папироску, тоже приду. Пускай Исаев в сенцах, в холодке мне постелет.

Хозяйка постелила ей в темном маленьком чулане, где пахло кошками и кислой овчиной. И хоть измучилась Лидка за день, не спалось. Не давала спать одна обидная мысль: «Вот приголубил, приласкал Василий Иванович. А почему? Из жалости. Маленькая, глупая. Не верит он, наверное, в меня. Доказать бы ему, что недаром он меня Чапаенком назвал, совершить бы какой-нибудь геройский поступок, чтобы все ахнули,— другое бы дело. А вот как его совершишь? Хорошо бы десяток казаков в плен взять... Или забраться в белый штаб, нагрузить все их секретные папки на подводу да пригнать к своим. Или перекрыть Урал и Чаган большой запрудой, чтобы все белые казаки без воды передохли...»

ЛИДКА РАЗДАЕТ ОРДЕНА

— Василий Иванович! Василий Иванович! — Петька дергал начдива за сапоги.— Ордена привезли! Вставать надо!

Чапаев недовольно дернул плечом, продолжая обнимать подушку.

— Отстань, Петька! Я же сказал, пару минут вздремну — и все.

— Так ты же, Василий Иванович, второй час дремлешь. Ордена, говорю, привезли. Раздавать будут. Целый ящик.

Спал Чапаев на узеньком ободранном диванчике в комнате начальника разъезда. Из всех удобств — одна подушка, набитая сеном. Возил ее в своем хозяйстве Исаев как раз для таких вот случаев, когда начдиву ну просто необходимо было приклонить голову после боя или бессонной ночи в штабе.

— Какие ордена? Говори потолковее, а то с переводчиком тебя не поймешь. Начальство, что ли, какое прибыло?..

— Прибыло, Василий Иванович. Вот, Чапаенка за тобой послали. Просят по полной форме быть. Дивизию выстраивать требуют...

Чапаев соскочил с диванчика, стал застегивать пуговицы на гимнастерке.

— Какую дивизию? Да они что, с ума сошли? Буду я для красоты строя с фронта полки снимать... Кто это такой умный нашелся? Пойдем поглядим.

Лидка не замедлила дать свое описание прибывшего начальника:

— У него на носу нашлепка такая, Василий Иванович. И подбородок вроде гармошки. Опустит голову — как мехи собираются, поднимет — гладко.

— Да чего ты мне про подбородки... Ты мне скажи, какой чин-то? Важный, что ли, с виду? Или так себе?

— Важный, Василий Иваныч, очень важный,— заторопилась Лидка.— Никого к ящику не подпускает. Руки в перчатках так на нем и держит...

— Ну, не добьешься от вас толку... Пошли. Сам разберусь.

Важным начальником оказался завхоз армии, из бывших военных интендантов. Ему и помощнику из

чальника политотдела армии поручено было провести торжественное вручение орденов отличившимся в бою за Уфу чапаевцам. Но случилось так, что перед самым отъездом помощнику начальника Епишину сообщили о том, что у него жена попала под лошадь извозчика и лежит в больнице. И завхоз отправился один.

Орденов он привез много. Целый ящик. Ну, конечно, не такой, в каких винтовки возят. Поменьше. Даже совсем поменьше. Вроде коробки из-под новеньких ботинок, какие еще при царе продавали. Помнит Лидка, как Септимии отец обувку, перед тем как ей на работу в Трубочный поступать, покупал. Ну точно такая же красивая коробка была.

Запустил Чапаев руку в коробку, вынул один орден, покачал его на ладони, языком пощелкал:

— Смотри-ка, красивый... Красного Знамени...

Приложил к гимнастерке, чуть выше левого кармашка.

— Ну, как глядится? Этот, поди-ка, всех моих четырех «Георгиев» стоит. Да для кого привез-то?— спросил представителя из армии.

— Ну как для кого...— удивился тот.— Ясно для кого... Для героев. Сколько их у вас?

Чапаев положил орден в картонный ящик, подержал ящик на ладони и захлопнул крышку.

— Вези обратно.

— То есть как?— не понял представитель.— Это же награждение.

— А вот так, у нас все герои. Значит, и ордена нужны всем. Нету у тебя на всех?

— Нету...— смешался завхоз. Сразу куда важность девалась.

Лидка осуждающе смотрела на Чапаева. Зря это он. Вот если бы ее, Лидку наградили, ни в жизнь бы назад не отдала! Эх, пройтись бы с таким орденом по Ярмарочной! Все бы от зависти лопнули.

Так представитель армии и увез ящик с орденами назад. А когда вернулся в дивизию Фурманов и узнал о том, что произошло, ужасно рассердился:

— Да ты понимаешь, Василий Иванович, что наделал? Ты же осмеянию героический символ Советской власти подверг.

— Да будет тебе, комиссар...— в лице изменился

начальник дивизии.— Как это я Советскую [illegible] осменвать? Да я за нее...

— Да это понятно. Это все знают. А [illegible] нами нехорошо поступил... Теперь этот завх[illegible] такую бумагу накатает, что любой анархи[illegible] перед тобой будет выглядеть.

И зачесал Чапаев свою лобастую голову:

— Ну, подсказывай, как поправить...

Но раньше чем Чапаев поправил дело, [illegible] он неуклюже извинялся в кабинете начальни[illegible] управления армии и отличившиеся чапаевцы получ[illegible] свои заслуженные ордена, произошло событие, [illegible] о котором разошелся по всему Восточному фронт[illegible] И где бы об этом событии ни шел разговор, люди умирали от хохота, бились в припадках неудержи[illegible] мого смеха, ухали и ахали от восхищения. Ведь над же такое учудить!

А главной героиней этой обошедшей фронт удиви[illegible] тельной проказы была опять она, Лидка Лагунова.

Под станцией Неплюевская в коротком стремитель[illegible] ном бою отбили чапаевцы у колчаковцев богатый обоз. Чего там только не было! Ну, четыре подводы новеньких икон для торжественных молебнов по слу[illegible] чаю предполагаемого въезда адмирала в Москву ни у кого интереса не вызвали. Вывалили иконы, напи[illegible] санные богомазами в каком-то сибирском городе по заказу самого верховного за большие деньги, посре[illegible] дине станицы, и никто никакого интереса не проявил. Только несколько чересчур богомольных старух ута[illegible] щили домой понравившихся богородиц и Николаев чудотворцев. Уж больно ярко горели медные оклады у икон. Просто глаза слепило от яркости.

Много чего было в том обозе. И сапогами чехосло[illegible] вацкими чапаевцы поразжились, и ботинками англий[illegible] скими, и пулеметами французскими, и тушенкой аме[illegible] риканской.

Это все быстро прибрали к рукам полковые интен[illegible] данты, поспорив, конечно, кому сколько и кто больше заслужил колчаковского добра.

А вот судьбу одного громадного и тяжеленно[illegible] го ящика никак не могли определить. Были в том ящике ордена и медали, должно быть, для награждения тех солдат и офицеров белой армии, которые первыми вой[illegible] дут в Москву. Но с Москвой у Колчака ничего не

получилось. Не увидел он своей златоглавой, о которой мечтал, о которой страстные речи держал в сибирских городах перед разодетыми купчихами и фабрикантшами.

А раз так, раз провалилась колчаковская мечта, то куда эти ордена?

На беду, не было при вскрытии этого ящика ни командира дивизии, ни комиссара. А интендантам — им зачем эти блестящие побрякушки?

— Это деревенским ребятишкам раздать можно. Никакой в их ценности.

— Зачем деревенским? У нас свои есть. Эй, где тут наш Чапаенок? Давай ее сюда!

Лидка тут как тут.

Помощник бригадного интенданта, старый рабочий Трубочного завода, которого Лидка знала еще по Самаре, друг командира заводской дружины Пал Палыча Митрофан Поротиков откинул крышку ящика:

— Хочешь быть владычицей сокровищ?

Лидка, недолго думая, запустила руку в сверкающую, переливающуюся цветными камешками, может настоящими, а может и поддельными, массу красивых крестов, звезд, кругляшек, цепочек, лент...

— Хочу!

— Ну вот и владей!

Поначалу Лидка хотела нацепить все эти ордена и медали на себя. Но тут же устыдилась этой мысли. Вот дура! Да они все царские, все для белых... Разве может поганить себя красный боец белыми побрякушками?

Раздать деревенским мальчишкам?.. А что они с ними делать будут? Еще начнут прикалывать на рубахи да носить эту гадость... Тоже не дело.

И вдруг пришла ей в голову блестящая идея. В штабе бригады видела она захваченного в плен колчаковца-полковника. Толстого, надменного, сплошь увешанного орденами. Они у него не помещались на груди и свисали с цветных ленточек даже на низ живота. На допросах полковник молчал, только презрительно выпячивал нижнюю губу да вращал большими, навыкат, черными глазами с заметной раскосиной.

— Ладно, черт с ним! Пусть помолчит,— сказал командир бригады.— Это он с перепугу. Через день сам на допрос попросится.

Лидке показалось, что полковник здоро[illegible] похож. Но вот на кого?..

В этой станице штаб бригады и Разинс[illegible] стояли уже третий день. Лидка успела по[illegible] с сыновьями хозяев, у которых они кварт[illegible] Настей,— двенадцатилетним Федькой и де[illegible] Гришкой. Они тенью ходили за Лидкой, [illegible] ные ее бравым военным видом, ее малинов[illegible] фе, кожаными леями на коленях, зеленой [illegible] кой из английского сукна, офицерским рем[illegible] ное — ее пистолетом в маленькой аккуратн[illegible] ной кобуре. Старший даже осмелился — попросил подержать его. Лидка милостиво разрешила.

Они и сейчас тут, рядом, в первом ряду станичных мальчишек глазеют на то, как делят чапаевские интенданты трофеи...

Так вот, во дворе своих хозяев увидела Лидка годовалого быка с упрямой крутолобой головой, с глазами навыкат, который близко к себе никого не подпускал, не позволял себя ни погладить, ни покормить из рук.

Так вот на кого похож пленный полковник! На этого быка! А что если?..

Лидка подмигнула Кольке и Митьке, дернула приглашающе подбородком: сюда, мол! Они были похожи друг на друга, как две пуговицы с одной гимнастерки. Одинаково белобрысые. Одинаково облупленные розовые носы, редкие передние зубы. И глаза у обоих, как голубенький ситец.

Оба в два прыжка тотчас же стали перед ней. О чем с ними разговаривала Лидка, конечно, никто не узнал. Не до того было. Пронесся слух, что те двадцать подвод с разными тканями, где был и дешевенький ситец и дорогой маркизет, отдадут местным жителям, поскольку фронтовым бойцам эти ткани без надобности. Зачем же добру пропадать?

А Колька с Митькой уже вьюнами вились в ораве станичной ребятни, и в считанные минуты точно ветром сдуло всю ораву с пыльного пятачка у станичной атаманской канцелярии.

Это никого особо не встревожило. Мало ли занятий у голопятых! Может, в лапту на выгон побежали играть или в чижа-гоняло. А то купаться в омутах...

И не сразу сообразили красноармейцы и станич-

ники, как и почему, а главное — зачем появился на площади молодой крутолобый черный бык со злыми выпученными глазами.

На его еще небольших, но острых и крепких рогах—веревка, за которую тянет Колька. В свободной руке у Кольки какие-то ленты, бечевки, веревочки, шнурки. А Серега подхлестывает быка сзади длинной хворостиной.

Лидка с победоносным видом оглядывает толпу. Теперь все взгляды прикованы к ней. Ведь именно к ней подвел быка Колька, ей передал ленточки и шнурки. Что это Чапаенок вытворять будет?

А Лидку уже понесло. Людское внимание всегда пьянит ее, наполняет ощущением собственной значительности, требует немедленного действия.

Она засунула руку в ящик, закрыла глаза — смотрите, мол, не выбираю — и, вытащив горсть сверкающих орденов и медалей, стала привязывать их к веревочкам, лентам и бечевкам.

Кажется, люди стали понимать, что за этим последует, раздались легкие смешки.

— Э-э-э, Чапаенок, ты с Георгиевскими-то не шути. Это особая статья... Остальные хоть с золотом, хоть с брильянтом — мне без разницы, не жалко, а «Георгия» не тронь. Это солдатская награда за кровь. Сам Чапаев четыре имеет. Я — три. Давай-кось я их отберу у тебя.

Старый, с густой сединой красноармеец из первого батальона Разинского полка Гуляев сел на корточки перед ящиком и стал выбирать Георгиевские кресты.

А тем временем быка увешивали орденами. Украсили ими рога. Закрыли сверкающими медалями весь лоб. В три или четыре ряда увесили шею. Один — большой, в виде красного креста с белой эмалевой середкой и каким-то золотым вензелем в этой середке — привязали к хвосту.

И, странное дело, бык, обычно строптивый и непокорный, довольно спокойно сносил все это, даже вроде удовольствие испытывал от людского внимания.

Гулко, басовито смеялся полковой писарь Гончаров:

— Ого-го-го! Ваше бычиное благородие или его бычиное превосходительство, поздравляю с высоким и обильным награждением! Ого-го-го!

Но это были еще цветики. Когда приступ хохота

у Гончарова пошел на убыль. Лагу... к писарю.

— Филиппыч, а у того пленного ... орденов не меньше. Хорошо бы их показ... ке. А?

Гончарову только намекни. Мигом ... и... устроил. Как он уговорил начальство — загадка, но через несколько минут из задней комнаты штабной избы, где держали пленных, вывели на площадь полковника. Он шел важный, напыщенный, свирепый, ослепляя людей блеском своего иконостаса. Голова набычена, ни на кого не глянет, весь полон ненависти к людям.

Быка он увидел, когда оказался в двух шагах от него. И от напыщенности и важности вдруг ни-какого следа. Потому что бык, ослепленный сиянием орденов полковника, низко нагнул голову, выставил вперед рога, яростно заскреб копытом. Вот-вот кинется на этого сверкающего человека!

Полковник в ужасе попятился и вдруг, закричав заячьим голосом, шлепнулся откормленным задом на землю.

Неизвестно, чем бы окончился этот «поединок», если бы не вмешался кто-то из старших командиров:

— А ну, прекратить! Нашли игрушку... С пленными тоже надо уважительно обращаться. Мы еще не узнали, что он за птица. Отвести на место!

Полковника увели.

Кто-то хлестнул быка хворостиной, и он, сверкая и гремя орденами, помчался вдоль станичной улицы, пугая прохожих, заставляя креститься богомольных старушек, увидевших в скачущем чудовище начало светопреставления.

А и в самом деле было похоже. По улицам, дворам, чердакам, по станичному выгону бегали, метались, летали обезумевшие свиньи, козы, собаки, кошки, гуси и петухи... с медалями, прикрепленными к ушам, хвостам, перьям. И все это лаяло, мяукало, блеяло и сопровождалось многоголосым хохотом истосковавшихся по веселому и беззаботному смеху взрослых людей.

А Лидке, затеявшей это удивительное представление, вдруг стало грустно. Ведь узнают Чапаев или Фурманов — такую вздрючку дадут! Цирк в деревне уст...

ила!.. Теперь напуганные козы две недели доиться не будут.

Но первым выговорил ей комиссар полка Казурин:

— Срам, товарищ Лагунова. Дурацкое твое представление. Хорошо выяснили, что все ордена и медали поддельные. Нет в них ни золота, ни серебра. По сибирским театрам набрали. А то не миновать бы тебе трибунала...

Лидка перепугалась:

— Трибунала?

— Ну, трибунала не трибунала... А уж домой-то, точно бы отправили.

Когда Казурин слегка отошел и сердитая складка на его переносице разгладилась, Лидка спросила о том полковнике, над которым так бездумно поиздевалась.

Казурин улыбнулся:

— Да ладно, не переживай. Не стоит он того... Знаешь, почему молчал-то?

— Гордый больно, знаться с нами не хочет...

— Да как же он мог говорить, когда по-русски ни слова. Колчак его с китайской границы вывез. Велел нацепить на него побольше разных орденов, возить везде, поить, кормить и показывать. Уйгурский князь! Это у Колчака такая политика — приманивать на свою сторону разных князей, ханов, мурз, тойонов, чтобы иностранцам пыль в глаза пускать, ну и местному населению тоже: глядите, мол, все за нас — и уйгуры, и казахи, и башкиры, и буряты... Только денег да оружия не хватает!

Лидка качала головой, щелкала языком:

— Какой хитрый этот Колчак! А мы все равно хитрей!

ПОД ХУТОРОМ ГНИЛОВСКИМ

Воевать на Уральском фронте трудно. Степь, степь и степь. Голая, выжженная беспощадным июльским солнцем. Колодцы или отравлены, или забиты падалью. Из-за каждого плетня — настороженный враждебный взгляд, а то и пуля. Кулачье! А тут еще степь подожгли белые. Хотели огнем и дымом выкурить красных. Да просчитались. Огонь повернул на юг, в их сторону.

Казаки — опасные враги. Опасные вояки. То пластуны заставу сонную вырежут, то без звука из ночной тьмы выкатится с той стороны, откуда никто не ждет, плотный ком конной лавы.

Чапаевцы все ближе и ближе к Уральску. Вот-вот прорвутся к нему. Но бдительности терять нельзя. Оплошаешь — голову потеряешь. Вот почему в полках, бригадах усиливали дозоры, сдваивали караулы, выставляли больше секретов. Лидка ни разу не была в секрете. Под хутором Гниловским попала в него впервые. Вместе с Лешей Самарцевым.

Леша был племянником бывшего начальника штаба дивизии Петра Самарцева. Но дядя не пригревал племянника. А Леша, если бы ему кто-нибудь покровительствовал, счел бы это за страшную обиду. Парень он независимый и самолюбивый. Любил риск и опасность и в шестнадцать лет был уже стреляным, ловким и надежным солдатом. Остер на язык. Знал много всяких историй, побасенок, сказок. На отдыхе целыми часами развлекал товарищей. Любил Леша щегольнуть хорошими сапогами и алой кубанкой, ухаживал за своим кудрявым рыжим чубом, из трофеев уважал только изящные маленькие офицерские пистолеты. К Лидке относился с небрежной снисходительностью, но в обиду ее никому не давал. Она была, пожалуй, единственным человеком в дивизии, которому он позволял подтрунивать над собой. Предметом Лидкиных насмешек чаще всего было несоответствие цвета Лешкиных глаз цвету волос. Волосы — рыжие. Глаза — черные.

Лидка часто изводила его:

— Лешка, а Лешка, почему ты такой чудной?

Леша отмахивался:

— Да отвяжись ты! Какой это «чудной»?

— А такой... серо-буро-малиновый. Порода, наверное, такая, как у морских мышей. Только у них немного по-другому. Шерсть — белая, глаза — красные. Тебя бы в цирк.

Леша, разозлившись, переходил в наступление:

— Тебя тоже можно туда же. Про девицу-кавалериста Надежду Дурову слыхала?

Лидка, сраженная таким вопросом, смущенно призналась в невежестве:

— Нет.

Последнее слово все-таки всегда оставалось за Лешей.

...Им дали пулемет. Они приткнулись в окопчике у подножия пологого холма. Место удачное. Снизу вверх хорошо видно.

Леша деловито приспособил «максим», отцепил от пояса котелок, фляжку, положил их на бруствер. Лидка замаскировала гнездо сухим бурьяном.

Ночь надвигалась беззвездная, теплая. Она точно плотным тяжелым одеялом покрывала людей, и у них сами собой смыкались глаза. Но секрету спать нельзя. Его задача — держать ухо востро. Мало ли что может случиться...

Леша достал кисет с махоркой. Скрутил цигарку. Потянулась к кисету и Лидка.

— Дай и мне!

Она ни в чем не хотела отставать от своих боевых товарищей. Лешка отвел кисет, хохотнул.

— А после выпить запросишь...

Лидка хотела обидеться. Потом раздумала.

В секрете придется сидеть до утра, и если тебе не расскажут какой-нибудь истории или сказки, совсем погибнешь от скуки. Тем более что, когда собирались в секрет, Леша обещал рассказать новую. Сказки рассказывал Леша только самые страшные: про чертей, ведьм, колдунов. И трудно было понять, слышал ли он их где или сам сочинял. Изя Шапиро однажды, послушав его, сказал:

— Ох и фантазия у тебя, Самарцев! Любого Гримма за пояс заткнешь.

Лидка уже хорошо знала сказки братьев Гримм и с Изей согласилась: у Леши получалось ничуть не хуже... Вот и сейчас плетет он новую сказку, да так ладно, что все одно к другому ложится. Точно книжку читает. Но сказка сказкой, а дело делом. И, шепотом повествуя Лидке о делах, которые совершаются сейчас в преисподней, Леша зорко вглядывается в темноту, время от времени прикладываясь губами к рукаву шинели, в котором спрятана цигарка.

— ...И объявили черти забастовку. «Не хотим,— говорят,— работать, да и все. Пойдем лучше к людям жить. У них вот и машины, и аэропланы имеются. На поездах ездят. Кино смотрят. В карты играют,

вино пьют. А нам все одно: таскай грешные души да уголь в кочегарку подбрасывай...»

Уговаривал их, уговаривал главный черт, обещал им всякую райскую жизнь, даже с богом обещал договориться, чтобы их потом за верную службу в ангелов превратили, на своем стоят черти:

«Тебе хорошо, сидишь на котле и только командуешь... А у нас даже водопровода нет. Поноси-ка смолу-то да кипяток в ведрах тысячу лет — надорвешься. Только и радости, что к людям в кои-то веки раз в командировку отпросишься. Хватит! Поездили на нас! Революцию будем делать!»

Верить Леше или не верить? Лидка не знала, как и быть. С одной стороны, комсомольцы не признают ни черта, ни [illegible]. А с другой — как же не поверить, если Лешка так [illegible]но говорит, даже не улыбнется.

А Самарин [illegible]:

— Заперли [illegible] Люцифера в пустой котел, закрыли крышкой [illegible]: «Это мы тебя в карцер, поскольку [illegible] массы идешь. Посиди подумай. Может, [illegible] надумаешь». А Люцифер и давай кричать: «[illegible] самому надоело это дело! Возьмите меня [illegible] к людям! Вы-то их хоть раз да видели, а я только с [illegible] душами дело имел. Ни разу на землю [illegible]ирался. Все пост свой соблюдал. Возьмите, братцы. Что я у бога теленка съел, что ли?»

Лидка робко дотрагивается до Лешиной руки:

— Леша, а Леш. Скажи, а вот в нашенское время черти водятся? Ведь когда нас в комсомол принимали, говорили, что ни ада ни рая на свете нет.

Леша, явно стараясь продлить удовольствие от произведенного эффекта, затягивается дымком и только спустя минуту совершенно равнодушно отвечает:

— А кто тебя, мой генерал, заставляет верить? Я разве? А касаемо чертей — факт, водятся.

— А колдуны?

— А куда им деваться? Имеются.

И Лидке уже страшно. Не боится, когда белая конница перед самым носом саблями сверкает, а вот когда про чертей рассказывают — жутко. Жутко и хорошо.

А Леша разошелся. Не остановишь.

— Выпустили черти всех грешников из геенны ог-

ненной, дали им рубахи, штаны, чтобы те оделись. Построились в колонны и пошли наверх, на землю. А ты знаешь, какой путь-то оттуда,— Леша постучал каблуком сапога по земле,— до нас?

— Откуда?— Лидка не ожидала вопроса.

— Ну из ада вот до места, где мы, например, сидим?

— Не знаю.

— Сорок дней и сорок ночей надо бегом бежать. И то не поспеешь...

Лидка удивленно ахает. Теперь у нее новый вопрос:

— А как же они оттуда выходят? Неужто такая глубокая дырка есть?

— Факт, есть, мой генерал,— солидно утверждает Леша.— Я тебе завтра утром открытку покажу. На ней гора двугорбая нарисована. На Кавказе есть. Так Верблюдом и называется. Вот из этой дырки между горбами они и вылазят. В газетах написано, что все сроки уже кончились, как черти из дому вышли. Сегодня-завтра среди людей появятся.

Лидка уже не смеет сомневаться.

— А за кого они будут, Леш, за нас или за беляков?

В горле Самарцева что-то булькнуло. Не то закашлялся, не то рассмеялся.

— Сам думаю. С одной стороны, они вроде бы на пролетариат смахивают. Их тоже угнетали. Всю жизнь только и знали, что смолу кипятить да следить, хорошо ли грешники поджарились да уварились. А с другой — на купцов похожи. Деньги имели — души покупали. Я лично ничего бы не имел против, если бы к нам в разведку дюжинку добрых чертей определили. Веселые, должно быть, ребята!

Темь, хоть глаза выколи. Ни единой звезды на небе. А темноты Лидка боится больше казацкой пики. Хорошо, хоть вдвоем. Лешка сам напросился в секрет, хотя прошлой ночью вернулся из дальней и трудной разведки. Правда, рядом еще один друг — «максим». Лидка прижимается щекой к его холодному гладкому колесу.

«За кого же все-таки будут черти?» — думает Лидка.

Леша спит. Долго крепился. Нельзя же было ронять мужского достоинства перед девчонкой. А потом признался:

— Слышь, Чапаенок, я подремлю пять минут. Скулы сводит... Чуть что, ты толкни...

Лидка согласилась. А через полчаса пожалела. Какими же тяжелыми стали верхние веки. Как из чугуна. Лидка мочила их слюной, поддерживала пальцами, щипала себя за нос. А сонливость не проходила.

На горизонте, где соединялись небо и вершина холма, появилась белая полоска. Потом она стала розовой.

И вот тут-то и померещилась Лидке какая-то чертовщина. На розовеющий гребень холма выкатилась круглая тень. Выкатилась — и прямо к ней, к Лидке, по склону. Следом за первой — другая, третья, десятая...

Откуда они взялись? Почему их так много? Тени растут, удлиняются. Вот уже видно, как каждая из них теряет круглую форму, делится на две части: продолговатую и качающуюся — нижнюю и прямую неподвижную — верхнюю.

Сна как не бывало. Лидка толкает локтем в бок Лешу:

— Леша, черти!

Но Леша не слышит. Он спит крепким мальчишеским сном, каким спят люди, хорошо поработавшие днем, люди с чистой совестью и доброй надеждой на счастливое утро, люди, у которых все впереди.

— Казаки! — уже другим голосом кричит Лидка через секунду, а сама — за деревянные ручки «максима». Лента вложена еще с вечера. Только нажать на спуск.

Леша встрепенулся, глянул на бугор, все понял и быстро лег на место второго номера.

Рассыпаясь веером, из-за холма выкатывались казачьи сотни.

— Огонь! — Голос у Леши сухой, хриплый.

Лидка не торопясь развернула пулемет. Плавно нажала на спуск. Чтобы не волноваться, закусила до крови губу. Прошила длинной очередью лаву. Кони, всхрапывая, вставали на дыбы. Казаки летели на землю.

Леша дышал в ухо:

— Хорошо, Чапаенок! Так их! Давай! Давай! Ух как здорово!

Ярость, неукротимая, беспредельная ярость заполняет грудь Лидки. Вот вам, белые гады. Получайте подарок от Чапаенка! За все! За все!

Вода закипела в кожухе. Лешка меняет ее. А из-за гребня появляются все новые и новые всадники.

И вдруг Лидку захватывает тревожная мысль: «Хватит ли патронов? Надо экономить!»

Очереди «максима» стали короче и злее.

А казаки все ближе, ближе. Уже полыхают над их головами белые молнии клинков...

Ствол раскалился. Пулемет плюется. Лидка на короткое время прекращает стрельбу. Почему же не слышно цокота копыт? Ведь земля сухая, звонкая... Ах, вот в чем дело! На копытах чехлы из тонкого войлока. Небось рассчитывали, что красные посты спят. Думали — не услышат. Ну держитесь в таком разе!

Лидка наметила на рыжей выгоревшей земле черту, через которую не должен перескочить ни один враг. Черта начинается от большого серого камня слева. Идет по широкому кусту бурьяна. Справа — лошадь, лежащая на спине и задравшая к небу ноги в войлочных чулках.

Пулемет чуть отдохнул, и Лидка снова нажимает на гашетку. И опять, мелко задрожав, заходил справа налево и слева направо тяжелый рифленый ствол.

И падают, валятся на землю конники. А уцелевшие круто поворачивают коней назад. Левое крыло лавы теперь забирает все дальше и дальше в степь, обходя проклятый пулемет, направляясь к лощине, которая ведет к хутору.

— Не пущу! Не пущу!— шепчет Лидка запекшимися губами.

До сознания с трудом доходит Лешин крик:

— Последняя лента!..

Последняя! У Лидки горько стало во рту. Она не думает о том, что казаки могут через мгновение искрошить ее и Лешу. Белых нельзя допустить к лощине. Неужели прорвутся?

Лента к концу. Ну почему она такая короткая? Скажи кто-нибудь сейчас Лидке: «Вот тебе еще лента — только помни, последняя пуля в твое же сердце!»,— не думая, согласилась бы. Да кто такое скажет?

Последние патроны. Внезапно Лидка почувствовала, что стреляет не одна.

«Тах-тах-так. Та-та-та»,— заговорили и справа и слева другие пулеметы.

Казачьи сотни, не дойдя до лощины какого-нибудь десятка метров, вдруг повернули назад и беспорядочно, ломая строй, поскакали к вершине бугра... Как на крыльях, в черной своей бурке, сверкая занесенной над головой шашкой, из лощины выскочил Чапаев с эскадронами Суровского полка. Точно вихрь сорвал Лешу с места. Он выпрыгнул из окопчика, сорвал засаленную, с красным верхом кубанку, махал ею и, пританцовывая, кричал:

— Ура-а!

Давно кончился бой. Теперь завладели полем санитары. А Лидка все еще лежала, вцепившись в рукоятки пулемета.

Леша с тревогой спрашивал:

— Что с тобой, Чапаенок?— и, не дождавшись ответа, ощупывал ее — не ранена ли?

А она просто устала. Устала так, что трудно было пошевелиться, разнять руки, встать, ответить.

И даже спустя час, стоя в строю, Лидка едва держалась на ногах. А глаза слипались, хотелось опуститься на землю. Она не поняла, зачем их с Лешей вывели из строя и поставили на виду всего полка... Она и команду не слыхала. Пошла потому, что кто-то толкнул в спину и шепнул:

— Иди за Самарцевым, не отставай!

И только тогда, когда по рядам прокатилась звонкая команда: «Полк, смирно! Равнение на середину!»— она вздрогнула и внутренне подобралась. До сознания дошло: это ведь на них, ребятишек, равняются сейчас чапаевцы! А вот почему — не понимала.

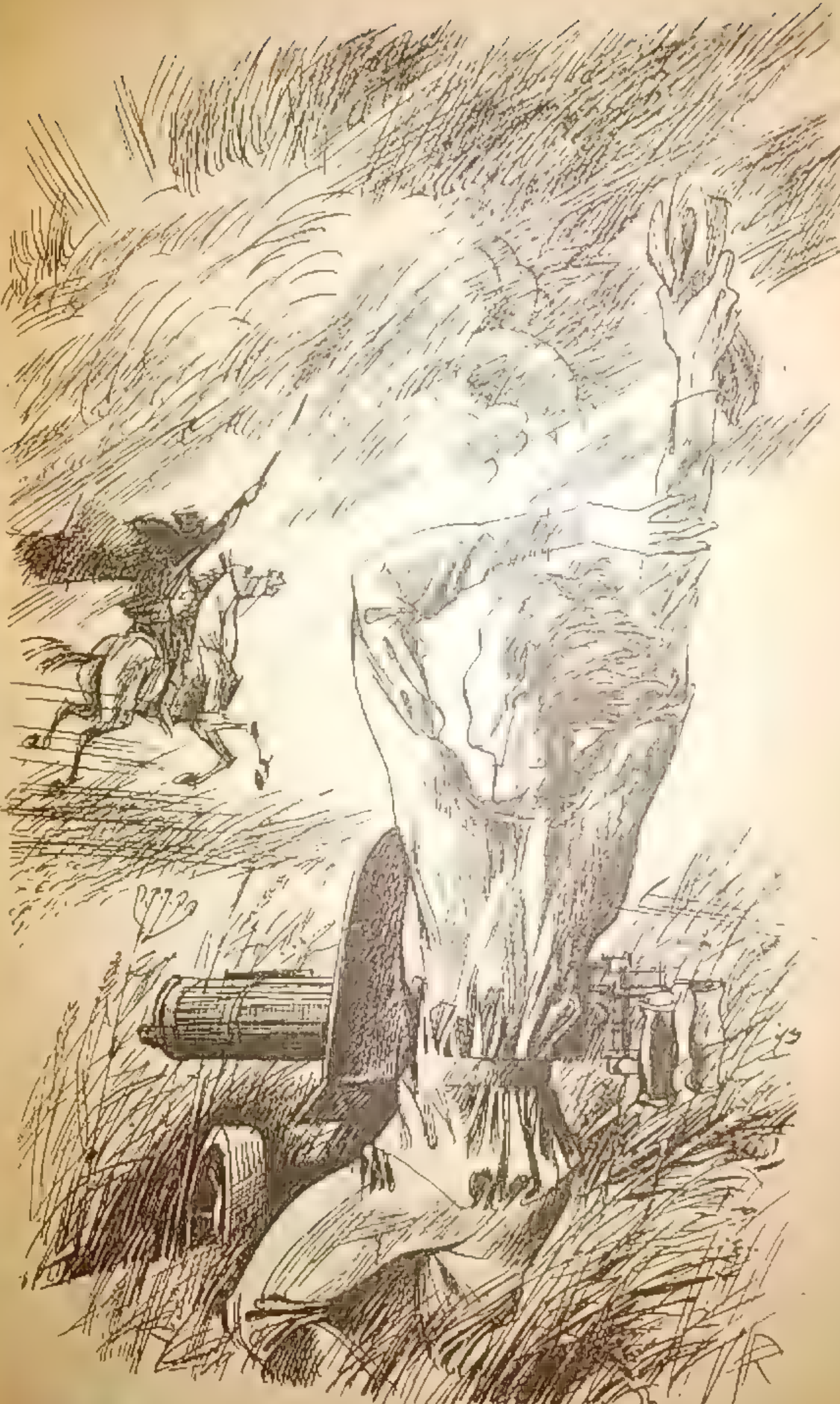
Далеко по утренней уральской степи разносился голос Чапаева:

— Молодцы! Не растерялись. Вон сколько казары уложили! Почет вам и слава, юные бойцы!

Как перышко поднял Чапаев своими жилистыми руками Лидку в воздух и поцеловал. Лидке и стыдно и радостно. Уткнула лицо в сукно чапаевской бурки.

Потом Василий Иванович опустил Лидку на землю и полез рукой в нагрудный карман гимнастерки. Вынул свои личные золотые часы.

— Это тебе за храбрость, Чапаенок, за мужество!



А тебе... – Чапаев задумчиво крутил ус, глядя на Лешу. – Что же тебе подарить, боец Самарцев?

Лидка смотрела на Василия Ивановича и понимала: хитрит командир дивизии. Знает, великолепно знает, что подарить Леше.

Да и ни для кого не было секретом в эту минуту желание Самарцева. Черные блестящие глаза Леши зачарованно ласкали маленький командирский браунинг в аккуратной кобуре из желтой кожи. У Леши даже в горле, должно быть, пересохло от волнения. Подарит его Чапаев или не подарит?

Подарил его Леше Василий Иванович с условием:

— Смотри, хоть раз промахнешься — отберу...

...Ночь была душная, неподвижная. В избах спать – только дряхлым старикам впору.

Попросили бойцы разрешения у начальства зажигать костры в степи и спать около них. Да разве уснет кто! Особенно после такого боя. Тут еще каждая жилочка трепещет, сердце не успокаивается.

Тут каждая секунда вспоминается, особенно если ты хоть маленькое, да геройство проявил. Да только не все ведь геройство-то проявили.

Вот сидит напротив Лидки молодой боец. Понурый, обмякший, глаза прячет. Рядом котелок с нетронутой кашей. Первый раз в бою был. И ни единого выстрела не сделал. Как разорвался неподалеку снаряд, так лбом в землю и влип. И не поднимался, пока не отбили белых и кто-то ниже спины прикладом не огрел. А то неизвестно сколько бы еще пролежал.

Вот и частит его командир взвода, вот и расчесывает. Да все одинаковыми словами, которые бьют хлестко, да уж и зло и очень обидно.

— Ну куда я с таким пополнением? Что мне от него проку? Лежит колода колодой: бери его голыми руками! Нет уж, не надо таких бойцов! Все равно что одному с врагами воевать. А один в поле не воин. Завтра рапорт подам. Или давайте мне настоящих бойцов, чтобы воевать умели и не умирали от страха. Или в рядовые определяйте...

Когда подошел к костру Чапаев, Лидка так и не заметила. Только вырос он за спиной взводного, прячась в темноте, постоял, послушал, никем не обнаруженный. А потом сделал шаг к костру и, сбросив с плеч бурку, сел на нее.

— Кто табачком богат? Раскошеливайся. Уж больно угольки у вас аппетитные.

Замолк взводный. Вскочил. И бойцы за ним начали подниматься.

— Да ладно, ладно! Что всполошились? Не на параде, чай. Сидите, сидите. Я же вот сижу.

Свернул начдив самокрутку, сунул в рот. Выкатил прутиком пунцовый уголек, покатал его в ладонях, прикурил.

— Значит, стратегию и тактику одиночного бойца обсуждаете. Так-так... И что же по вашему выходит: один в поле не воин? Так то не наша большевистская наука. Она к поражению зовет. Ну-ка вот давайте порассуждаем...

Ах как умел разговаривать с бойцами Чапаев! Не в первый раз слушала Лидка полные доброй усмешки и лукавства речи и разговоры Чапаева и всегда удивлялась: как это он здорово и умно умеет все повернуть по-своему и заставить людей задуматься!

— А чего? Кто ее знает, эту поговорку... Может, ее какой-нибудь трус и выдумал, чтобы прикрыть свою трусость? И один — воин. Да хоть бы и меня возьми. Мне чем больше врагов-то, тем сподручнее бить. Куда ни махнешь саблей — ан то один упал, то другой.

А ежели стрелять, дак я на отделение один с милой душой тоже пойду. Веселая арифметика получается. Лежи себе да после каждого выстрела убавление делай. Было десять, стало девять. Было девять, стало восемь. Так и убавляй знай себе, пока до нуля не докатишься.

А врагу-то, если его много, а ты один, совсем плохо: попробуй-ка попади в одного, если он хорошо зарылся да замаскировался. Один — словно иголка в стогу сена. А десять — это тебе не одна иголка, а все десять. А уж из десяти-то сколько-нибудь да найдешь.

Поняли, почему одному ловчее десятерых бить? А потом психика опять же не последнее дело. Ты один. Тебя не видят. Ты одного вывел из строя, другого. Пятого. А вот до шестого-то дойдешь — остальные сами руки вверх поднимут. Это уж точно. Верьте моему солдатскому опыту. Трех-четырех немцев обязательно под конвоем один приводил.

Чапаев расстегнул верхние пуговицы гимнастерки,

покрутил жилистой загорелой шеей, подмигнул и стал вдруг таким простым и домашним, что у Лидки сердце зашлось от любви и преданности к этому человеку. И хоть он не обращался к ней и вроде даже не видел, все равно она чувствовала себя согретой его отцовской, проникающей в душу улыбкой, его теплом и лаской, которых он не жалел для людей.

Впрочем, может быть, и Чапаев не замечал у костра никаких других людей, кроме одного — молоденького зеленого бойца Андрея Зубавина, о поведении которого в бою услышал сейчас от командира взвода.

Все люди для Василия Ивановича как бы сосредоточились сейчас и слились в этом рыжеватом, голубоглазом, увлеченном юноше, который еще не перестал расти.

Чапаев был сейчас для него не грозным, мечущим молнии полководцем, готовым одним словом убить человека, а старшим товарищем, мягким и сердечным, все понимающим человеком, добрым, подаренным переменчивой военной судьбой надежным другом. И на глазах у всех парень оттаивал. Уже не вжималась голова в плечи, уже разошлись прямые стрелки его бровей. Уже не потели ладони.

— Я, Василий Иванович, все понял. Я все как надо теперь сделаю. Доверьте мне в разведку сходить. Я, ей-богу, не подведу! Это просто в первый раз затмение нашло.

Чапаев положил парню руку на плечо.

— Ну уже сразу и в разведку. Голову сунуть в петлю — это, брат, не доблесть. Это дурость и глупость, недостойная бойца Красной Армии. Для этого целую науку надо пройти. Вон хотя бы такую, какую Лидка Лагунова прошла. Видишь деваху в красных галифе?

Парень отрицательно крутил головой:

— Не вижу пока.

— Чапаенок, двинь-ка сюда!

Лидка слышала весь разговор. Ей было удивительно хорошо. Сам Василий Иванович ее в пример ставит.

— Тут я, товарищ начдив.

— Ты вот скажи этому жениху — что такое разведка? Наука или плевое дело?

Она ответила словами Щербакова:

— Разведка есть глаза и уши армии.

Чапаев довольно крутил усы:

— Вот как! Понял? Так что ты пока стрелять научись не жмурясь. А там посмотрим. Поначалу-то все мы маленько с трусцой бываем.— И опять Лидке:— Скажи, когда стрелять училась, жмурилась?

Стыдновато признаваться. А куда денешься?

— Было, товарищ начдив. Жмурилась.

Теперь у парня пропала в лице всякая напряженность и скованность. Большие мальчишеские губы расползались в улыбке:

— Научусь, Василий Иванович.

Лидка весело подмигнула:

— Конечно, научится, товарищ начдив. Обязательно научится.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ

Любила Лидка взбираться на колокольни. Разноцветным ковром расстилается внизу степь. Простор такой, так светло и хорошо вокруг, что хочется во все горло запеть:

> Степь да степь кругом,
> Путь далек лежит...

И Лидка пела, не обращая внимания на сухие кулаки грозящих ей снизу богомольных старух.

Чапаевцы никогда не пренебрегали правилом своего комдива: «Ростом выше — видишь дальше». Порой на колокольни тянули и пулеметы.

На этот раз Лидка пошла на наблюдательный пункт вместе с командиром взвода Петром Васильевым и интендантом Степаном Рапуновым.

Рапунов — совсем еще молодой, белобрысый, но степенный, рассудительный и к тому же очень вежливый человек. Имя у него было простое, а вот отчество... Как шутили в полку — натощак не выговоришь: Клеоникович.

Но Клеониковичем Рапунова никто не звал. Перекрестили в Коленковича. Он не возражал. Так для бойцов удобнее.

Где-то на подходе транспорт из интендантских складов армии. Чапаевцы обносились, нужны сапоги, гимнастерки, шинели. На груди Степана новенький цейсовский бинокль. Но первым заметил клубы желтой

плыли на линии горизонта Васильев. Он с презрением покачал за кожаный ремешок рапуновский бинокль:

— Нестоящая штука... Слезай с колокольни и принимай свою амуницию. Да не забудь для меня парочку яловых. А то у меня голенища — отдельно, подметки — отдельно. Первый увидел...

— Не забуду, — пообещал Рапунов, когда голова его уже скрылась в люке звонницы.

Потом голова появилась снова.

— Пошли за мной, Чапаенок. Может, сапоги обменяю.

Предложение было заманчивым. От роскошного костюма, в котором Лидка красовалась на пороге родного дома, осталось одно воспоминание. Сапоги чиненые-перечиненные. Гимнастерка о колючую проволоку изодрана. Красные галифе, гордость Лидкина, давно уже не красные, а такие, что и сама хозяйка не может сказать, какого они цвета.

Очень неплохо бы приодеться.

Васильев поддакнул Рапунову:

— Иди-иди. Может, и впрямь что-нибудь путное привезли, хоть и редко это бывает... Их, штабистов-то, там не печет...

Транспорт задержался неспроста. Он привез делегацию рабочих из Самары.

Не надо было командирам стучать в ставни изб и выкрикивать команды на сбор. Всем хотелось знать, как там в тылу, какие вести с других фронтов, здоров ли Ленин. Одно дело, когда об этом свои комиссары говорят, другое — послушать людей, которые на двести-триста верст да ближе к красной столице.

Бесполезное дело пробиваться к трибуне сквозь густую и жаркую толпу, где перемешались все: и бойцы, и командиры, и местные крестьяне. Лидка вскарабкалась на кривую раскидистую ветлу и очень удобно устроилась над головами людей на развилке двух толстых сучков.

Низким, прерывающимся от волнения голосом старший делегат, самарский кузнец Роман Мазин, передавал чапаевцам привет от самарского пролетариата. Слова у него получались редкие, но зато надежные и точные.

— Значит, у нас в тылу крепко. Контру в городе

давим без всякой пощады. А что касается белой казары — вся надежда на вас, товарищи чапаевцы. В большом вы у нас почете. Все рабочие парни, когда приходит пора на фронт идти, только к Чапаю и просятся... Я вот тоже, грешным делом, схитрил. Своего последыша к вам в дивизию привез. Закваска у него ничего... Наша... Пролетарская. Не подведет!

У колеса телеги, с которой выступал кузнец, стоял похожий на отца кряжистый и светловолосый паренек в застиранной гимназической форме. Лидка узнала в нем того самого гимназиста, чью фуражку Сашка так долго не отдавал, когда освистывали бабушку Брешковскую. Тогда еще солдат Миронов сказал, что не все, кто в фуражках с околышем, богачи. Конечно, раз сын кузнеца, какой же он богач? И что к Чапаеву попросился, это хорошо!

«Правильно, что ему тогда фуражку вернули»,— пришла к выводу Лидка.

После митинга, после раздачи чапаевцам подарков, привезенных из Самары — портсигаров, зажигалок, махорки, бумаги, книг,— Рапунов повел делегатов к себе обедать.

Во время раздачи подарков Лидка тоже ушей не вешала. Махорку, кисет, даже папиросы умудрилась получить. А потом все это выменяла и не без выгоды, как она понимала, на книги и бумагу. Из книг ей в руки попались две: старая, затрепанная «Хиромантия и френология» Шиллера-Школьника и четвертый том «Собраний сочинений графа Льва Толстого». Вместо разбитых сапог на ногах у нее красовались ботинки с голубыми австрийскими обмотками. Штаны и гимнастерку тоже получила. Но их еще перешивать надо.

Хорошее настроение у Лидки. Как все здорово получается! А лучше всего, пожалуй, то, что Рапунов пригласил на обед, где будут гости, и ее, Лидку.

— Самарцев-то у нас немного. Хочется же, наверно, побеседовать с земляками. Пойдем. Поедят, отдохнут. Потом расспросишь...

Кроме делегатов, пришли и некоторые командиры Пугачевского и Разинского полков.

Лидка сидела на лавке у стены. Когда пригласили за стол, она только мотнула головой. Успеет. Главное — поговорить бы с земляками.

Их пятеро. Кроме кузнеца Мазина и его сына, еще трое: рыжий, коротко стриженный человек в татарской тюбетейке, однорукий парень в костюме, перешитом из английской офицерской шинели, бородач с цыганскими глазами и черной окладистой бородой.

Рыжий — старшина татарской артели пристанских грузчиков. Однорукий — монтер. Руку потерял в боях с Юденичем под Питером. А бородач — сапожник, которому сейчас доверили заправлять профсоюзом кожевников.

Обед из трех блюд. Сухая, крепко просоленная вобла. Щи из кислой капусты со свежей бараниной. Овсяная каша с молоком.

Гости отлично управлялись с обедом.

Татарин что-то шепнул однорукому. Тот кивнул ему головой и тихонько откашлялся в кулак, как это делают не особо умелые ораторы перед ответственной речью.

— Вы вот спор решите, товарищи. Кто он, Чапаев,— русский или татарин? Наш Сатаров говорит, что татарин из-под Казани и тоже в грузчиках ходил.

Чапаевцы дружно засмеялись.

Все разобъяснил интендант Степан Рапунов. Бледнолицый, худощавый Коленкович сразу же вырос в Лидкиных глазах. Он, оказывается, не такой уж простой, как с первого взгляда кажется, и не весь век с сапогами да походными кухнями возился. И строевым командиром был, и оборону взводом против целого батальона выдерживал. А главное — с самого начала гражданской вместе с Чапаевым воюет. Дружба началась еще раньше — с Февральской революции в одной части служили. Каждый шаг начдива на глазах Рапунова проходил.

В интенданты-то он с легкой руки Чапаева попал. Как ни отказывался, а посадил Василий Иванович его на эти сапоги да походные кухни.

Хозяйка избы убирала со стола. Лидка злилась, когда она гремела мисками. «Не дает людям поговорить. Успела бы и потом».

— Значит, говоришь, в Николаевске Чапаев в запасном полку в чине прапорщика служил, Коленкович? — переспрашивал однорукий Рапунова.

— Совершенно точно. Прибыл в наш полк из госпиталя для подготовки маршевой роты и отправки на фронт.

Вот он когда, оказывается, открылся-то со своим командирским талантом, со своей храбростью! Еще и когда Октябрьской-то революции не было.

Лидка слушает интенданта, переполненная гордостью за своего начдива.

Конечно! Про кого еще можно так рассказывать? Разве мог кто-нибудь так быстро и бесшумно ползать по-пластунски, сохранять сухим оружие при переправе, разрезать саблей на лету яблоко пополам, попасть в самую сердцевину мишени из винтовки навскидку. Никто! Только Чапаев!

Всю историю Чапаева до конца на этот раз ни гостям, ни Лидке не удалось дослушать. Пришел пакет из штаба на имя Рапунова.

— Вы отдыхайте! — предложил Рапунов гостям.— А у меня срочное дело: конницу в вагоны приказано погрузить.

— Да разве интендантское дело — лошадей грузить?— удивился Мазин.

— А у нас не рассуждают. Раз поручено — делай. Вот командиров эскадронов мне на время погрузки подчинил... А вы сидите, сидите...

Но гости от отдыха отказались. Они сняли висевшие на стене пиджаки и следом за интендантом пошли на станцию.

Начинало темнеть. Рапунов ходил вдоль поданного состава и чертыхался. Платформа плохая, неосвещенная. На всю станцию пять фонарей. И нет ни сходен, ни досок.

Командиры совещались. Лидка вертелась среди них и тоже искала выхода.

— Делай факелы!— Это самарский кузнец Мазин пришел на помощь растерявшимся командирам.

Откуда-то притащили несколько ведер мазута. Затрещали доски пристанционного палисадника. Но главная задача оставалась нерешенной: как заводить лошадей в вагоны?

Шпалы коротки. Рельсы? Но по ним только циркачам ходить.

Кое-как все-таки построили несколько крутых сходен из плотно уложенных шпал. Но пользы от них

мало. Лошадей чуть ли не на руках приходилось поднимать в вагоны.

И вдруг все на станции забурлило, задвигалось в бешеном ритме. Из темноты вынырнула стремительная и злая фигура Чапаева. Коршуном налетел он на Рапунова.

— Ты что же мне, товарищ интендант, погрузку срываешь? Знаешь, что бывает за невыполнение приказа?

В это время лошадь, которую тянули под уздцы в вагон, поскользнулась, съехала назад.

В руках Чапаева плетка. Хорошо знакомая Лидке плетка. Вон как крутится ее рукоятка между вспотевшими нервными пальцами начдива, змеиным языком извивается ее ременный хвост. Вот-вот ужалит.

— Подручных материалов нет, товарищ начальник дивизии,— говорит Рапунов.— Ребята ищут... А пока этим пользуемся.

— Отговорочки!..— Чапаев выливает свое раздражение и досаду в ударе плетью по голенищу своего сапога.

Рапунов пытается что-то сказать. Но Чапаев не слушает его. Идет, нет, почти бежит к хвосту состава.

— Коленкович!

Интендант, должно быть, не слышит Лидкиного шепота.

Кто-то пронес мимо них плюющийся огненными брызгами факел, и она видит, как часто, нервно дергается левая щека интенданта.

— Коленкович!— зовет она его уже громче.

— Чего тебе?— наконец откликается он.— Сапоги... Завтра придешь...

— Какие сапоги?.. Я же обмотки взяла... Знаю, где толстые доски лежат. Все облазила. Во... Толщиной в половину бревна будут...

— Ну?— оживился интендант.— Длинные?

— Длиннющие.

— Где? Загаринов! Федоров! Муратов! Давайте с с Чапаенком!— повеселел Рапунов, собирая свой хозяйственный взвод. Тащите побольше! Горбов не жалеть!..

— Пошли и мы, ребята!— раздался из темноты голос кузнеца.— Сатаров, айда, командуй!

Целый штабель горбылей лежал в сотне метров

от путей под большой кучей опилок во дворе пакгауза.

Понадобился Лидке укромный уголок, забежала сюда, да споткнулась в темноте обо что-то, упала, разбила коленку. Ощупала место: что это, камень или железка какая? И нащупала рукой конец широкой доски. А рядом другая. И третья рядом. Лидкино дело показать — и назад. Снова вьется у вагонов.

Чапаев, все еще не остывший от возбуждения, приказал тащить к вагонам попавшиеся на глаза обрезки рельсов.

— Я уж думал-прикидывал, Василий Иванович, не получается,— пробовал остановить его интендант.

— Товарищ интендант, выполняйте! Докажу, что получится.

Приказ есть приказ. Спорить не будешь. Подчиняется Коленкович.

Кладет сходни из рельсов. А за его спиной, в другом конце эшелона, уже сколачиваются настоящие, удобные, деревянные.

Чапаев сам брал лошадей под уздцы, сам помогал переставлять и удерживать на скате их ноги, подпирал их животы плечом. И все напрасно. Кони до крови ссаживали колени, съезжали назад.

— Товарищ начальник дивизии! Три четверти конского состава погружено... Давайте и здесь по-другому...

— Как погружено? Как по-другому?— Чапаев недоверчиво и изумленно посмотрел на Рапунова.

— Посмотрите...

С минуту, тяжело дыша, пристально и внимательно смотрел Чапаев на картину погрузки кавалерийских коней в соседние вагоны. Подошел ближе. Обошел вокруг. Верно! Еще десять минут, и на площадке не останется ни единого коня.

Вернулся к бесполезному сооружению из рельсов и вдруг раскатисто, звонко и весело рассмеялся. И куда злость его делась...

— Ну и дурак же я! Какую ахинею выгородил... Только и ты виноват, Степан. Откуда я знал, что у тебя горбыли в загашнике были...

Лидка слышала, как шлепнул Чапаев своей сухой ладонью по ладони Рапунова, слышала, как в голо-

се начдива прозвучали просительные мягкие нотки:

— Извиняй, Коленкович. Не к месту был горяч... Извиняй...

Лидка не разобрала, что ответил ему Рапунов.

— Эй, интендантский чин! Здорово тебя начдив расчихвостил? Чуть плеткой, говорят, не огрел. Нераспорядительность, говорит, ваша...

Лидка узнала по голосу командира батальона Митрохина, любителя позлословить на чужой счет. Он то ли не заметил Чапаева, то ли полагал, что теперь самое время покуражиться, раз начальство ругается.

Но долго острить батальонному не пришлось.

— Кто [illegible] [illegible] над Коленковичем — жалеть будет! — [illegible] [illegible] голос у Чапаева, и снова зазвучала в нем [illegible] жесткость.— Я и обзову при случае, [illegible]. Друзья по крови мы. А ежели думаешь, что интендантом легче быть, чем строевым командиром, давай проверим. Тебя на его место. А его на твой батальон. Только ты ведь всю дивизию по миру пустишь.

— Да я что... Я пошутил, Василий Иванович! — заюлил комбат. — Конечно, если разобраться, то и кашу надо уметь варить, а то мыло получится.

— Все мы молодцы саблей-то махать,— примирительно сказал Чапаев. — А посади нас за книгу или вот за арихметику бухгалтерскую, сразу на передовую запросимся...

Давно уже уплыл в ночную тьму огонек кондукторского фонаря на последнем вагоне. Давно уже увез на стареньком автомобиле самарских делегатов Чапаев. А Лидка все сидела, обняв колени, на приступочке у сорванных с петель дверей пакгауза. Думала о Василии Ивановиче. Думала разное. Как же это? И ругался, и людей зря обижал? Можно ли такое герою? Но осудить Василия Ивановича Лидка почему-то не могла. Получалось даже наоборот. Значит, он такой же, как все люди, как Щербаков, Леша Самарцев, Настя, она, Лидка. Значит, он, как и все, может ошибаться и переживать свои ошибки.

И от этих мыслей Чапаев сделался почему-то еще ближе, роднее и дороже. Ближе и дороже, чем раньше.

КОРОВЬЯ ПОЧТА

Чапаевцы прорвали блокаду Уральска. Вошли в город.

По ночам пожилые казаки переплывали Чаган, сдавались.

В штабе бригады долго решали, как с ними поступить, что делать.

— Есть в станице холодная. Вот в нее и запирать под ружье. Кто его знает, с какой целью переплыл...

— Они ведь ради чего сдались-то... Ради баб да детишек... Ну и пусть семьями занимаются... А в комендатуру отмечаться пусть ходят. Оружия-то у них нет.

Было и другое, решительное высказывание:

— Сажать всех и предлагать: хочешь с нами — вот тебе винтовка, воюй за крестьянское дело, заслуживай прощение. Нет — к стенке.

Чапаев в ответ на это предложение не удостоил командира полка даже ответом, только взглянул на него с усмешкой и постучал себя по лбу.

Порешили, что самое правильное — взять с пленных подписку о том, что не будут участвовать в борьбе с Советской властью, и отпустить по домам. Но для порядка должны указать адреса, по которым будут проживать, и отмечаться в комендатуре. Вот и все.

Казаки охотно клялись, расстегивая нижние рубахи и вынимая нательные кресты:

— Да что мы, враги своим семьям, что ли? Тут же у нас жены, малые ребята... Уж если сказал не буду — значит не буду. Казацкое слово — оно олово!

И все-таки для командования Двадцать пятой было загадкой — чего это уральские такой волной повалили в плен?

А разгадка-то была совсем простой. И опять не обошлось без нее, без Лидки Лагуновой.

Каждый день по утрам из города переправлялось на тот берег Чагана коровье стадо. А вечером возвращалось. Выпасы были за рекой.

Сначала начальник штаба запретил коровью переправу. Но когда пришла к нему делегация горожанок и стала слезно молить пожалеть ребятишек, которые одним молоком и живы, потому что с хлебом плохо в Уральске, махнул рукой:

— Ну ладно. Пусть плавают ваши буренки. Но если

устроите чего такого — шпионаж или какую другую пакость — смотрите!

Женщины чуть не в пояс кланялись. Шли-то ведь без всякой надежды.

И еще одно условие поставил начальник штаба:

— Береженого бог бережет. Туда со стадом ни одного человека.

Это не смутило казачек.

— Согласные мы: отсюда их проводим, а там их встренут. Вожак, бык Мишка, лучше любого пастуха стадо водит.

Зрелище переплывавшего реку стада стало привычным.

На него мало кто обращал внимания. Нет среди животных человека — и ладно.

А вот Лидка заметила одну особенность.

Сидела как-то рано утром вместе с командиром батальона Поровым на береговой наблюдательной вышке, смотрела в бинокль на стадо и вдруг передала бинокль комбату:

— Так казачки какие-то листы на рога коровам цепляют.

Поров посмотрел, встревожился:

— Может, какие сведения про нас передают... Вот хитрые бабы! Как они нас вокруг пальцев обвели... А? Придется начальству доложить. Выношу тебе благодарность за бдительность, боец Лагунова! Вот я сейчас записку нацарапаю комиссару, а ты дуй до него. Ну, хитрые бабы! Как они нас, а?

Фурманов воспринял записку очень серьезно.

— Перехватить бы надо парочку таких почтовых отправлений, Лидия Григорьевна. Сумеешь? Впрочем, одной трудно...

— А можно, я одного казачонка — Ваську Лебедева с собой возьму? У него отец у белых служит, а старший брат у красных. И сам он к нам просится, корову свою на берег гоняет...

— Ну если уж так веришь Ваське — возьми...

На следующий день несколько снятых с коровьих рогов писем на тот берег лежали на столе комиссара. Впрочем, какие это были письма! Записки на плотной оберточной бумаге, картонках или даже выскобленных фанерках с дыркой. Вкривь и вкось нацарапанные карандашом крупные буквы, конечно, без всяких знаков

препинания, составлявшие самые простые слова. Ни-каких адресов — фамилия и имя. Кое-где — отчество... «Уряднику Федору Панарину», «Казаку-атаману Мак-симу Березнякову», «Казаку второй сотни Полубоярову Никите».

Никаких шпионских сведений в записках не оказа-лось. Женщины передавали приветы своим мужьям и писали, чтобы они не очень беспокоились: красные их не трогают, никаких бесчинств не творят, ничего не отбирают, а казаков, которые сдаются, отпускают по домам.

Так вот почему многие казаки сдаются!

— Это же наши союзницы. Это же в пику болтовне белых офицеров! — обрадовался комиссар. — Ты по-смотри, что паршивцы в своей газете пишут!

Под локтем Фурманова лежала газета, которую он взял двумя пальцами и потряс в воздухе, точно вытря-хивая из нее что-то гадкое, а может, и заразное.

— Слушай: «На всей территории, занятой красными анархистами, царит жесточайший террор и разгул самых черных страстей. Особенно зверствуют среди местного населения полки безграмотного жестокого солдафона Чапаева, который, в силу своей безграмот-ности и бескультурья, представления не имеет о тради-ционных нормах ведения боевых действий. Его чапаев-цы под стать своему вожаку — бандиты. Они грабят, убивают, насилуют женщин, мужья которых служат белому флагу. Особенно бесчинствуют чапаевцы в Уральске. В городе царит голод. Есть случаи людо-едства. Церкви закрыты. Попы арестованы».

Фурманов смеялся:

— Вот это и называется лжепропагандой, Лидия Григорьевна. Когда черное выдается за белое, белое за черное и все ставится на голову. Да ладно, ладно, ты не злись, не сжимай кулаки. Тут мы с тобой такие контрмеры примем, что долго эти идеологи башки чесать будут. Чем неправду бьют?

Лидка подняла глаза на Дмитрия Андреевича:

— Правдой!

— Точно. Помнишь, как ты белую агитацию пере-крыла на Боровке, как твоя правда по ихней кривде прошлась и что из этого получилось?

Лидка, вся вспыхнув от похвалы и сама понимая — заслуженной, скромно кивнула головой.

10*

— А теперь мы тоже правдой ударим. Только не сами. Пусть казаки казаков агитируют.

Лидка непонимающе хлопает глазами.

— Да они же белые?

— А вот те, которые Чаган переплыли и сдались?

— Так они же все равно не за нас. Им предлагали на нашей стороне воевать, а они не хотят.

Комиссар задумчиво то оттягивал, то отпускал ремень портупеи.

— Все это не так просто, Чапаенок... Не так просто. Ты посуди сама: на этой стороне сын, на той — отец. А то тут — один брат, там — другой. А в казачьих семьях родная кровь и кровное родство — большая сила. Вот на эту силу и попробуем опереться.

— Товарищ комиссар, а давайте эту газету казакам прочтем, а? Вот уже тогда они туда отпишут!

— Научил я на свою голову, Лидия Григорьевна. Смотри-ка как ты опять хворост в огонь подбрасываешь! Добрая мысль. Добрая. Непременно прочтем. Да попросим их еще коллективные комментарии дать.

Лидка не очень чтобы поняла при чем тут хворост, а про комментарии так вообще первый раз слышала, но поняла, что одобряет ее комиссар. Очень одобряет!

Сказано — сделано. На следующий день бойкие городские казачки звучно хлопали себя по бедрам, заливисто хохотали, слушая комиссара, который читал колчаковскую газету «За белую Родину».

Не все верили. Просили показать. Искренне удивлялись:

— Да как же такую брехню можно печатать?

— Да что они, полудурки, что ли, наши казаки, чтобы такому вранью верить?

— Брехня, значит? — спросил, расправляя складки под ремнем гимнастерки, Фурманов. В глазах его прыгали веселые чертики.

— Знамо дело, брехня! — раздалось сразу несколько голосов.

— Ну, а вот могли бы вы своими словами написать своим мужьям да сыновьям, которые на том берегу, что вы думаете про такую вот газету да и вообще этого верховного правителя, который голову вашим казакам задурил и на Советскую власть натравил, оторвал от семей и под пули отправил?

Сначала молчание.

Переглянулись женщины:

— А так чего же? Можем.

И поплыла через Чаган на коровьих рогах и белогвардейская газета и большой белый лист бумаги с общим письмом уральских казачек с крепкими словами, в которых доставалось и тем, кто делал бессовестную, обманную газету, и тем, кто верил ей.

А ночные заплывы казаков с той стороны реки на эту сторону после этой, так здорово устроенной коровьей почты стали такими частыми, что офицеры установили пулеметы и стреляли на каждый ночной всплеск и шорох. И все равно казаки находили места, и переправлялись, и сдавались красным.

БОЛЬШИЕ ХЛЕБА

Вот, казалось бы, все хорошо у человека: и почет тебе, и ласка, и горизонты перед тобой открытые, и впереди еще сколько всяких радостей, а все равно что-то гложет душу, не дает уснуть со счастливой улыбкой. Днем еще куда ни шло: все время крутишься, всем ты нужна, кто ни пройдет — все какое-нибудь словечко отпустит. А вот ночью... Сколько уже, кажется, и дней, и месяцев прошло с того дня, как испытала и пережила Лидка позор с непотрошеными курами, а вот все равно, как вспомнит — так испортится настроение.

Заслуг разных, которые потом были, ровно и не существовало. Вот похвалил Фурманов за «коровью почту», а этот чертов водолаз Афонька опять вчера подковырнул. Принес бы я тебе, говорит, пару гусенков жирненьких, бесхозных, да ведь опять... Не договорил до конца, вспомнил про уговор, должно быть, ушел. А ей, Лидке, ну прямо ножом по сердцу. У-у-у, водолаз!

Да какую угодно птицу ей сейчас подавай — она так приготовит, что любой повар ей поклонится.

Но готовить птиц ей никто не предлагал, да и не было их давно в Уральске, а вот хлебы испечь довелось.

Нашла ее в середине дня Настя. Лидка как раз занималась с Баюном. Был у нее теперь свой конь. Суровцы подарили после того, как она один разговор телефонный подслушала.

Научил ее штабной телефонист Тимофей Васютин включать аппарат в сеть и проверять, о чем люди говорят. Потому что вообще-то это нехорошо — подслушивать чужие разговоры. Но это в мирное время нехорошо. Может, муж с женой говорят или жених с невестой. А в их тайны ты влезаешь...

А в военное время какие могут быть личные разговоры? Только военные. Тут если чужой, вражеский, перехватишь — какая польза для Красной Армии может быть!

Так вот, нашла Лидка за городом, куда выезжала с Васютиным для поиска обрыва и починки своей линии, еще одну линию. Включилась в нее и поняла, что по ней разговаривают белые. Речь шла о большом табуне молодых коней, который из какой-то дальней балки завтра ранним утром должны переправить на тот берег Чагана. Запомнила Лидка и название балки — Капелюшная.

Когда разговор кончился, побежала искать Васютина. Телефонист сначала не поверил. Потом, когда увидел провод, обрадовался:

— Ну, Чапаенок, мы же с тобой такой подарок нашему штабу привезем, что нам и орденов за это мало! Ты вот что... Давай-ка дуй в город, расскажешь там все, пусть сюда взвод или роту пошлют. Один-то конец, ясно, за Чаган идет, а второй искать надо... А я пока на подслушивании посижу. Может, чего важное еще узнаю. Ох и хвалить же нас с тобой будут!

Что верно, то верно! В штабе похвалили Васютина и Лагунову. И попросили держать язык за зубами, чтобы слух об открытой связистами таинственной линии не дошел до чужих ушей. Белых шпионов в Уральске хватает. Почти каждый день особый отдел хоть одного да вылавливает.

Как использовало военное начальство ее находку, Лидка так и не узнала. Что же, и от нее, значит, бывают тайны! А вот какую она услугу оказала Суровскому кавалерийскому полку — это стало известно. Ведь именно суровцам достался тот громадный табун коней-двухлеток, который казаки прятали от красных в этой самой Капелюшной балке.

Капелюшной, оказывается, ее называли потому, что похожа она была на плащевой капелюх со многими складками. Вот в одной из таких складок и держали

казаки до поры до времени свой конный резерв. Сам Суров хвалился в штабе:

— Три новых эскадрона сформировали. Да сколько лошадей в других поменяли!

Ну а Лидке суровцы подарили Баюна — серого в яблоках жеребца. Признал он Лидку не сразу. Конфузил свою хозяйку не раз. И сбрасывал и кусал. Однажды копытом по коленке угодил. А теперь — друзья. На Лидкины шаги голову поворачивает. Кто другой пройдет — ухом не поведет. А заслышит ее шаги, сразу жевать перестает и шею в ее сторону вытягивает.

А Лидка уже руку в карман галифе сует. Всегда у нее для Баюна кусочек хлеба или сухарь в кармане. А случится кусочек сахару, так тоже сама не съест — коню прибережет.

Баюн не жадный. Другая лошадь чуть с рукой не отрывает лакомство, а Баюн сначала понюхает своими розовыми широкими ноздрями ладонь, чуть-чуть оскалит свои молодые, желтоватые зубы, вроде бы улыбнется, и мягкими теплыми губами возьмет хлеб. И, похоже, еще кланяется.

— Культурный у тебя конь, мой генерал,— завидовал Леша Самарцев.— Его бы после войны в цирк. Танцевал бы польку-бабочку на задних ногах. Видел я в Самаре, в цирке такой номер. Здорово! Под духовой оркестр конь отплясывал...

— А чего,— загоралась Лидка,— можно. Он у меня все понимает. Я ведь его шпорами никогда не приневоливаю. Скажу слово — слушается. А торбу с овсом начинаю привязывать на голову, так он видит, что мне высоко,— на колени встает.

Лидка как раз расчесывала гриву своему Баюну у штабной коновязи, когда ее дернула за рукав гимнастерки чем-то встревоженная Настя.

— Лидушка-подружка! Ты хлеб умеешь печь?

— А чего ж... Умею.

— А я вот нет...

Неспроста, оказывается, прибежала Настя. Неделю назад снаряд с той стороны Чагана попал в полковую пекарню и разнес ее по бревнышку. Хорошо, в пекарне никого из людей не было.

С того дня вместо хлеба на роты и службы стали выдавать муку. Муку ту делили по постоям и просили испечь хлеб хозяек, у которых квартировали.

Хозяйка избы, где жили Настя с Лидкой, согласилась печь хлеб для всей пешей разведки. Да вот беда: отправили ее в больницу с подозрением на тиф. А в ночь она должна была тесто заводить. Спросили ребята у Насти, как она — сумеет обойтись без хозяйки или нет?

Ну, ясно, разве признается какая девушка или женщина, что не сумеет? Сказала, чтобы не беспокоились, и побежала разыскивать Лидку.

А та, узнав о том, что ей предстоит отличиться по кулинарной части, уже [illegible] спрашивала:

— А дрожжи-то [illegible] выдали? А дрова-то разбойники накололи? [illegible], какой под в печке — плотный, не крошеный?

И про [illegible]. Расчесала гриву с одной стороны. А со [illegible] [illegible]. Сама заторопила:

— Ну, тогда [illegible] будем тесто ставить. Мука-то пшеничная или ржаная?

Про себя Лидка [illegible]: вот бы ржаная! Белой-то в ее самарском доме не видели. А как управляться с черной — это Лидка могла целую лекцию прочесть.

И остаток дня, и вся ночь были для Лидки, да и для Насти, вроде праздника. Такой подъем они испытывали. Но и тревогу тоже. Так что беспокойным, тревожным получился праздник. Хоть вроде все делали по правилам, а бог знает, как получится...

Большая деревянная квашня хозяйки вполне устраивала Лидку. И печь понравилась — широкая, с полукруглым устьем, с высокими сводами, с плотным подом из хорошо обожженного кирпича.

И дрова во дворе всякие: и березовые, и сосновые, и еловые. Да все сухие, звонкие! Жару много будет, уголья получатся мелкие.

И мука вроде неплохая: потрешь — к пальцам не пристает.

Одно только обстоятельство сильно удручало Лидку: дрожжей не было.

Настя успокаивала:

— Да у казачек закваски попроси.

У Лидки свое понятие об этом. Уж хлеба — так хлеба! На что бедно жили в Самаре, а полстакана дрожжей у матери всегда в запасе было.

И хоть не хотелось унижаться перед Афонькой Гвоздевым, да пришлось.

— Поди, пивной завод в Уральске есть, может, наскребешь там хоть старых дрожжишек?..

И вот по избе пополз запах. Да какое там — по избе! Он, наверное, просочился уже и на двор и на улицу! Он, наверное, уже щекотал ноздри множеству уральцев, а уж пешим-то разведчикам и подавно, иначе кто ж в такой ранний час с такой настойчивостью скребся бы в дверь?

Запах поджаристой ржаной корочки гнал слюну. У Насти блестели глаза.

— Может, пора, Лида? Может, попробуем?

— Сейчас. Кого там черти еще несут? Совсем оголодали, что ли!— беззлобно, полная предощущения великого праздника, когда слава о ее хлебе разлетится по всей дивизии, ответила Лидка и пошла в сени. Она открыла щеколду и испуганно попятилась.

— Настя! Настя!

В серой мглистой полутьме начинающегося утра Лидка увидела множество горящих глаз на бледных, неживых лицах.

Настя стояла рядом и, кутаясь в платок, спрашивала испуганно:

— Что это? Что это?

И тут Лидка почувствовала, что кто-то хватает ее за подол гимнастерки:

— Хлеба! Дай хлеба!

Мальчишка лет десяти-одиннадцати, с наголо обритой головой, тянул все сильнее и сильнее. И уже не ныл, не плакал, а кричал:

— Хлеба! Есть хочу!

И за платье Насти кто-то уцепился:

— Тетенька, хлеба мне, помираю!

Мурашки пошли по Лидкиной коже. Так это же чьи-то голодные ребятишки!

И она, сама еще плохо соображая, что делает и что может сделать потом, попятилась с крыльца в сени, из сеней в избу.

— Пошли, пошли! Я сейчас... Сейчас!

По правилам, надо бы вынимать хлеба, как и сажала, на лопате, но лопата вдруг куда-то запропастилась, и она выдвигала их из печки кочергой.

— Нате! Нате! Держите! Ешьте!

Голодные ребятишки, обритые наголо мальчишки и девчонки, рвали горячие, обжигающие пальцы и рты

рваные каравай на куски, не жуя глотали их и тут же тянулись снова.

Первой пришла в себя Настя.

— Нет, так не пойдет! Кто-то наестся до заворота кишок, а кто-то голодным останется.— Леша! Леша!— обрадовалась она, завидев в дверях протискивающегося сквозь толпу бритоголовых ребятишек Самарцева.— Помоги!

— В чем дело, [illegible]? Что это за светопреставление?

— Да потом, [illegible] разберемся! Помоги накормить их! Только чтобы [illegible].

Вот что [illegible] талант! Через две минуты никакой [illegible] было. А была аккуратная цепочка-[illegible]. [illegible] только Лешка, наверное, мог точно определить, [illegible] раз просит пацан свою порцию хлеба [illegible] получить во второй или третий раз.

— Сколько у [illegible] осталось? — спросил он у Лидки.

— Да всего четыре.

Он посчитал тех, кто был в избе, вышел на крыльцо, посчитал тех, кто на улице, и показал Насте, какой толщины ломти она должна резать.

Хватило всем.

Но ни Лидка, ни Настя так и не попробовали своей стряпни. А Лешка, закончив раздачу хлеба, приступил к «расследованию». Оказалось, что белые казаки, покидая Уральск, угнали с собой и ребятишек из сиротского приюта. А когда город, занятый красными, стал испытывать трудности с продовольствием, решили, подержав несколько дней детей голодными, отправить в Уральск. Пусть большевики кормят. А побрили их всех без разбору — и мальчишек, и девчонок — потому, что боялись, как бы они не стали разносить по белому войску тиф.

Отправили сирот со своей стороны без единого взрослого, дав только направление, сказав, куда идти.

Ребятишки шли по ночному городу, едва держась на ногах от голода и усталости. И, почуяв властный запах печеного хлеба, остановились около дома, источавшего этот запах. Дальше идти не было сил.

Как ни хотел Афонька попробовать свежего горячего хлеба самым первым, не успел, уснул. А когда прибе-

жал утром к дому, где ночью творились хлеба, да узнал, что тут произошло, чуть не лопнул от злости.

— А я-то, дурак, еще дрожжей добывал! Сами-то, небось, от пуза налопались.

— Налопались, налопались! — вытолкала его из избы Настя.— Давай, Лидушка, поспим немножко. Все ж-таки заслужили...

СВАДЬБА

Удивительно, как порой меняются люди. Ну разве узнаешь в наглаженном, мудрено завитом парне с красной розой, торчащей из кармана гимнастерки, Василия Курятникова, помощника командира полка. Того самого Курятникова, чьи рыжие от пыли сапоги и бурая от солнца и пота гимнастерка вызывала не раз гнев Чапаева.

— Позор на всю армию! Увижу еще раз таким росомахой — с должности сниму!

Но начдив видел его таким еще не раз, а не снимал. Ценил Василия за светлую голову, находчивость, отвагу.

А теперь вот женили Курятникова. И словно подменили его. Подтянутый, аккуратный, красивый. За такого и Лидка, наверное, пошла бы... Но только Василий ее не возьмет. Вон какую невесту себе подцепил! Красивая, глаза — как синие васильки. Невысокая, ладненькая. И все время стесняется. Вон, заставили их поцеловаться, так и вся заполыхала. Говорят, сирота. Дочь уральского рыбака. Курятников раньше вместе с ее отцом в одной рыбацкой артели работал. Только утонул отец во время бури. Не дождался свадьбы дочери.

Лидка на свадьбе впервые. Упросила Рапунова взять ее с собой. Тот не отказал.

Чапаев появился, когда люди поохрипли от песен, устали от плясок. Он извинился перед молодыми, расцеловал их и чокнулся с ними маленьким граненым стаканчиком.

Наклонившись к невесте, скосил хитровато глаза на жениха и сказал ей что-то быстрым шепотом. Заалела невеста от смущения и засмеялась тихим счастливым смехом. И словно светлее и просторнее стало в битком набитой гостями комнате.

А Чапаев незаметно повел бровью на двух чубатых парней, и те враз широко и оглушительно растянули мехи гармошки. Сначала Василий Иванович шел на носочках, плавно, неслышно, с удивительной легкостью неся свою подтянутую, стройную фигуру. Потом стал задевать сапогом за сапог, как будто останавливая сам себя. И в самом [illegible] остановил. Остановил, чтобы вдруг, сразу, без всяких переходов броситься в стремительный, почти [illegible] ритм пляски.

Он падал, [illegible] в пол и, раскинув руки, отталкивался [illegible] вверх. Каждый раз при новом коленце [illegible] выдыхал воздух, и это тоже было удивительно здорово.

Он кончил [illegible] и начал. Остановился как вкопанный. [illegible] Вытер бисеринки пота рукавом [illegible] гимнастерки и улыбнулся широкой [illegible] улыбкой: что, мол, [illegible] и умеет команды выкрикивать... Ну так вот, видели?

И все таки [illegible] что Чапаев чем-то встревожен. Т[illegible]. Тревога ощущалась в чуть опущенных [illegible]. Тревога таилась в уголках губ, которые [illegible] очень недолго держали улыбку.

Пока бушевали в восторге чапаевцы и искали желающих переплясать начдива, Чапаев незаметно вышел в сенцы и во двор. Лидка за ним.

Василий Иванович присел на завалинку рядом с каким-то худым, морщинистым дедом, одетым, несмотря на летнюю ночную духоту, в тулуп и обутым в валенки.

— Зябко, дедушка?

— А жар костей не ломит... Доживешь до моих годов — и тебя, паря, к теплу потянет... И вдруг старик потянулся к уху комдива: — Скажи-ка ты, паря... А этот самый-то старший начальник — Чапай, пришел на свадьбу ай нет?

Чапаев тронул Лидку, которая присела рядом, за колено: молчи, мол...

— А чего это, дед, он тебе понадобился? Дело какое к нему, что ли?

— Мне-то он, к примеру, ни к чему. А вот крестница все ждала: придет — не придет.

— Или влюбилась?

В голосе Василия Ивановича веселое любопытство.
Старик даже обиделся:
— Мели, мели. Да она своего Ваську Курятникова на сто таких Чапаев не променяет. Вон за какого орла я ее выдал.— И его костлявый палец горделиво уперся в окно, за которым продолжала шуметь красноармейская свадьба.
— Вон оно что... А что же ты свадьбу крестницы на завалинке празднуешь? Тебе бы по правую руку от невесты сидеть...
Дед снова доверительно нагнулся к уху Чапаева:
— Я бы, паря, конечно, с охотой... Да уж больно начальства много. Ведь Чапай-то, он, по старому времени, в генералах ходит. А у меня, как власть увижу, икота начинается. Еще когда в гренадерах служил, так пуще всякого зверя своего унтера боялся... Да и в церкви они не венчаны. Вишь какое дело.
— Бога, значит, боишься и начальства... Так боишься, что даже выпить и то отказываешься?
Дед беспокойно заерзал на месте.
— Да как тебе, паря, сказать. Конечно, бог в нашей жисти не первая рука. Да ведь привычка: без бога ни до порога.
Чапаев втянул в разговор и Лидку:
— Мы вот нашего лихого разведчика Лидию Григорьевну Лагунову спросим. Как, рядовой Лагунова, есть на свете или в других каких местах бог или нет?
Думать было некогда.
— Был, да вместе с царем Николашкой скинули.
Перегнувшись через колено Чапаева, дед долго всматривался в Лидкино лицо, пощупал зачем-то сукно ее красных галифе и недоверчиво спросил:
— Неужто девка в красном войске служит... Может, ты меня на обман берешь, паря?
Лидка даже обиделась. Ее никто в дивизии не называл девкой. Она уже хотела что-нибудь резкое сказать деду, чтобы знал, с кем имеет дело. Но Чапаев опередил ее:
— Не девка, дед, а комсомолка Лидия Лагунова, заслуженный чапаевец.
— Дела!— хлопнул себя по сухим коленям старик. Теперь он уже обращался к Лидке: — Сама или силком загнали?

— Меня, дедушка, Колчак воевать заставил.

Дед недоуменно хмыкнул. А Лидка продолжала озорничать:

— Пришел и сказал: «Вот тебе наган и штаны-галифе. Садись на коня и лупи меня по морде». Ну а мне что, жалко? Взяла наган вот этот и пошла воевать.

Дед понял, что она шутит, и обиделся:

— Ты бы, девка, над моей бородой не смеялась. Уж как адмирал-то воевать заставляет, знаю. На моих глазах было. На Федькиной спине припечатано.

Федор, оказывается, был единственным сыном деда. Когда колчаковцы объявили мобилизацию, он отказался пойти на службу в белую армию. Его отодрали плетюгами на сельской площади, а в солдаты все-таки забрали.

Голос у старика, когда он рассказывал это, дрожал.

— Эх, разложить бы этого Колчака самого на площади! — вырвалось у Лидки.

Старик подобрел:

— Да я бы ему, хоть и стар, и то бы с полсотни горячих отпустил...

Чапаев оживился:

— А ведь дед-то у нас боевой. Надо ему честь оказать.

— Надо, — согласилась Лидка, хотя и не знала, что за этим должно последовать.

Василий Иванович повел деда в избу, снял с его плеч ветхий тулуп и усадил рядом с невестой. Сам налил ему вина.

Растроганный почетом, дед концом бороды вытер набежавшую слезу и поманил пальцем Чапаева:

— Послушай, что скажу тебе, паря. — Дед говорил шепотом, по наивности полагая, что слышит его только этот симпатичный усач. А слышали все. — Что привел меня к крестнице и что чарку поднес, спасибо тебе, паря. Только уж не больно ли ты тут разначальствовался? Придет, поди, этот ваш Чапай, так он и меня отседова вытряхнет, и тебе костыли наломает. Не самовольничай, мол... А? Не боишься? — простодушно спросил дед.

Он смешно вертел головой на длинной морщинистой шее, стараясь понять, отчего это так заразительно и весело хохочут люди. Нагнулся к невесте. Спросил ее.

— Так ты же, крестный, с Чапаевым разговариваешь.

Дед даже поперхнулся.

— Этот?

Избавила его от великого смущения только вторая чарка, налитая Чапаевым.

Смеется Чапаев. А Лидка видит — тревога не оставляет его. И очень беспокойно, нервно чувствует себя Исаев. То выскочит из избы, то вернется и что-то шепчет начдиву. И каждый раз сходятся на переносице брови Чапаева, собирается складками его большой и чистый лоб.

Нет Кутякова. Нет любимого чапаевского комбрига, с которым чаще других ругался Василий Иванович и которого больше других любил. Должен был приехать на свадьбу к началу еще. Скоро ночь на исходе, а его все нет. Уж не перехватили ли белые по дороге? Человек он горячий, лихой. Может, поехал один и попал в переделку, из которой головы не вынесешь. Все может быть.

Волнение начдива понемногу передается и командиру Домашкинского полка, горячему и представительному Соколу, и несколько флегматичному комбригу Губареву, и обстоятельному интенданту Рапунову.

И Лидке не безразличен Кутяков. Уважает его. За открытое сердце, за удаль, за простоту.

Ну кто она в сравнении с другими взрослыми и заслуженными бойцами? Так, недомерок, пигалица. И есть такие люди и в бригаде и в полку, которые даже, когда она здоровается с ними, головой не поведут, губ не разлепят.

А Иван Семенович — тот что со взрослым, что с малым всегда со вниманием. Вот ведь всего две недели назад сидели вечером в штабной избе, чай пили, сколько вопросов тогда задала ему Лидка! И ведь ни один мимо ушей не пропустил.

— Где родился-то? Самарскую-то губернию знаешь? Так вот в Николаевском уезде есть село Красная Речка. Красной-то потому прозвали, что дно из красной глины состоит. Ну и вода красной издали кажется.— Вздохнул тогда Кутяков, подул на блюдечко, сделал глоток.— С девяти лет в подпасках. У отца, помню, ни одних целых штанов не было. Латка на латке. А в школу он меня все-таки отдал. Три зимы в нее бегал. Ну, тут моя наука и кончилась. Дальше за ручки сохи надо было держаться.

В шестнадцатом забрили в солдаты. Как грамотного,

в учебную команду определили. Вышел младшим унтер-офицером.

Сначала в Астрахани, потом в Царицыне служил отделенным в Сто пятьдесят пятом запасном пехотном полку. Из Царицына на Румынский фронт с маршевой ротой. Там, в Яссах, Февральская застала. В марте семнадцатого вернулся в свой полк в Царицын. Выбрали тут председателем ротного солдатского комитета, членом полкового. Потом попал в немецкие шпионы.

Тут уж Лидка не выдержала.

— Да какой ты шпион, товарищ Кутяков? Ты всегда был прославленным боевым командиром Красной Армии.

Кутяков усмехнулся.

— Ну да, ну да. Всегда был прославленным, боевым. А вот до этого на солдатских митингах выступал. Говорил, кому война выгодна, предлагал землю беднякам раздавать. Ну а раз так, кто я? Конечно, немецкий шпион... А тут еще в мае семнадцатого в партию большевиков вступил. Особо-то об этом не кричал. Не то время. Сила-то пока была на стороне Временного. Очень уж хотелось от меня начальству избавиться. Назначили командиром взвода пешей разведки и опять на Румынский фронт с Двадцатым Туркестанским полком...

Лидка слушала Ивана Семеновича, и все, что он рассказывал ей, было понятно и близко. А главное, она все это себе представляла. Ведь и у Василия Ивановича Чапаева была очень похожая судьба. И он вот так же через окопы первой мировой прошел, и отличиться сумел, и вроде в чести был у большого начальства, а все равно вместе с народом остался и против своего же бывшего военного начальства сражался в гражданскую.

Только вот никогда Чапаев про встречу с Лениным не рассказывал. По дивизии ходили слухи, будто была у него такая встреча. А была ли на самом деле, Лидка так до сих пор и не знает. Сколько раз и будто невзначай и прямо спрашивала у Василия Ивановича про это, а он как-то сразу разговор на другое переводил.

Теперь-то Лидка понимает — очень ему не хотелось говорить, что не было такой встречи, самолюбие не позволяло. У других, может, и менее заслуженных, были такие встречи, а у него нет. Ну справедливо ли?

Вот и молчал, когда спрашивали. Гадайте, мол, сами. А мое при мне останется...

А Кутякову вот повезло: была у него такая встреча. Заговорил о ней — глаза заблестели. Придвинулся ближе.

— Понимаешь, Чапаенок, как все получилось... На Румынском выбрали меня председателем полкового комитета. Как только стало известно, что в Питере революция произошла, что Временное низложено, весь полк, а за ним и вся дивизия на сторону большевиков перешла. И опять меня избирают. Только куда бы ты думала? Делегатом от дивизии на Всероссийский крестьянский съезд и для доставки в столицу солдатского наказа, что в случае чего, если понадобится Ленину, Третья дивизия тут же выедет вся как есть на защиту красного Петрограда.

Съезд меня, конечно, очень интересовал. Проголосовать я был должен, как решили на дивизионном комитете, за программу большевиков — землю крестьянам, не дожидаясь Учредительного собрания.

Никогда я до того не видел Ленина, а хотелось посмотреть, как он на сцену выйдет. Спрашивать не стал, неудобно. Думаю, сам узнаю. А о внешности, само собой, тоже не ведал. Ну, представляю себе человека необычного, само собой. Раз слава о нем по всему земному шару идет, значит, есть в нем что-то такое, что от других людей отличает. Ну, рост, наверное, мощная голова, походка, одежа. Смотрел на тех, кто на сцену шел, и вроде никого не упустил, а Ленина не нашел, не обнаружил. Значит, не пришел или времени не хватило. Или случилось что-то. Время-то какое! Революция! А Ленин один. Наразрыв.

И вдруг слышу: «Слово имеет товарищ Ленин». Вот так раз! Выходит, я его пропустил. Да и не мог не пропустить. Ничем он от других не отличается. Таких людей тысячи мимо тебя проходят. И кого из них выделишь? Да никого.

Как он начал речь свою — не запомнил. О чем-то своем думал. Начал слушать, когда народ поднялся и захлопал. Спрашиваю соседа, чего сказал Ленин? А он на меня просто вызверился: «Ты зачем сюда приехал? Мух ловить... Ленин же перед тобой! О земле сказал, отобрать у помещиков и монастырей и бесплатно раздать неимущим. Жаль, не из твоего я полка, а то бы на

митинге потребовал выгнать тебя из солдатского комитета. Нашли кого посылать! Матюха!»

— А какой он? — вытянув шею, вся потянувшись к Кутякову, спрашивала Лидка.

Ведь сколько раз ей рассказывали о вожде и все вроде бы об одном и том же человеке, а все по-разному.

— Ну какой? Простой очень. Невысокого роста. Лысоватый. Пиджак не то чтобы потрепанный, а не новый. Руки в карманах любит держать. И говорит — точно пули в цель, ну в самую десятку посылает. Ни одного лишнего слова. И все к месту. Век учиться будешь — не научишься. И сила исходит от тех слов, будто заряды электрические.

— Во! Точно.

— Что точно? — спросил Кутяков.

— Ну, про это [illegible] слышала. А что сила прибавляется [illegible] Ленина — про это точно говорили.

— Ну вот видишь. [illegible], каждая его речь одинаково задевает людей. Нет, говорит, возврата к прежней жизни, чтобы богатые верховодили над бедными, угнетали и принижали их. Теперь полное равенство и никаких никому привилегий. Земля тем, кто ее обрабатывает. Заводы и фабрики тоже тем, кто на них трудится...

— Кутяков, к начдиву!

Сомнений не было. Голос мог принадлежать только одному человеку — писарю Гончарову.

— Ладно, как-нибудь в другой раз дорасскажу, Чапаенок. Не последний день вместе.

Откуда им было знать, что тот, другой раз случится очень не скоро.

...Понемногу свадебное веселье утихает. Напряженное ожидание передалось всем. Неужели случилось что-нибудь с Кутяковым? И когда он появился на пороге, покрытый с головы до ног пылью, с грязными ручейками застывшего на лице пота, в сдвинутой на самый затылок островерхой шапке, маленький, стремительный и нетерпеливый, Лидка даже охнула. Кто-то из командиров бросился обнимать комбрига, но Кутяков отодвинул его в сторону, вытянулся в струнку и обратился по всем правилам:

— Товарищ начальник дивизии! Разрешите доложить?

Посмотрел Чапаев в глаза комбрига, понял: можно позволить. Хорошие вести привез Кутяков. Пусть при всех говорит:

— Докладывай.

Рубит, как саблей, по воздуху Кутяков своей маленькой жилистой рукой. Не может, не привык докладывать без этого. Воспоминания еще так свежи и горячи, что до сих пор не остыл. Раздуваются от возбуждения тонкие крылья хрящеватого носа.

— Выехал с одним взводом. А привел две роты и обоз в триста подвод.

Оказывается, призадержался Кутяков у себя в бригаде. Были разные неотложные дела. Выехал из деревни, в которой сделала дневку бригада, уже в густых сумерках.

Отъехали верст двадцать — в степи огни. Какая уж тут свадьба? Может, враг наступление начал, может, на окружение идет? Решил выяснить. Подобрались к крайнему костру. Солдаты. Обмундирование новое, с иголочки. Винтовки в козлах неровно стоят. Сразу видно — мобилизованные. Сидят, смотрят на огонь. Мрачные, задумчивые. Слово скажут — полчаса молчат. В десятке метров — другой костер. Третий. А рядом лошади распряженные сеном хрустят. Повозки, брезентом укрытые, огонь из темноты выхватывает. Обоз! И большой, должно быть! Что делать? Солдат при обозе по меньшей мере две сотни с лишним. А у Кутякова всего два десятка бойцов на конях. Переполох, конечно, можно поднять. Наделать шуму, пострелять и — в степь. Ищи, догоняй во тьме.

Но все обернулось по-другому. Когда Кутяков внезапно появился на своем коне в пляшущем пламени костра и, желая созорничать, крикнул: «Руки вверх!» — произошло совершенно неожиданное. В полном молчании все, кто сидел у костра, даже там, вдали, где их совсем не было видно, стали подниматься с вытянутыми вверх руками.

От первого костра отделился молодой солдат, назвался старшим и сказал, что солдаты давно уже ждут красных.

Все в обозе — мобилизованные крестьяне окрестных деревень. Вечером перебили своих офицеров и решили ждать до утра. Набредут на красных — передадут им обоз. Не найдут — по домам разбредутся.

— Вот. Устроили мы у костров митинг. Поагитировал я их. Оружие вернул. Обе роты пришли в полном составе. В дивизию проситься будут,— закончил свое сообщение Кутяков.

У людей радость. Тут бы, наверное, «ура» кричать надо. А у Лидки что-то глаза чешутся. И хочется ей, чтобы не было никаких поздравлений и никаких «ура», а чтобы этого маленького уставшего человека кто-нибудь обласкал таким теплым словом, чтобы у него сейчас так же светло и празднично было на душе, как и у нее, Лидки.

И точно прочел [illegible] мысли Василий Иванович. Молча обнял он [illegible] руку на эфес знаменитой чапаевской [illegible] начдив подарил комбригу за один лихой удачный бой.

— Вот что, Иван. [illegible] тебе эту шашку, а самому порой жалко. [illegible] связано, сам знаешь. Не золото, [illegible] дорого — память. Посмотрю, как ты ее из [illegible] вытягиваешь,— сердце щемит. Думаю, а не рано [illegible] дорогим стал раскидываться? Только теперь [illegible] места в душе моей таким мыслям. Большего ты стоишь, Иван!

Кутяков переходил из одних дружеских объятий в другие. Намяв ему основательно бока, друзья усадили за свадебный стол. Чапаев, наливая комбригу самодельного крестьянского вина, спросил:

— А кому командовать-то ротами доверил?

— В одну своего назначил. В другую они сами выбрали... Того, молодого, что от всего обоза со мной разговаривал. Он из этого села. Федором звать. Ему тут на площади публично порку устраивали.

Чапаев многозначительно посмотрел на Лидку. Лидка — на деда. Тот, подставив ладонь к уху, увлеченно расспрашивал Курятникова. Уж больно понравился деду удалой командир. Только никак не мог поверить он, что такой молодой и невидный по наружности человек мог командовать тысячами людей.

Чапаев незаметным кивком головы подозвал Лидку к себе.

— Давай, Чапаенок, деда обрадуем. Это ведь про его сына Кутяков рассказывает. Найди парня и сюда его. Пусть с нами на свадьбе погуляет.

Вряд ли какое другое приказание выполняла Лидка с бо́льшим удовольствием и радостью. Откуда было ей

знать, что она последний раз видела Чапаева, получала от него последнее приказание...

КЛЯТВА

Позади — запруженные народом, радостно приветствующие чапаевцев улицы освобожденного из окружения Уральска. Позади — пыльный, брошенный казарой Лбищенск.

Лидка, вернувшаяся после боя под Гниловским в пешую разведку, теперь целыми днями слонялась по улицам станицы Сахарной, которую взяли кутяковцы штыковой атакой.

Обозы подтягивались медленно. А боеприпасы вышли. Хлеба нет уже несколько дней. В казацких хатах все под веник подметено. Казачьи семьи, запуганные атаманами, трясутся от страха при одном слове «красные». Все, что можно было забрать на подводе, забрали и укатили каменистыми шляхами к Гурьеву. Там, в тылах действующей белой армии генерала Толстова, они и кочевали громадными табунами, переживая свою беду. Приуныли в Сахарной ротные кашевары. С тоской глядели на последние мешки крупы и с надеждой поглядывали на Лбищенский тракт: не запылит ли там долгожданный обоз?

В бригаде у Кутякова изобретательный народ. Каждый понимал — на обоз надейся, а сам не плошай. Обоз может быть перехвачен казаками на полдороге и угнан. Кое-что росло у казаков на огородах. Хозяев нет — значит, на законном основании можно пользоваться этой морковью, репой, редькой и картошкой. Урал издавна славится рыбой. Только вот беда — казаки увезли все снасти с собой. Пришлось командирам скрепя сердце из своего скудного запаса выделить часть ручных гранат — глушить рыбу. Зато котлы теперь не пустовали. Жирную вкусную рыбу и варили, и жарили, и даже пекли на углях.

Но вот уже нет ни моркови, ни репы на почерневших от зноя заброшенных грядках. И нет уже рыбы в котлах. Боеприпасы на исходе. За незаконный расход гранат — наказание, вплоть до расстрела.

Приуныли бойцы, подтянули животы. Теперь одна

[illegible] на обоз. Похудела Лидка. По утрам слабость во всем теле. И неприятный металлический вкус во рту. Рассказала об этом Насте. Та перепугалась.

— Это у тебя от голода. — И каждый день, хоть понемногу, добывала хлеба для Лидки.

Утро в уральской степи начинается сразу. Темно, и вдруг розовый сноп света в глаза. Не успеешь моргнуть, а солнце уже над головой. И палит и палит тебя изо всех сил. И нет от него ни защиты, ни прикрытия.

Вот в такое утро и принес Лидке Щербаков горькое известие.

Она сидела [illegible] пыльном палисаднике вместе с Настей. Настя делилась с Лидкой своей тревогой. Три дня [illegible] уехал в соседнюю бригаду, на ту сторону [illegible] пор не вернулся. Лидка, как умела, успокаивала подругу:

— Так они же за продуктами уехали. Может, им столько дали, [illegible] запрячь. Вот медленно и тащатся.

Щербаков, [illegible] девушкам, покашлял в кулак. Вид у него [illegible] был чрезвычайно строгий и сосредоточенный. Девушки вскочили.

— Сидите; сидите! Я к тебе, Лагунова.

Видно было, что начальник разведки пришел недаром. И у Лидки заныло сердце. Щербаков без нужды расправлял гимнастерку под ремнем, хотя на ней не было ни единой морщинки.

— Ты помнишь, в тот раз я уговаривал тебя поехать домой. Не уговорил. А теперь прикажу...

«Неужели это Василий Иванович распорядился? — испугалась и обиделась Лидка. — Так почему же сразу не сказал? Песни вместе пели, сидели под одной буркой. Эх, Василий Иванович!» А вслух сказала:

— Да ей-богу, я нечаянно заснула, товарищ командир! Не буду больше. Ведь Василий Иванович не сердится... Сам говорил. Вот и на свадьбе вместе были — ничего не сказал...

Щербаков недоумевающе посмотрел на Лидку. Ни о каком сне он не слышал. У него свое:

— Отец твой ранен.

Отшатнулась от него Лидка. Не поверила.

— Папка ранен?

— Понимаешь, на митинге его какой-то белый водолаз из толпы...

у Лидки, и без того чувствовавшей себя плохо, закружилась голова. Она ухватилась за плечи Насти.

Немалого труда стоило Щербакову сообщить эту новость своей любимице. Но самое тяжелое сделано. Теперь можно и по-доброму, по-домашнему. И он, присев на корточки около Лидки, принялся ее уговаривать:

— Да ты особенно-то не убивайся, Лидушка! Может, все еще обойдется. Ведь не убит же... О тебе товарищи из городского комитета партии вспомнили. Отец просил написать. Матери помочь надо. Одна ведь с оравой ребятишек осталась. В обед интендант в Самару поедет. Хочешь с ним?

Лидка как-то вдруг сникла, ушла в себя. Голос Щербакова доносился откуда-то издалека. И смысл того, что он говорил, доходил с трудом.

И Лидка машинально, не вдумываясь в его слова, отвечала односложно:

— Ага.

Щербаков встал, вынул из брючного пистончика круглые часы. Щелкнул крышкой, посмотрел на стрелки, потом на солнце и сказал Насте:

— Давай, Вяльцева, соберем ей в дорогу чего-нибудь. Обойди ребят, может, и наскребем помаленьку. У меня вон в мешке с полфунта сахару есть. А я пойду документы заготовлю.

И он ушел отяжелевшей походкой заметно стареющего человека.

— Я сейчас, товарищ Щербаков! — отозвалась Настя.— Сейчас! — А сама гладила Лидку по голове и с дрожью в голосе торопливо убеждала ее: — А ты поплачь, поплачь... Лидушка. Поплачь. Легче будет. По себе знаю. А я пойду соберу тебе. Чемоданчик мой возьмешь и чулки ненадеванные.

Лидка не заметила, как ушла Настя, как появился около нее Афонька Гвоздь. Впрочем, и он ее за кустами не разглядел вовремя. На спине его громадный вещевой мешок. Снял его Афонька, поставил на землю и стал в нем что-то перебирать. Вытащит вещь, посмотрит на свет, встряхнет на руках и за пазуху прячет. Или свернет и под куст, в траву.

Шевельнулась Лидка, застонала. Присел от испуга Афонька. Раздвинул ветки. Увидел Лидку и обомлел. Подошел к ней. Спросил вкрадчиво:

— Видела?

Как и Щербакову, не вдумываясь в смысл вопроса, ответила Лидка, чтобы быстрее отвязались от нее:

— Ага.

Что делать Афоньке? Лидка сказала свое «Ага» так равнодушно и вяло, что шкодливый боец подумал: «И она спасовала. От голода это. Теперь она на все согласная — хоть веревки из нее вей. Только куском хлеба помани...»

И пошел он на Лидкину душу в открытую атаку:

— Ты не думай, Лидка... Я не жадный. Пошли со мной. Половина твоя будет. Помнишь, я тебе говорил про флигель генеральский? Золота я там не нашел. Зато барахлишком разжился. — И Афонька, как завзятый тряпичник, [illegible] через руку шитый золотом генеральский [illegible]. — Хватит с меня подневольной жизни! Сын [illegible] [illegible] нельзя... Этого не делай... Пойду по [illegible] [illegible] — как гостя дорогого встречать будут. Чем не [illegible]? — Но, поняв, что увлекся, стал поправляться: — Ну и ты со мной. Могу за сестру выдать. Могу — за кого хочешь. Все равно тут оставаться нельзя. [illegible] со всех сторон окружает. Хлеба ни крошки. Что я, [illegible], смолоду пропадать? Хватит — отвоевался!

Лидка встряхивала головой. Ей все казалось, что ее разыгрывают. Не может быть, чтобы чапаевец вел такие речи всерьез. Она, с трудом соображая, молчала. А Афоньке уже не терпелось.

— Мне одному нести — заметят наши. Давай разделим на два мешка. Увяжем — и деру!

— Куда?— захлопала глазами Лидка.

— Ну как куда?— удивился ее недогадливости Афонька.— По деревням, по станицам. Барахлишко есть. Не пропадем. Как-нибудь до Самары доберемся...

Лидка отшатнулась от Афоньки:

— Из дивизии?

Афонька поморщился: «Зря разоткровенничался перед слюнявой девчонкой. Ни черта она не понимает в жизни! Еще, чего доброго, вляпаешься с ней в неприятность...»

Но отступать было поздно.

— Ну да, мы свое отвоевали... Пускай теперь другие...

Теперь Лидка поняла все.

— Ох ты и гнида, Афонька! Лучше бы ты сбесился от той собаки! Предатель ты и мародер! Вот ты кто!

Афонька быстро завертел головой. Не слышит ли кто?

— Тише, тише ты... Я тебя же жалеючи. Пленные говорят — завтра-послезавтра дивизии каюк. Казаков многие тыщи вокруг нас сидят. Только сигнала ждут. Зачем пропадать задаром? Я и тебя хотел спасти. Ну а если не хочешь — неволить не буду.— И, подхватив свой мешок, Афонька перекинул его через плечо.— Смотри — пожалеешь...

Нет, теперь так просто от Лидки не уйдешь! Она вцепилась в Афонькин мешок, дернула его в сторону. Лопнула завязка. Посыпалось барахло на землю. И среди тряпок оказались вещи, которые привели Лидку в ярость. Она увидела серебряный портсигар Самарцева и его часы луковицей. Значит, и тогда обманул Гвоздь Лешу — не расплатился с крестьянами.

— Своих грабишь, да?— задыхалась она, глядя на мародера ненавидящими глазами.— Ну теперь никуда не уйдешь!— и вдруг что было сил закричала:— Ребята! Леша! Юрка! Настя! Сюда!

Сшиб Афонька Лидку сильным ударом в грудь, подхватил остатки своего добра и побежал огородами в степь. Лидка за ним. Как назло ни нагана, ни винтовки с собой. А у Афоньки кольт. Остановится сейчас, обернется, вытянет руку — и нет Лидки.

Но она не думала об опасности. Не из-за личной обиды, не по каким-то личным причинам гонится она за Гвоздем. Нет, лично ей он ничего не сделал плохого. Наоборот — старался во всем угодить. Нет у нее никаких личных счетов. Другое, более важное чувство гонит Лидку за этим человеком. Он предатель. Он плюнул на высокое звание чапаевца. Он бросил своих боевых товарищей. Он осквернил знамя дивизии, которое пропитано кровью сотен и тысяч таких людей, как Чапаев, как Щербаков и как она сама, Лидка. Он предатель — значит враг. А что такое враг, Лидка уже очень хорошо понимала. Враг должен быть уничтожен.

Афоньке невыгодно привлекать к себе внимание выстрелом. И он, отбежав на порядочное расстояние от станицы, резко остановился и, повернувшись к Лид-

ке, подставил ножку. Лидка ткнулась с разбегу прямо носом в сухую горячую траву. Афонька навалился сверху и стал забивать рот Лидке этой же самой травой. Хотел землей, но та была как камень. Он совсем обезумел от страха. И уже не знал, что делал.

Но не так-то просто было справиться с ловким и вертким Чапаенком. Лидка царапалась, кусалась, плевалась, била острыми коленками в Афонькины ребра.

— Будешь молчать или нет? — хрипел Афонька.— Не будешь — убью!

— Не буду! — кричала Лидка. — Не буду! Все равно тебя к стенке, гада! Пусти лучше!

Афонька [illegible], [illegible] вспомнить о пистолете и тогда.... [illegible] Леонид Харитонов. Он выскочил на Лидкин крик. Огляделся. Никого. Только когда крик повторился, увидел за станицей две бегущие одна за другой [illegible] фигуры.

...Леонид схватил Афоньку за шиворот, отобрал у него кольт, скрутил ему руки за спиной. И повел дезертира в станицу. А Лидка еще долго сидела на земле, высасывая кровь из прокушенной губы. Потом отряхнула пыль, отыскала свою кубанку и, прихрамывая и потирая разбитое колено, пошла назад.

Шла, низко опустив голову, никого и ничего не замечая, пока не преградил ей дорогу какой-то всадник.

— Эй, боец, скажи, где тут кутяковский штаб?

Лидка подняла голову и будто ожила — перед ней Дворянская улица, бабушка Брешковская в автомобиле. Гаврюшка с босой ногой и Сашка, отдающий команду на свист коротким взмахом руки, и Бугуруслан с купцом Зеленковым и его приемышем Гришкой Парамоновым.

— Дяденька Миронов?!

Да. Перед ней был он, тот самый веселый молодой солдат с черными стрелками бровей и насмешливым румяным ртом. Он почти совсем не изменился, если не считать новых командирских нашивок на рукаве да усталой складки, опустившей края губ вниз. И глаза его, умные, веселые, большие глаза, тоже глядели не весело, а печально и немного растерянно.

— Вот мы, значит, и встретились, Лидия Григорьевна,— серьезно сказал он и спрыгнул с коня.— Слышал от Дмитрия, что ты в кутяковской бригаде, да

...а она большая — не скоро разыщешь. Я теперь вот у вас в дивизии служить буду.

Но, видно, мало оставалось у Миронова времени на разговоры со своими знакомыми. Посмотрел зачем-то на солнце, потом на часы и спросил:

— Так где у вас штаб? Показывай.

Лидка рассказала, как добраться до штаба.

Как бы оправдываясь за то, что так быстро приходится расставаться, Миронов сказал:

— Тороплюсь, Лидушка. Срочные и неприятные новости везу вашим командирам. Лбищенск казаки взяли. Чапаева убили.

До Лидки сначала не дошел смысл сказанных слов. Кого-то убили. Ну и что же? Мало ли на войне убивают. Она уже привыкла к этому.

Когда же она поняла, что убили не кого-нибудь, а Чапаева, то почувствовала такую слабость во всем теле, что, не в силах стоять на ногах, опустилась на землю.

Миронов отъехал на несколько шагов и оглянулся. Лидка сидела в дорожной пыли, а голова ее была уткнута в колени. Он вернулся, посадил ее, безжизненную, обмякшую, на лошадь, сел сам и, придерживая Лидку левой рукой, тихонько тронул коня.

Миронов не оставил Лидку и после доклада, который сделал в штабе Кутякова. Раздобыл где-то нашатырного спирта. Привел ее в себя. Напоил тоже невесть откуда добытым молоком. Делал все молча. Только когда дыхание у Лидки стало ровным и голос перестал прерываться от глубоких, идущих откуда-то изнутри спазм, сказал:

— Мы ведь большевики, Лида! Нам на прощанье с убитыми не часы, а минуты отводятся. Пойдешь на митинг?

И Лидка от его коротких, но требовательных и жестких слов подтянулась, насухо вытерла покрасневшие глаза, плотно сжала губы, чтобы, чего доброго, не разреветься дорогой, пошла за ним. А сердце продолжало щемить непонятной, доселе ни разу не испытанной болью.

На громадной станичной площади у белого каменного собора в полном походном снаряжении, с развернутыми знаменами, в суровом молчании замерли чапаевские полки и батальоны.

Сначала комбриг Семьдесят третьей Иван Кутяков говорил раздельно и четко. Голос его доходил до самых дальних рядов. И только стоящим впереди видно было, какого труда стоило ему каждое слово. Зеленый от бессонницы и недоедания, нервный и горячий, часто обижавшийся на Чапаева, он так переживал потерю, как никто из командиров.

Руки у него дрожали. Лицо подергивалось. Казалось, еще немного — и командир бригады разрыдается.

И действительно, голос у него прервался. Синие обветренные губы минуту беспомощно ловили воздух. Потом заговорил, и голос внезапно окреп, поднялся, загремел.

Слова его, многократно повторяемые, неслись от первых рядов к последним. А сила их, казалось, росла от того еще больше и зажигала солдатские сердца огнем неугасимой ненависти к врагу и неутолимой жаждой мести.

— Так поклянемся же, боевые друзья, отомстить за нашего Чапая страшной местью!

Знаменитая чапаевская сабля, подаренная Кутякову Чапаевым за доблесть, сверкнув отполированной сталью, взвилась над головой комбрига.

— Поклянемся до тех пор не вкладывать наши сабли в ножны и винтовки не ставить в пирамиды, пока по советской земле ходит хоть один вооруженный враг! Поклянемся!

Тысячи молний сверкнули над обнаженными головами чапаевских воинов, тысячи винтовок с примкнутыми штыками взлетели вверх.

Лидка никогда не была на море, не слышала бури. Но это, наверное, было громче и страшнее всякой бури, когда единой гигантской грудью вся эта масса людей с окаменевшими от горя лицами выдохнула единое слово:

— Клянемся!

В этом могучем выдохе был и ее голос, голос маленькой девчонки-подростка из волжского города Самары, комсомолки Лидки Лагуновой, ушедшей на фронт защищать новую власть, новую счастливую и прекрасную жизнь. Жизнь, которую надо было еще строить с самого начала, с первого кирпича, о которой пока только мечтали и пели хорошие песни.

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 879

Андрей Вятский
(Геннадий Андреевич Гулин)

ЛИДКА-ЧАПАЕНОК

Повесть для детей среднего и старшего
школьного возраста

Редактор В. А. Столяров
Художник Н. С. Панфильцев
Художественный редактор
Е. В. Альбокринов
Технический редактор З. К. Яшина
Корректор Э. И. Щербакова

Сдано в набор 22.11.85. Подписано в печать 16.04.86. ЕО09791. Формат 84×108 1/32. Бумага офсетная № 2. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 17,26. Тираж 50 000 экз. Заказ № 6024.
Цена 55 коп.

Куйбышевское книжное издательство,
г. Куйбышев, ул. Спортивная, 5/27.

Ордена Трудового Красного Знамени
типография издательства Куйбышевского
обкома КПСС, г. Куйбышев,
пр. Карла Маркса, 201.

Дорогой читатель!

Просим Вас отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении направлять по адресу: г. Куйбышев, 30, ул. Спортивная, 5/27. Книжное издательство.

55 к.